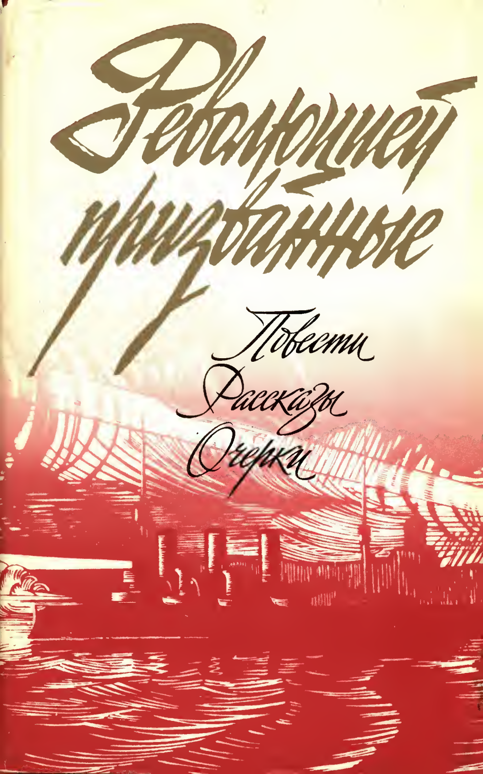

Революцией призванные
Повести
Рассказы
Очерки



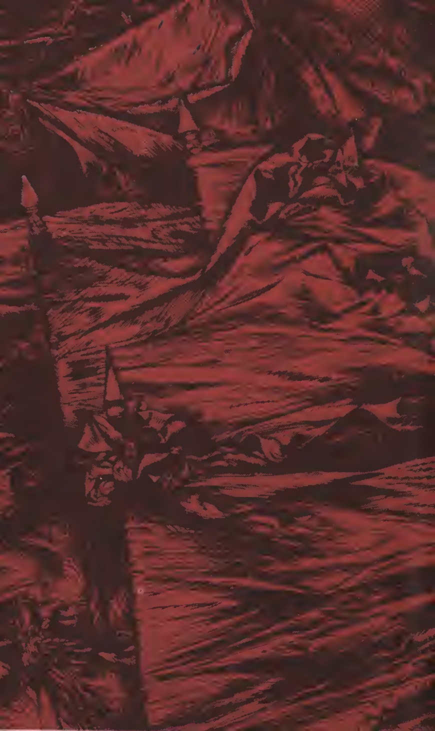
Революцией призванные

Повести
Рассказы
Очерки

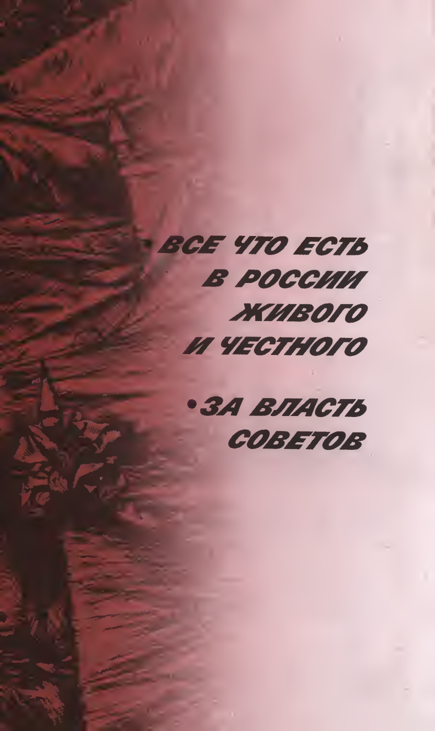





Революцией призванные






•ВСЕ ЧТО ЕСТЬ
В РОССИИ
ЖИВОГО
И ЧЕСТНОГО
•ЗА ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ

Революцией призванные

Повести
Рассказы
Очерки

ТОМ ПЕРВЫЙ



Москва
«Художественная литература»
1987

ББК 84Р7
Р32

Вступительная статья,
составление и подготовка текста
В. ПИСКУНОВА

Оформление художника
А. ЕРЕМИНА

Р $\frac{4702010200-224}{028(01)-87}$ 1-87

ПРЯМОЕ ЧУВСТВО ЖИЗНИ

Писать «прямым чувством жизни», как призывал собратьев по перу Андрей Платонов,— главное в нашей большой литературе, об этом свидетельствует и предлагаемый вниманию читателя двухтомник. Выход его приурочен к 70-летию Великого Октября, а название — «Революцией призванные» — определяет отбор и расположение материала, дающего возможность показать, как в зеркале рассказа (а в основном это и есть сборник рассказов, дополненный двумя повестями и несколькими очерками) запечатлелась история большевизма, как отразились в нем семь десятилетий советской жизни. Именно все семь десятилетий: ведь революцией призванные — не только легендарные основатели партии, что двигались вперед под беспрерывным огнем врага — «тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки»[1]. И не одни бойцы революционных баррикад 1905 г., участники штурма Зимнего и Перекопа, красные воины гражданской. Поколения Павла Власова и Павла Корчагина были впереди, но следом шли другие — герои первых пятилеток, солдаты Великой Отечественной, труженики послевоенных лет, строители социализма, покорители целины, завоеватели космоса. А это значит, что революция — наша общая духовная родина, что все мы живем в едином времени революции.

Настоящий сборник представляет собой, таким образом, художественную летопись Страны Советов. В нем читатель найдет рассказы многих авторов разных национальностей, возрастов,

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 9.

неодинакового писательского опыта, начиная с М. Горького, других «певцов основного класса» (будь то русский А. Серафимович, латыш А. Упит, белорус К. Чорный или казах С. Сейфуллин), которым суждено было открыть новый, пролетарский этап в истории родных литератур, и кончая такими великолепными современными прозаиками, как безвременно ушедшие от нас В. Шукшин, Ф. Абрамов, Ю. Трифонов, К. Воробьев, Ю. Смуул, как продолжающие в полную силу работать Ч. Айтматов, В. Быков, В. Астафьев, М. Слуцкис, Е. Носов. Герои их рассказов обладают совсем несхожими характерами и судьбами, живут далеко друг от друга, изъясняются на разных языках, но, в конечном счете, всеми ими движет общее «чувство семьи единой», все они исповедуют одну веру, получившую поэтическое воплощение в строках Константина Ваншенкина:

Мы к Октябрю сквозь время подошли,
И ясно нам, его путем идущим,
Что это философия Земли
Сегодня и тем более в грядущем.

Философия Земли. Она связана с именем Ленина, с принадлежностью к ленинскому знамени, следованию ленинским заветам. Отсюда то совершенно исключительное место, что принадлежит образу Ленина на всех этапах развития советской литературы. Еще не были поставлены знаменитые ленинские фильмы М. Ромма и С. Юткевича, не сыграны пьесы М. Погодина, А. Штейна и М. Шатрова, не написаны повести и рассказы М. Зощенко и К. Паустовского, М. Шагинян и В. Катаева, Э. Казакевича и Е. Драбкиной, а Н. Тихонов уже имел все основания провозгласить с трибуны Первого писательского съезда: «Во главе главных героев — грандиозный образ Ленина».

Произведения, в которых воплощался образ Ленина, обращены к самым ответственным, самым волнующим проблемам века: работа над образом Ленина для всякого крупного художника предполагает углубленные раздумья о смысле истории, судьбах революции, прошлом, настоящем и будущем людей, всего человечества. Именно Леннн, сумевший так гигантски много сделать для того, чтобы вернуть истории подлинно человеческое содержание — а в этом, как известно, К. Маркс и Ф. Энгельс видели и смысл и цель революционной деятельности,— служит для советской литературы критерием нового человека, социалистического гуманизма, передовой морали. Важнейшую роль в художественном открытии Ленина — борца, мыслителя, человека — сыграл М. Горький, автор портрета, который был написан десятилетия назад, но ничего не утратнл в остроте поставленных вопросов, точности политического и нравственного прицела, свежести красок.

Писателем воссоздан совершенно конкретный исторический характер, который одновременно концентрирует в себе лучшее, что связывается в нашем представлении с образом Человека с большой буквы. Естественно поэтому, что в горьковском портрете Ленина, в других рассказах о Ленине, которые читатель найдет на страницах сборника, возникают многие сквозные темы нашего двухтомника, проходящие от первых его страниц до последних: образ Ленина служит как бы камертоном, по которому настраивают разум, сердца, души остальные герои.

«Все, что есть в России живого и честного»[1],— на стороне революции, она пользуется сочувствием и поддержкой широких слоев населения. На этот счет не оставляют сомнений рассказы крупнейших писателей-демократов. Особенность произведений «Человек закона» классика эстонской литературы Э. Вильде, «На мостике» основоположника латышского реализма А. Упита и других в том, что все они служат как бы художественными документами эпохи, свидетельствуют о трудном, но неуклонном росте революционного сознания народа, идет ли речь об эстонце Яане с хутора Кадак, Матвее из глухого белорусского Полесья, или латышских хуторянах Карклисе и Виемцнете,— все они вчера бессловесные, сегодня не могут молчать, заговорили крупными, тяжелыми словами, осознали, что они — сила!

Сходные жизненные ситуации — близкая поэтика, обусловленная оптимистическим мирочувствованием писателей, их надеждой на скорые и радостные перемены. Есть все основания утверждать, что в этих рассказах ощутимо влияние горьковской романтической образности, ярких красок, патетического слова, которые принес с собой в литературу автор «Песни о Буревестнике» и «Песни о Соколе», поэмы «Человек» и романа «Мать».

После Октября еще очевиднее стало историческое значение первых революционных боев с царизмом, еще полнее раскрылось величие подвига героев Пресни и броненосца «Потемкин», рабочих-дружинников и крестьянских повстанцев. Большую роль в приобщении молодого читателя к романтике революции 1905 года сыграли писатели — старые большевики А. Воронский, Д. Фурманов, П. Бляхин, которые настойчиво возвращались памятью к пережитому, воскрешали в образах и картинах страницы былых сражений. Вожак иваново-вознесенской стачки (она вошла в историю революционного движения тем, что породила первые Советы) Дунаев из фурмановского очерка «Талка», девушка-бомбистка, поразившая воображение автора миниатюры «Перчатки», бляхинские баррикадные бойцы — совершенно реальные люди. Их достоверность не оставляет сомнений: в России рождается новый человек — бод-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 377.

рый духом, крепкий, дееспособный, поступающий только по убеждению, жаждущий во всем утвердить закон справедливости. Тут как нельзя лучше подходит горьковское выражение. «Смотришь на них и видишь — Россия будет самой яркой демократией земли!»

Биография этого поколения и впредь станет воодушевлять советское искусство, воплотится в строках стихов В. Маяковского и поэм Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», запечатлится в кинолентах С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» и В. Пудовкина «Мать», в прозаических произведениях больших и малых форм. И вот что характерно: обращаясь, по сути, к истории, писатели относятся к своему материалу как к самому живому, актуальному, современному. Ведь они изображают, как сказано в одном из писем Б. Пастернака, «основания нынешнего мира» или — припоминая его же стихи — тут «дышат почва и судьба». Подтверждением тому служат также рассказы К. Паустовского, П. Бляхина, Ю. Германа, которые читатель найдет в первом разделе нашего двухтомника. В этих произведениях воскрешены события сравнительно давнего прошлого, рассказано о людях и фактах, отдаленных от авторов десятилетиями, но рассказано с такой степенью личной сопричастности, лирического переживания, что ни о какой «эпической дистанции» не может идти и речи.

Второй раздел первого тома — об участниках Октябрьской революции, о героях гражданской войны, ее бойцах, красных командирах и комиссарах, о рабочих, крестьянах, интеллигентах, сражавшихся за власть Советов. Одним словом, о народе, который поднялся завоевывать «действительно достойную XX века арену борьбы за социализм»[1].

Октябрь пришел в мир как созидание. Он раскрепостил народную энергию, пробудил к активной жизни, к героическим усилиям, к «основательному историческому творчеству» гигантские массы. И полно глубокого смысла, что новая литература, собственно, родилась из темы Октябрьской революции, из темы гражданской войны, становления Советской власти, а первыми ее представителями были участники недавних боев и походов. Восприятие «нового мира как своего и любовь к нему» принесли с партизанского Дальнего Востока А. Фадеев, из Сибири Вс. Иванов, с революционной Балтики Вс. Вишневский, с красного Черноморья А. Малышкин, из уральских степей Д. Фурманов, из конармейских походов И. Бабель.

К. Федин и М. Шолохов, А. Головко и К. Чорный, Л. Сейфуллина и Б. Лавренев — только потом их почтительно назовут классиками, а пока они входили в литературу с разных концов страны,

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 10, с. 19.

волна за волной, и чаще всего дебютировали рассказами, в которых запечатлелось увиденное, пережитое, обдуманное в годы гражданской. Известность М. Шолохова началась с «Донских рассказов», И. Бабеля — с «Конармии», Л. Сейфуллиной — с «Перегноя» и «Виринеи», К. Чорного — со сборников «Серебро жизни», «Чувство», «Сосны говорят»...

Повесть, рассказ (между ними, впрочем, не так легко провести границу) были «формой времени» — благодаря своей оперативности, динамизму, лаконичности. Но мы бы поступились против истины, не упомянув и об очерке, который был связан с именами А. Серафимовича и Д. Фурманова, А. Тодорского и А. Аросева, П. Бессалько и Л. Рейснер. «О чем говорили пушки?» Артема Веселого — яркий образец «репортажа как формы искусства и борьбы».

Следует напомнить, что очерковые произведения пользовались неизменным вниманием и поддержкой Ленина, который высоко ценил их за близость жизни, насыщенность ценным фактическим материалом, воспитательное воздействие, основанное на «конкретных примерах и образцах»[1]. Эти качества получат дальнейшее развитие в очерке 30-х годов, публицистике «сороковых пороховых», в произведениях В. Овечкина и писателей «овечкинской школы», в современной очеркистике.

Бурный расцвет рассказа в литературе 20-х годов обусловлен подъемом чувства народа и личности, который принесла с собой революция. Но стать вровень с эпохой мог лишь художник, осознавший «прекрасный и яростный мир» в стремительном порыве, крайнем напряжении всех сил, в революционном развитии.

«Все раздвинулось, вся земля — как после землетрясения, и надо называть новые явления нового мира»,— писал А. Луначарский.

Этот новый мир рождался в муках, крови, неистовой борьбе и одновременно патетически: буря революции была очищающей бурей, ее натиск — натиском самой жизни. Отсюда общая тональность произведений Вс. Иванова и Б. Лавренева, И. Бабеля и Л. Сейфуллиной, М. Шолохова и К. Федина, в которых суровость, даже жестокость изображения самым неожиданным образом сочетались с романтической красочностью, мужественная сдержанность чувств — с открытой экспрессивностью художественного языка, напряженной метафоричностью слова.

И еще одна очень существенная стилевая черта рассказа тех лет — его ориентация на фольклорную тенденцию, на устную сказовую манеру, при которой голос автора как бы растворялся в народной языковой стихии, а «массы» получали возможность

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 91.

выражать свои мысли и чувства в присущей им речевой манере. Фольклорная основа без труда ощутима у тех же Вс. Иванова и Б. Лавренева, А. Неверова и А. Малышкина, она отзовется и в произведениях о гражданской войне, написанных позже, например, в пронизанном украинской песней «Письме в вечность» Ю. Яновского. Поэтика фольклора способствовала изображению обобщенного героя, народного характера, такого, как письмоносец Ю. Яновского, кость от кости, плоть от плоти довженковских богатырей революции. Это о них и им подобных написаны памятные строки из тихоновской «Баллады о гвоздях»:

Гвозди бы делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Человек крепче железа. То была общая эстетическая установка эпохи, единая художественная потребность — утвердить несгибаемый, железный, героический характер бойца революции как центральный, принять его в качестве масштаба человеческой личности вообще.

«В гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа закаляется, растет, развивается в этой борьбе»,— убежденно писал А. Фадеев, и его «Рождение Амгуньского полка» как нельзя точнее подтверждает истинность сказанного.

Писатели 20-х годов уделяли главное внимание проблемам социального разлома, новое взрывало старое, будущее утверждалось в кровавой схватке с прошлым. Линия фронта проходила даже через семьи, разводя по разные стороны братьев, отцов и детей. Сколь, однако, ни трагичны испытания, суровы условия, велики жертвы, авторы сосредоточены на раскрытии гуманистического смысла происходящего, их пером движет вера в рождение нового человека, они одушевлены надеждой, что «там, за горами горя,— солнечный край непочатый». Конечно, понятие реального гуманизма со временем будет меняться, расширяться, углубляться. Герой рассказа Ф. Абрамова «Сказание о великом коммунаре» мог бы показаться — и казался — своим современникам простым чудаком. Прошли годы и десятилетия, пока его труд по сохранению природы не был осознан как революционный подвиг. Но так или иначе, между сейфуллинским солдатом Софроном — «перегноем будущего», между бабелевским конармейцем Долгушевым и их ровесниками, описанными много лет спустя совсем в другом ракурсе — знаменитым Павлюком П. Нилина и его же Венькой Малышевым, инженерной братией А. Бека, вели-

ким коммунаром Ф. Абрамова существует прямая преемственная связь: все они овеяны романтикой революции и гражданской войны, олицетворяют собою те годы, которые «заново родили нас, заставили узнать самих себя и показали нам лучших людей в лучших делах, какие только даны человеку. Это прошлое — наша отчизна, наше родительское благословение, навеки нерушимое».

Так размышляет один из героев И. Катаева, вспоминая о прошумевших годах боевой молодости. Так мог бы размышлять и Григорий Иванович из рассказа А. Малышкина «Поезд на юг», человек не только порыва, боя, часа, но «надолго налаженной прочной жизни». В подобных людях — надежных, крепких, устойчивых, в «героях на всю жизнь», как именовал их М. Горький,— особенно нуждалась страна на великом переломе от войны к миру, от сабельных походов к пятилеткам, и рассказ второй половины 20-х — 30-х гг. дает широкую картину рождения нового героя — строителя социализма.

«Обыкновенная Арктика» — так в пику восторженным безоглядным мечтателям назвал Б. Горбатов книгу своих рассказов, и название это очень характерно: писателей 30-х годов роднит неприятие книжной красивости, решительный «уход от экзотики», они открывают романтику в окружающем мире, в повседневном труде, как бы подтверждая справедливость ленинского прогноза о том, что задача строительства социализма «требует самого длительного, самого упорного, самого трудного героизма массовой и *будничной* работы»[1].

И. Катаев — автор рассказа «Бессмертие» — сосредоточивается не на драматизме перехода из одного времени в другое, а на связи времен, органической преемственности эпохи Магнитки и Кузнецкстроя с эпохой революции. Присущий писателю историзм в полной мере сказывается в осознании судьбы слесаря-изобретателя Бачурина, «чья овеществленная мысль продолжает участвовать в труде народа».

Воспоминания автора о своем герое дают толчок общим раздумьям о рабочем русском человеке и его месте в жизни страны — качество, вообще отличающее литературу 30-х годов с ее вниманием к национальным характерам и национальной судьбе. За примерами не далеко ходить: в «Сумерках провинции» А. Бакунца милая сердцу «безымянного человека» патриархальная старина изживает себя, но это вовсе не равнозначно концу «армянской мечты», как представлялось ему вначале. Напротив, приход нового поможет ему подняться «на вершину горы и увидеть воочию мир своей мечты».

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 17—18.

Идет ли, однако, речь о снежном Арарате или о песне старого помора («Матвеева радость» Бориса Шергина), писатели говорят об одном: о интернациональности социализма, о воплощении в новом общественном строе исконных народных идеалов.

«Традиционное русское правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле» — в словах А. Платонова выражена, наверное, самая суть творчества большого художника, убежденного, что народность революции как раз в том и заключается, чтобы гармонизировать, одухотворить, упорядочить взаимоотношения человека с миром. Один из самых известных рассказов писателя — «В прекрасном и яростном мире» — приобщает к платоновской концепции человека труда как высшей ценности жизни, ее удивительного чуда, зовет к бережному, лучше сказать, трепетному отношению к человеку, что имело особое значение в контексте времени.

Сам дух 30-х годов, нравственная атмосфера времени переданы в рассказах тех лет точно и неповторимо. За горбатовским циклом «Обыкновенная Арктика» (из которого взят рассказ «Здесь будут шуметь города») встает романтика освоения Севера, подвиг моряков «Сибирякова» и «Челюскина», героического дрейфа папанинской четверки, первых полярных перелетов. Рассказ «Инспектор безопасности» В. Гроссмана, действие которого происходит на родине стахановского движения, в Донбассе, приобщает к эпопее индустриализации страны, и не случайно история скромного инженера Королькова завершается упоминанием о «пламенном Серго» — легендарном народном комиссаре тяжелой промышленности С. Орджоникидзе, с именем которого были связаны крупнейшие социалистические преобразования. «Комендант птичьего острова» С. Диковского воспринимался как прямой отзвук боев на озере Хасан...

Наше знание 30-х гг. резко обеднело бы без рассказа той поры. И тем более значительный удельный вес он приобрел в искусстве военных лет.

Фронтовой рассказ — наряду с публицистикой и лирикой — сразу же вступил в бой с фашизмом. Он, как на трибуну, поднялся на газетный лист, вышел в эфир, переместился в землянки и блиндажи.

Можно с полным основанием утверждать, что именно рассказ с его способностью быть и моментальным слепком событий, и их глубоким творческим осмыслением оказался одной из самых распространенных литературных форм, соответствующих эстетическим вкусам и потребностям военного времени.

Военный рассказ — особая эстетическая система, и к нему, наверно, неисторично подходить с критерием «развитой конкретно-психологической характеристики героев». Лишь годы спустя — у М. Шолохова в «Судьбе человека» и в носовском «Красном вине Победы», в рассказах и повестях о фронте В. Быкова, К. Воробьева, В. Богомолова, Э. Казакевича — появится «множественность обстоятельств», авторы устремятся к всесторонней проработке характера. Тогда же — в самой гуще боя, на последней черте жизни и смерти — важнее было показать натуры цельные, ясные, определившиеся, до конца раскрывающиеся в столкновении с ненавистным врагом. Готовность к подвигу — естественное состояние их душ, героизм — норма поведения.

Герои просты и обычны, бой для них — тяжкий повседневный труд, но за этой обыденностью обнаруживаются душевная красота и полнота жизневосприятия: война не вытравила человеческих чувств, внешнее спокойствие и сдержанность — не равнодушие, а результат целеустремленности, мера нравственной решимости народа выстоять и победить.

Безнравственности и цинизму фашистов противопоставляется «обновляющаяся духовная свежесть», источник которой — в мирной натуре людей, их трудовой сущности, верности исконным человеческим понятиям о преданности, семье, любви, долге, с этой точки зрения особо значимо название сборника А. Платонова — «Одухотворенные люди».

О «высоком и благородном чувстве товарищества и братства всех бойцов» вдохновенно размышлял А. Довженко в те пламенные годы, высказывая убежденность, что она «остается неизменным, верным и незабываемым» и тогда, когда «заживут раны, перепаханы будут вражьи могилы, застроятся пожарища и многие события перепутаются в седых головах от частых воспоминаний и превратятся в рассказы». Возможно, только в одном ошибся писатель: послевоенные рассказы о пережитом на войне, выросшие у одних авторов из фронтовых воспоминаний, у других из горьких детских впечатлений, отнюдь не перепутали события, а сделали их восприятие более точным и отчетливым, сумели запечатлеть их с новой степенью глубины и правдивости.

Уже в первые послевоенные годы самые проницательные понимали, что осмысливать путь, пройденный народом, значит «давать картины не только широкие, но глубоко продуманные, характеры не только резко очерченные, но сложные, многосторонние». Сказанное К. Фединым в полной мере подтверждалось литературой тех лет с ее сосредоточенным вниманием к духовному опыту личности. Почему в одинаковых ситуациях люди проявляют себя по-разному? Что руководит их действиями? Как индивидуальное сказывается в общем деле? Такие вопросы задавались в повес-

тях и рассказах Э. Казакевича и В. Пановой, Ю. Яновского и В. Катаева. Их произведения не оставляли сомнений на тот счет, что разгон взят обнадеживающий, что в движение приведены немалые творческие силы. Однако на пути писательского поиска возникли труднопреодолимые барьеры. Происходило то, о чем позднее с горечью скажет А. Твардовский:

На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,
Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.

О том ли речь, страна родная,
Каких и сколько сыновей
Недосчиталась ты, рыдая,
Под гром победных батарей...

«Красное вино Победы» Е. Носова и «При свете дня» Э. Казакевича, «Крик» К. Воробьева и «Сердца моего боль» В. Богомолова — в этих памятных произведениях заключено чувство, близкое тому, что продиктовало горькие строки А. Твардовского. Общность мирочувствования была подсказана временем конца 50-х — начала 60-х гг., когда литература вновь и по-новому обратилась к военной теме.

Процесс «обновления», начатый «Судьбой человека» М. Шолохова, подхваченный «прозой лейтенантов» — Ю. Бондарева и Г. Бакланова, В. Быкова и В. Богомолова,— проходил не просто, но жесткая манера письма молодых тогда авторов, личностный тон их повествования оставили глубокий след в литературе.

Военный рассказ 70 — 80-х гг. продолжает углублять, уточнять, расширять наши знания о пережитом. Отбросив умозрительные представления, писатели видят свою задачу в том, чтобы показать действительную сложность фронтовой жизни с ее великими подвигами и великими трагедиями. В самом деле, уровень наших сегодняшних знаний и общественная атмосфера современности позволяют объективнее разобраться в сути явлений, проникнуть в прошлое с большим поисковым результатом, чем прежде, обнаружить такие грани и связи, которые раньше были недоступны.

Уроки правды о прошлом, в свою очередь, помогают лучше понять настоящее, способствуют выработке нравственных понятий и патриотического чувства. Обратите внимание, что даже названиями своих рассказов — «Эстафета», «Память», «Сердца моего боль»— авторы подчеркивают преемственность поколений, напоминают детям о подвиге отцов, который «при свете дня» приобретает истинную значительность и величие, определяя судьбу человечества на долгие годы вперед.

Дух широты и всеобщности отличал народ на войне. Тот же дух окрыляет и современную советскую литературу, утверждаю-

щую победу человека над тем, «что фашизм хотел бы из человека сделать» (А. Адамович). От непреклонного шолоховского солдата Андрея Соколова до пылкого школьника из рассказа М. Слуцкиса «Что сказал Кутузов», от защитников Брестской крепости, заново открытых благодаря гражданскому и писательскому мужеству С. Смирнова, до юной молдавской партизанки Вероники («Молчание» Е. Букова), от мальчика Ивана — героя одноименного рассказа В. Богомолова и фильма «Иваново детство», обошедшего чуть ли не все экраны мира, до скромнейшего комбата Нечаева у Э. Казакевича,— вот диапазон характеров, запечатленный в нашем военном рассказе последних десятилетий. И разве в совокупности своей, богатстве и разнообразии они не составляют живой образ народа-победителя, сильный множественностью натур и общностью их устремлений?

«В этой войне мы не только победили фашизм и отстояли будущее человечества,— пишет В. Быков.— В ней мы еще осознали свою силу и поняли, на что сами способны... В 1945 году, как никогда прежде, миру стало понятно: в советском народе живет титан, с которым нельзя не считаться, и невозможно до конца знать, на что этот народ способен».

Здесь выговорено, наверное, самое главное, и выговорено точно: нравственные возможности советского человека, сила народа, движимого великой целью,— вот тот угол зрения, который определяет своеобразие нашей военной литературы. При этом важно подчеркнуть, что правда о войне, выстраданная сегодня, не отменяет сделанного в те пламенные годы, она обобщает и развивает открытое ранее. Сопоставляя между собой рассказы военных лет, произведения, датированные первыми годами после победы, написанные в последние десятилетия, читатель нашего двухтомника не сможет не ощутить разницы между ними — иными стали уровень понимания событий, тональность, стилевые решения,— но читатель обязательно осознает и другое: все это — звенья единого процесса исследования жизни, исторически закономерные этапы постижения большой правды века.

Рассказ о войне вернул ему законное место в литературе. И весьма характерно, что, размышляя о новом мирочувствовании рассказа 50 — 60-х годов, Ю. Нагибин прибегает к военным терминам, оперирует понятиями из арсенала баталистики: «Неужели кто-нибудь отважится назвать «Севастопольские рассказы» Льва Толстого «оперативной разведкой»? А кто же тогда дал бой?.. Настоящий рассказ — это и разведка, и бой одновременно, иначе говоря, не подступ, не прощупывание темы, а овладение темой всеми средствами словесного искусства».

Впрочем, определение «и разведка, и бой одновременно»

вполне приложимо и к таким написанным на сугубо мирные темы произведениям, как деревенские очерки и рассказы В. Овечкина и В. Тендрякова, Г. Троепольского, Е. Дороша, С. Залыгина. Жизнь послевоенного села в их изображении — настоящее сражение, «битва в пути», схватка противоборствующих принципов: партийного отношения к делу и «борзовщины», как с легкой руки В. Овечкина стал именоваться казенно-бюрократический стиль руководства. Отсюда острая конфликтность произведений, четкая расстановка героев и драматизм борьбы, стремление поставить человека в такую ситуацию, в которой бы предельно полно раскрылось существо его натуры. Овечкинское направление росло в борьбе с бесконфликтностью, оно провозглашало прямую связь с жизнью и само было ответом искусства на жизненные потребности общества. Не будет большой натяжкой, если мы сопоставим его с «прозой лейтенантов», появившейся одновременно с ним. И в том и в другом случае на общественное обсуждение выносились вопросы о праве на власть и о доверии к человеку, о правде и справедливости, о цели и средствах, которыми эта цель достигнута, — вопросы, имеющие первостепенное значение, и именно рассказу суждено было сформулировать их с предельной резкостью, максимальной остротой. Благодаря этому он во многом обновил художественное зрение литературы 50 — 60-х гг., способствовал углублению ее аналитического начала, расширению сферы наблюдения над жизнью.

Рассказ писателей «овечкинской школы» обладал рядом общих черт. Он был подчеркнуто близок факту, сознательно ориентирован на документальное повествование, на стиль деловой прозы, не чуждался также прямого учительства и отличался незаурядным публицистическим темпераментом.

Постепенно, однако, художественный язык рассказа усложнялся, а его стилевая палитра становилась все более многозвучной, обретала новое богатство оттенков и полутонов. С именем С. Залыгина связан современный иронико-философский рассказ, Г. Троепольский развивает традиции лирико-психологического повествования, Е. Дорош вошел в историю литературы как мастер медитативной прозы (публикуемая в нашем двухтомнике новелла «Иван Федосеевич» помогает уяснить авторскую установку на человека размышляющего, постоянно обдумывающего жизнь и свое место в ней). Тем большее многоцветье творческих индивидуальностей и стилей демонстрирует «новая волна» новеллистики, связанная с именами Ю. Казакова и В. Шукшина, Ю. Трифонова и В. Астафьева, Ч. Айтматова и Г. Матевосяна, А. Абу-Бакара и Г. Аббасзаде. Каждое из этих имен значимо в современной литературе, способно немало сказать внимательному читателю.

Особо хотелось бы обратить внимание на социальную активность, гражданственность рассказа 60-х годов, что делает его

прямым наследником новеллистики 20 — 30-х гг. Но если там авторы утверждали «новую красоту», возникшую в результате социального разлома, распадения связи времен, то здесь, напротив, поэтическое чудо жизни достигается за счет гармонизации различных свойств и качеств бытия, благодаря способности целостного восприятия действительности. Космонавт у В. Астафьева испытывает насущную потребность приобщиться к мудрому языку природы; старая горожанка возвращается у Ю. Трифонова к годам героической революционной молодости, и эта преемственность времен определяет смысл долгой и трудно прожитой жизни; человек и земля в рассказе В. Белова — разные измерения действительности, которые нераздельны между собой, нуждаются в единой духовной мере. Эту единую меру несет в себе и задает революция, осмысленная писателями — нашими современниками как путь к осуществлению общечеловеческих идеалов. Естественно, что для героев всех этих рассказов нет ничего более враждебного, нежели унылая приземленность чувств и переживаний, расчетливый рационализм, делячество. Сами они «крылатые», хотя внешне мало походят на романтических героев. Писатели с увлечением открывают неброскую красоту их характеров, поэтизируют способность к самопожертвованию во имя принципов, готовность при любых обстоятельствах поступать только по совести. Рассказ Г. Аббасзаде «Рекомендация» — как, впрочем, и другие — не оставляет сомнений в истоках душевной красоты героев, которые несут в себе «отблеск костра» революции.

Проходя по строчечному фронту современного рассказа, трудно не обратить внимания на то, какой значительный вклад внесли в его развитие представители всех братских литератур. Но подъем литератур отнюдь не ведет к утрате их национальных особенностей, к нивелировке стиля и поэтики. Многонациональная литература опирается на национальные традиции каждого из народов. Обмениваясь опытом, художники ориентируются на высокие образцы, запечатленные в классике родных литератур. Бурнопламенный романтик А. Довженко и сдержанно-ироничный Ю. Смуул, открыто-дидактичный Ю. Кербабаев и склонный к подтексту М. Слуцкис, по-крестьянски рассудительный Я. Брыль и патетичный К. Лордкипанидзе — у каждого из них свой голос, голос родной земли. Но на этих разных языках речь идет об одном: органичности революции, общем летосчислении, начатом в 1917 г.

Чем же обогащает рассказ конца 70-х — 80-х гг. духовное самосознание читателя? Каковы его отличительные признаки и новые приметы? Время окончательных ответов на эти вопросы не пришло, но контуры современного рассказа, пожалуй, определились достаточно четко. «Жизнь прожить» назвал свое новое произведение В. Астафьев, и подобное название емко передает присущее так-

же другим авторам стремление осмыслить целую прожитую жизнь, осознать логику длительного пути, выявить философию времени. Писателей меньше беспокоит теперь завершенность сюжета и строгость фабульного развития, они меньше уделяют внимания слаженности композиционного построения, нежели додумыванию до конца мысли, осознанию идеи во всех возможных ее жизненных проявлениях. В свою очередь, героем рассказа все чаще становится, как справедливо замечено критикой, «сам автор, на первый план выходит его личность, его самосознание и взгляд на мир». Однако лиризация не ведет к сужению эпического пространства рассказа. Все с тем же упорством он открывает за далью даль жизни, все с той же убежденностью говорит о людях, революцией призванных, как о носителях передовых гуманистических идеалов человечества.

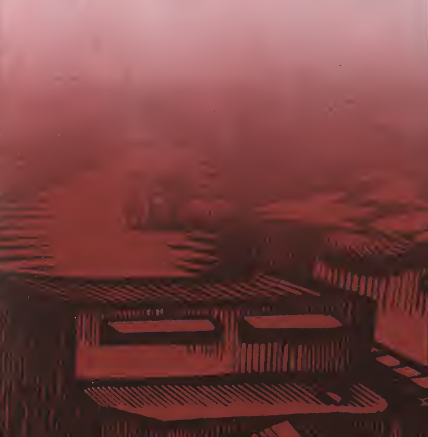
Мы вправе заключить, что современный рассказ — обращается ли он к глобальным проблемам человеческого бытия или касается болевых точек нашей жизни — все в большей мере начинает характеризоваться такими чертами, как возрастающая проблемность и основательность исследования действительности, как активность писательского поиска и острота художественной мысли. Не вызывает сомнений: именно эти черты и качества особо значимы в той перестройке мышления, в том формировании новой психологии, на необходимость которых указал XXVII съезд КПСС.

Сборник — как бы он ни был велик — не в состоянии вместить в себя все то значительное, что создано многонациональной советской новеллистикой за годы ее существования. Каждая из национальных литератур, обладающих давними традициями или молодых, насчитывает в своих рядах приметные писательские имена, этапные произведения, и далеко не все они здесь представлены. Думается, однако, что те произведения, которые вошли в состав нашего двухтомника, способны дать хотя бы общее представление о богатстве и многообразии советского рассказа, о сменяющих друг друга поколениях мастеров, которые трудились и трудятся в жанре малой прозы.

Новелла знала периоды высокого подъема и относительного затишья, то она выходила на передний край литературы, то отступала в тень, но развитие ее всегда носило целеустремленный характер, по самой сути она была кровно причастна своему времени, неотделима от истории народной жизни. Потому-то читатель нашего двухтомника получит возможность приобщиться к грозным и величественным событиям, суровым испытаниям, разнообразным судьбам. Он заново переживет много жизней и много смертей. И заново испытает чувство гордости за свой народ, за свою литературу — одно из величайших духовных свершений народа.

В. Пискунов

Все, что есть в России живого и честного...









Максим Горький

(1868—1936)

В. И. ЛЕНИН

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них,— нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти,— написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Коечего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь, вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многой мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19—21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а — у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фер-

том. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать»: оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился,— Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. «Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Все вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт[1].

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое «цейт» — время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво; вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немецкой партии — очень хорошо! Вообще — все было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть — мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов,— говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус. «Дорогая моя,— подумалось мне,— дорогая».

[1] Приятного аппетита.

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на все,— он только что вышел из тюрьмы,— видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера, или революция», по словам одной «гэнсом лэди»[1], которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК (б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне — еще в Финляндии — пришел Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку», и пред американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее,— у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство — устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, но и в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но там я написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг,— это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко,

[1] красивой леди.

как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

— Все пропало,— говорили они.— Все разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но — ничего веселого. Один гость из России, литератор, и — талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел, наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я — убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я — «конченый человек» и отрицаю значение балета только потому, что он — «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров,— это я знал с 903 года,— а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка,— можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний

Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес:

— Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то — съеживаясь, как бы от холода, то — расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся — «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты,— пренебрежительно говорил он,— нет, вы не марксисты! — И толкал в воздух, направо, желтым кулаком.

Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а — упрашивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать Думу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало ее непонятной,

а сам оратор вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне связи ее, все-таки «боевым» тоном, он все так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно воскликнул:

— Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский спросил:

— Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ Мартов упокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нем только для того, чтоб рассказать, *как* говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А — «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,— все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развертывался сам собою — силой, заключенной в нем.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— З-загово-орчики... в з-заговорчики играете! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи его звучат все более твердо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выспрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек — Бебель или еще

кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого,— не верится!

Другой рабочий добавил улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял...

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю — так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой,— сказал Ильич.— Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме» как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь, в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдыхать.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат,— студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичом об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков:

— Для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетах, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «пред ними один путь направо», а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн»,— это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагал по тесной комнатке, прищуриваясь, поблескивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую вой-

ну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как этого можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно — такова, пока, его судьба. Но враги его — обессилят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

Речь взволновала его; присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но — как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех.— Вот не предполагал. Черт знает как смешно...

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали: «Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика,— сказал он.— А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует придти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря,— сказал он.— Гоните ее прочь и как можно

дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте,— советовал Владимир Ильич.— Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех,— не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой,— невесело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинариумы и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?[1]

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-дринь».

---

[1] Вот так: дринь-дринь. Понимаешь?

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии,— Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже все знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словцом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нем нет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И все — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется, не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но — не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем: в юности и зрелом возрасте — от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости — от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку — Человеку с большой буквы.

В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Разум, не организованный идеей,— еще не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы — нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности интересов всех ее единиц.

Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же порабощают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить ее из плена хищников,— сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая — вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией,— иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я — в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907—1913, посильно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весною 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждение, которое ставило задачей своею, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских ин-

ститутов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства: С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зообботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках — учимся» — часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить — и переоценил — мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно — на старости лет.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» —

ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мещанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды,— уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет,— я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те эмигранты, которые, очевидно,

думают, что, если их нет в России,— в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут — если они жаждут — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Все более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок,— до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же,

стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительною простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира — роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный только человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад, и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел

рукою и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории,— фантазии. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становился еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой

встрече. И, хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным,— на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все формулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдет он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина; потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините,— возразил Ленин,— это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как оно пойдет.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм»,— он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам. А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя

поднять производительные силы... Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать им возможность работать в лучших условиях, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя... Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными приобретениями, и в ничтожных дозах уделяли их для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут побеждены морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться политики мелких придирок.

Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика... если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовываем меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсекать, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом,— не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он.— Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем

лезет контрреволюция, а мы — что же? не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм,— скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами,— говорил он,— ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чье-то злое нежелание облегчить судьбу ценных

людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитер. Месть и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие психически нездоровые люди с болезненной жаждой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:

«Опять арестовали скажите чтобы выпустили».

Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу,— очень понравилась. Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм,— сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ.— Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим,— кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомоэмульсию...

— Да, да — карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это или действительно он жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качеством, свойственным лучшей революционной интеллигенции,— самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева:

«Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей.

Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу... Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть,— обедал в кремлевской столовой.

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а — могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они,— тут нужен искусный повар.— И — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос — неуместен.

Старый знакомый мой, А. К. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

— Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал:

— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за

крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя в даль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято, все!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и — вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к своему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы Россию, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм,— должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VIII. 1921 года:

А. М.!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас!

Ваш *Ленин.*

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах из жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знака равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — всё это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой среди адовых условий 1918—1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского,— на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то,— изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профессор?» «Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!» — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похохатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это,— хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого,— Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассаля...

Эти слова: «С нами, а — не наш!» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичом, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.

— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

— И — что?

— Могу сказать: невежественный и грубый человек.

— Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — следствие ее подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивленно пожав плечами, сказал:

— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский...

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек,— сказал он мне шутливо,— в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории! Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Расспрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых,— я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых». Интересовался пролетарской литературой:

— Чего вы ждете от нее?

Я говорил, что жду многого, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока,— по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм,— говорил он, прищуриваясь и похохатывая.— Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать — совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему,— не то и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу,— сказал он и нахмурился.— В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну,— издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего,— умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение,— значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

Июль 1930 г.

Александр Серафимович

(1863—1949)

СРЕДИ НОЧИ

1

Они взбирались среди молчаливой ночи между угрюмо и неподвижно черневшими соснами. Под ногами с хрустением расступался невидимый мокрый снег или чмокала также невидимая, липкая, надоедливая, тяжело хватавшаяся за сапоги грязь.

Внизу, у моря, тепло стлалась синяя весенняя ночь, а здесь ни одна звезда не заглядывала сквозь мрачную тучу простиравшейся над головой хвои, и все глуше, все строже становилось по мере подъема.

Тот, который пробирался впереди и которого так же не видно было, как и всех остальных, остановился, должно быть, снял шапку и стал стирать взмокший лоб, лицо. И все остановились, смутно выделяясь, шумно дыша, сморкаясь, вытирая пот, и заговорили разом и беспорядочно.

— Ну, дорога — могила!..

— Ложись, зараз закопаем.

— Братцы, кисет утерял... сука твоя мать!

Загорелись спички, красновато зажглись двигавшиеся в разных местах папиросы, освещая временами кусок носа, ус, часть заросшей щеки или выставившийся мохнатый конец сосновой ветви. И когда немного отдохнули и дыхание стало ровное и спокойное, опять стояло строгое, всепоглощающее молчание.

— Вот когда в Грузии служил, тоже горы... фу-у, ну и высокие... Так там завсегда — зима, и летом — зима, так снег и лежит, на низу — жара, а там — снег.

Снова слышны тяжелые срывающиеся шаги, глубокое дыхание и хруст невидимого снега, становившегося морознее, суше, скрипучее. И воздух был острый, звонкий, покусывавший за уши. Иной раз люди проваливались, слышалась возня, крепкие слова и учащенное, прерывистое дыхание.

Давно погасли папиросы. Последние окурки, тонко чертя огнистый след и рассыпая золотистые искры, полетели и несколько секунд во тьме красновато светились на снегу и тоже потухли.

— Должно, года через два дойдем...

— Сдохнешь где-нибудь под сосной, покеда дойдешь.

— Да куда мы идем, ребята?!. Киселя хлебать...

— А все Ехвим... Пойдем да пойдем, а куда пойдем — сам не знает...

И все шли. Нельзя было остановиться, остаться одному, свернуть, пойти назад. Кругом — кромешная темь, молчаливые сосны. Невидимая тропка уже на втором шагу терялась под ногами.

Временами наплывало мутное и влажное, и, хотя было темно, хоть глаз выколи, оно казалось белесым, бесформенным и меняющимся. Тогда охватывала расслабленность и апатия, хотелось лечь на снег и лежать неподвижно в поту и испарине. Потом так же беззвучно и бесследно проносилось и стояло молчание и нешевелящаяся тьма.

В темноте высоко засветился огонек. Пробираясь, скрипя по холодному снегу, то и дело подымали головы и глядели на него, а он так же одиноко глядел на них в пустыне черной ночи.

— В жисть не узнаешь, где мы теперь.

— Вот, братцы...

— Ехвим Сазонтыч, голову тебе оторвем, ежели да как заведешь...

— Так лезть будем, скоро до царствия небесного долезем.

— Ей-богу, долезем... Хо-хо-хо!..

И в горах, поглощенных тьмой, хохотом перекликнулись человеческие голоса.

Ночь сурово покрыла строгой тишиной говорящих.

— А-а... гляди, гляди!..

— Братцы, чего такое?

— Наваждение!..

Посыпались восклицания удивления. Им ответили ночные голоса. Все разом остановились. Все по-прежнему было поглощено зияющей тьмой, но снеговая стена, уходившая в черное небо, слабо выступала таинственной си-

невой. Призрачно чудился тихий, странный, неведомый отсвет. По снежной, едва проступающей стене двигались гигантские силуэты, так же внезапно остановились и стали оживленно жестикулировать, как жестикулировали остановившиеся люди.

Все, как по команде, обернулись. Черная бездна, до края заполненная густой тьмой, простиралась, и не было ей конца и краю. Далеко внизу, на самом дне, голубым сиянием сияло множество огней. Они ничего не освещали, кругом было так же мрачно, но казались веселыми, отсвет их добегал через десяток верст, и от людей призрачно ложились смутные, едва уловимые тени на слабо озаренный снег.

Это был город.

Долго стояли и молча смотрели на далекие сияющие огни.

— Ночь, а господа теперича самое гуляют по трактирам да по гостиницам али в карты.

— Господа гуляют, а нас нелегкая несет не знать куда.

— Диковина... далече, а светит.

— Электричество, известно.

— Ну, айда, что рот-то разинули, не видали.

Огонек, державшийся впереди среди черной ночи, пропал, потом опять мелькнул, вызывая надежду, снова пропал, и разом раздвинулся между смутно выступавшими соснами красновато освещенный четырехугольник окна, слабо ложась полосой на снег и ближние стволы.

Все шумно столпились у неясно обрисовавшейся стены и дверей. Стукнули кольцом, и эхо гор откликнулось. Отзвук, длительный, мягкий и унылый, далеко покатился среди ночи. Ночь простиралась ровная, одинаковая, всепоглощающая, как будто в ней не было ни леса, ни гор, а одна ненасытимая, заполненная мраком, звучащая пустота.

— Эй, дядя Семен, отпирай!

— ...а-а-а-ай!...— мягко слабея, пропадало во мгле.

2

Стоны женщины неслись то слабея, то усиливаясь, то совсем замолкая. Все те же приступы невыносимой боли, тот же безжалостно давивший, черный от копоти потолок и тоненький, как змейка, звук коптящей лампочки на стене.

Бесконечная ночь, упорно тяжело глядевшая в слепые окна, мутно белела снегами. Ребятишки, измученные за день, забытые и голодные, в самых неудобных положениях спали, разметавшись по нарам.

— О-о... о-о-ооох-ох... ох... о-о-о!.. Господи, смертынька моя... ой-ой-ой... батюшки!..

Совсем молоденькая, с горячечным румянцем на щеках, со свесившимися на одну сторону волосами, беременная баба, в пестрядинной рубахе, корчилась на застланной соломой и покрытой дерюгой кровати, и голова ее металась из стороны в сторону.

Бородатый, лет за сорок, второй раз женатый мужик, с пятерыми детьми от первой жены, наклонившись, сосредоточенно, молча и неуклюже месил засученными, в волосах, руками тесто. Оно пучилось, лопалось пузырями, назойливо липло к рукам, особенно цепко держась на волосках, а он хмуро соскребал и сильным движением сбрасывал плюхавший в общую массу комок.

— Тять... тять... бб... бл... бллезли... двя... двя... двя...— торопливо и сонно забормотал кто-то из ребятишек.

Мягко ступая, степенно вышел на середину кот, прижмурившись, поглядел на хозяина, на тоненько поющую лампочку, повел хвостом и так же медленно и важно направился к печке, свернулся клубочком и, зажмуриваясь, сладко замурлыкал.

— О-о-о... о-оххо-о-хо-хо... о-о-охх!.. смерть моя!.. Сём, а, Сём!..

— Чево?

— Помираю я... попа бы... господи...

Она заплакала.

Мужик, с одной и той же, никогда не покидавшей думой на лице, молча месил, потом сосредоточенно стал обирать с мускулистой руки налипшее тесто.

— Все бабы родят, не ты первая.

И, помолчав, мотнул головой на нары:

— Вона... пятеро.

Кот, задремывая и заводя веки, перестал мурлыкать. Женщина замолкла. Только лампочка тоненько тянула жалобу, да ночь мутно глядела в окно, и все та же, никогда не оставляющая дума лежала на обветренном, с заросшей бородой, лице мужика.

Нарушая тишину, безлюдье и неподвижный ночной покой, стукнуло снаружи кольцо, послышались голоса, скрип шагов по снегу, и в горах многоголосо откликнулись ночные голоса, слабея и замирая.

Мужик перестал месить, поднял голову, прислушался и стал счищать с рук налипшее и падавшее кусками тесто.

— Ты, Ехвим?

— Я... отвори!

Дверь отворилась, и вместе с клубами холодного воздуха вошел плечистый, с ухватками лесного медведя парень, с голым, безбородым, безусым лицом. За ним, толпясь, стали пробираться другие, заполняя маленький чуланчик.

— Во, народу привалило.

Хозяин крякнул:

— Э-эхх!.. А у меня дела,— и почесал в затылке.

— Что?

— Жена родит.

— Ну-у? Что так рано?

— Да, рано... так мекал две недели еще, а она во, не спросилась.

Парень тоже снял шапку и поскреб голову.

— Эк ты!.. Куды же мы теперича?.. Народ... гляди, сколь перли, замучились.

— Чево стали!..— раздалось из задних рядов, толпившихся перед дверью.

Хозяин подумал.

— Ступайте в холодную... и рад бы, сами видите, каки дела...

— Ну, ничего, не будем раздеваться, миром дыхать станем, обогреем... чайничек поставить можно?

— Чайник можно, все одно бабе воду буду греть.

Все повалили из чуланчика в холодную половину шоссейной казармы.

Дыхание тонким паром носилось в воздухе и играло радужным ореолом вокруг принесенной лампочки.

В углу навалены лопаты, кирки, топоры, массивные ломы, опрокинуто несколько тачек. Принесли доски, положили концами на обрубки и стали располагаться, усталые, мокрые и довольные, что добрались.

— Сказывал, до царства небесного долезем, вот и долезли.

Когда вскипел чайник и все, взяв по крохотному кусочку сахара, вооружились, кто потускневшим от времени стаканом, кто таким же почернелым блюдцем, кружкой, а то и проржавевшим жестяным черпаком от воды, стали дуть на дымящийся кипяток, прихлебывая и обжигаясь,— в угрюмом, холодном и молчаливом до того помещении совсем повеселело.

— Стало быть, зять письмо получил от свово брата с войны. Пишет так, что сам видал: в отдельном поезде везут нашего енерала в Питербург, и он — прикованный цепями в вагоне, и рука прикована так вот, как к присяге когда приводят,— рассказчик поднял правую руку, сложил два пальца и среди молчания подержал некоторое время,—

а возле, стало, него куча золота, стало быть, японские деньги. Ей-богу, не вру.

— Накрыли?

— Знамо дело!.. Протить негде — одне деньги... сам сидит по колено в золоте, а рука прикована, как на присяге.

— Оххо... о-о-ох... о-о-о. Царица небесная... матушка!..— глухо и скорбно проникало из-за стены.

— Вот и хорошо, пару-другую генералов наших купят, нам прибыль.

— В Расеи подати перестанут брать.

— Нам меньше отседа высылать придется домой.

— Здорово!

— Держи карман ширше. Тоже да дураков нашли. Они, сказывают, Япония косоглазая, сколько миллиёнов тыщ уж с нас взяла. Начальство-то наше, сказывают, скоро в лаптях пойдет.

— Как наш брат, мужик.

— Не призначишь, чи генерал, чи мужик.

— Ванька, кабы не прошиблись, тебя за генерала не обознали.

Ванька, распаренный, красный, с капельками на ресницах, на носу, выкатив глаза и сложив трубой губы, с шумом втянул воздух, и дымившийся кипяток разом исчез с блюдца, стоявшего перед губами на трех пальцах. Он перевернул блюдце, положил крохотный огрызок сахара, размашисто перекрестился и, обернувшись, бросил крепкое забористое словцо.

Все засмеялись:

— По-енеральски.

— Чисто генерал, и спереду и сзаду.

Те, кто заморил червячка, сплеснув, передавали посудину и огрызок сахара дальше. Было человек тридцать — каменщики, плотники, ремесленники, несколько человек из местного завода, сторожа шоссейных дорог, чернорабочие.

Ремесленники и заводские, щуплые и мелкие ростом, бойкие, подвижные, в сапогах дудкой, говорили бойко, много, споро, вставляя «ералаш», «безобразие», «ерунда». Чернорабочие и шоссейные — кряжистые, неуклюжие, в лаптях, малоречивые, с деревенскими оборотами, наивные своей нетронутой силой.

Маленький человечек, подмастерье из портняжной мастерской, с тонкими, слабыми от постоянного сиденья, поджавшись на катке, ногами и, как писанка, пестрым веснушчатым лицом, залез на опрокинутую тачку и тонким голосом торопливо прокричал:

— Товарищи!.. Вот мы собрались... братцы!.. потому жизнь рабочего человека... так сказать, трудящегося люда... потому что, что мы видим?.. Экономическое производство капитализма производит буржуазию и кризисы, а буржуазия и общественный строй — сила, захочет — купит, захочет — продаст, захочет — дом выстроит... А куда нашему брату, пролетарию... потому, собственно, одна голая эксплуатация... Хозяин, который на готовых хлебах, спит себе с женой или брандахлыстает по театрам да по трактирам, а между прочим, рабочий человек когда отдыхает? Когда свое семейство видит? Какие радости видит?.. Товарищи, ввиду всего этого... единственная возможность... потому вспомните веник: раздергай — и весь по прутику ломай, а свяжи, попробуй-ка переломить!

Он утер зажатым в руке в комок платочком выступивший от горячего чая и внутреннего напряжения пот на лице и лбу, радостно взглянул на всех, хлебнул воздуху, и, прислушиваясь к важным торжественным мыслям в голове и ища для них и не находя старых и не справляясь с новыми словами, он начал снова высоким фальцетом:

— Братцы, счастье наше в наших руках!.. Оглянитесь, сколько нас, голодных... И все это — эксплуатация, и все это — народ... пролетарий... Ведь ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?.. Товарищи, крикнемте же «ура!..». «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Точно радостное похмелье разливалось по всему его тщедушному телу, пробиваясь на бледных щеках непривычным румянцем. Все эти новые понятия, новые слова, «буржуазия» вместо «хозяин», «эксплуатация» вместо «кровь нашу пьют», «пролетарии всех стран, соединяйтесь» вместо «ребята, не выдавай» — ворвались в его серую, замкнутую жизнь, жизнь изо дня в день, которую он проводил, поджав ноги на катке, ворвались чем-то праздничным, ярким, сверкающим и огромным. И хотя эта серая, скучная жизнь все так же серо, монотонно тянулась, над ней, как утреннее солнце, стояла, заслоняя жестокую, неумолимую действительность, каторжный труд, стояла радость ожидания огромного, всеобъемлющего счастья грядущего освобождения.

В молчании и неподвижной тишине слушали тяжело и трудно этого маленького человека с востреньким носом и тонким голосом.

Бородатые, обветренные, изборожденные лица были неподвижны, и было на них что-то свое, давившее и старое, не пускавшее в глубину сознания эти новые, странные и в то же время близкие в своей новизне и непонятности

слова и мысли. Молодые, безусые, как соколы, приготовившиеся лететь, не спуская глаз, с напряженным ожиданием глядели на говорившего товарища. Некоторые из них прошли уже школу известного политического воспитания, и эти чуждые массе слова, обороты и термины соединялись более или менее ясно с определенными понятиями, но каждый раз все же звучали ново и призывающе на что-то сильное, большое и захватывающее.

Хозяин то входил, то выходил и теперь стоял, опершись о притолоку, точно подпирал стену, нагнув голову и глядя исподлобья. И все та же одна, не сходящая с лица дума лежала на нем.

Кто-то кашлянул. Переглядывались, ожидая, что еще будет. Все свое, тоненькое и заунывное, тянула лампочка.

С впалой грудью, с втянутыми щеками и длинными морщинами на лбу вышел слесарь. Он был не стар, а пальто и сапоги были стары, потерты и рыжи. Он постоял, расставив ноги, сутулый, шевеля черными от масла и железа пальцами, и вдруг густой, какого не ожидали от него, с хрипотой голос наполнил казарму:

— Все на свете меняется, одно, товарищи, не переменяется: рабочий люд как был, так и есть гол, как сокол, ни кола, ни двора, один хребет да руки мозолистые.

— Правильно,— сдержанно и угрюмо отозвались голоса.

— ...О-охх... ох-ох... о-о-охх... Мать божия...— тускло и слабо, все же пытаясь напомнить о себе, проникало сквозь стену.

— Была прежде барщина, теперь барщины нету, ну, что ж, легче стало народу? Как не так! Все одно: гни спину по четырнадцать часов в сутки да виляй хвостом перед хозяином...

— Куды-ы!.. Легче! Кабы не так... по миру идет народ...

— Край приходит, рази жизнь?.. Могила...

И в пустом, с холодными стенами помещении шевельнулось что-то живое, беспокойное, понятное и близкое всем.

— Так вот, братцы, речь о том, чтоб помочь рабочему делу. Кто ж ему поможет? Не хозяин ли да подрядчик?

— Помогут! подставляй шею...

— Жмут они нас, аж сок из нас бегить...

— Ну, попы, может?

— Тоже... Им что! Отзвонил — да с колокольни долой...

— Ему хабаров набрать, больше ему ничего не надоть... Карманы у них, что твоя мотня, мотаются...

— Ну, так полиция, может?

— Гляди, это зараз поможет... Вот брат второй месяц в больнице.

— Что?

— Да помогли... С подрядчиком зарезонился, не доплатил, вишь,— ну, в участок... Теперь ребра заращивают доктора...

— Так вот, братцы, куда же деваться? На кого понадеяться?

— На гроб надейся, больше ничего.

— В могилу закопают, вот и спокой... тогда все хозяева добрые станут.

И точно ветер тронул, закачалось, заговорило поверх леса, подержался над толпой говор укоризны и насмешек. Но и этот говор как бы говорил: «Знаем мы это... давно знаем».

— Э-эххх вы!..— тяжелым комом кинул слесарь.— Овечье стадо... козлы отпущения... вас гни, вы кланяться будете да благодарить...

— Не лайся... что лаешься!

— Сам — из козлова царства...

— Да што, не правда, что ли? — выкрикнул, раздув ноздри, блестя раскосыми глазами, молодой рабочий, в сапогах дудкой и с вытянутой, как у зашипевшего гусака, шеей.— Вон у нас сорок ден стачка была... с голоду пухли... Жена в ногах валяется: «брось»... У ребят голова не держится, вповалку лежат... Руку бы свою вырвал, сварил... вот... а добились своего, а то могила!..

— Тебе хорошо... вишь, сапоги — гармония... продашь — восемь целковых, месяц и сыт, а на нас лапти,— угрюмо протянул грязную, обвитую веревкой по онучам ногу шоссейный.

— Не украл... слава те, господи, не доводилось еще... Я, брат, их заработал... во, соком...

— Стой, ребята, помолчите...

— Товарищи, не об этом речь...

— Это все одно, как у нас в Панафидине... Приходит единожды пономарь...

— Помолчите...

— Братцы... ведь все мы пролетарии,— остро выделяясь из всех голосов, зазвенел тонкий голос,— все пролетарии... а пролетарии всех стран, соединяйтесь!..

И он оглядывался, ловя блестящими, остро сверкающими глазами глаза товарищей.

— Я и говорю,— вдруг снова покрыл всех густой голос, и все голоса смолкли.— Я и говорю: овца, когда с нее шкуру дерут, только мемекает, а мы — люди. Ежели будем

по-овечьи, так и дети, и внуки, и правнуки наши... Поэтому надо дружно стать всем, да не в розницу...

Он с минуту молча оглядел всех. Все слушали и глядели на него.

— Матери вашей кила!..— вдруг неистово заорал слесарь.— Да ведь понимать надо, за что стоять, чего нужно добиваться, в чем спасение рабочему люду... Бурдюки проклятые! Вот, как собаки, перли сюда по ночам... темь, того и гляди голову сломишь, а почему?.. Что ж, нам о своих делах поговорить нельзя?.. Как воры... да ведь люди мы!.. А соберись, зараз за шиворот... Бедность заела, хозяева давят, а нам нельзя собраться, поговорить, обстроить свою судьбу... Нас таскают, избивают по участкам, гноят в тюрьмах, гонят в Сибирь... А от кого это все?.. Ну?.. Понимаете вы... чего нужно рабочему люду?..

Тяжело злыми глазами обвел он всех, торопливо шевеля черными от масла и опилок пальцами. И среди выжидающего молчания раздался голос:

— Землицы бы...

В ту же секунду дрогнули самые стены.

— Земли... Земли...

— Наделы нарезать...

— ...потому земля...

— ...кормилица...

— ...без нее, матушки...

— куда мы без земли... бездомники...

— ...семейство, его и не видишь, так и бродишь, как Каин, по чужой стороне...

Красные, мгновенно вспотевшие лица со сверкающими глазами поминутно оборачивались друг к другу, гневно ловя несогласно мыслящих, тянулись руки, сжимались кулаки, дергали друг друга за плечи. Не помещаясь в тесной и низкой казарме, стоял ни на минуту не ослабевающий гул разорванных голосов, в котором совершенно тонули пробивавшиеся из-за стены стоны. Точно всплывая в водовороте, оторванно выделялось:

— Да ты трескать будешь ее, землю-то?

— Панов покрываете...

— Голыми руками...

— Все одно, и с землей сожрет барин да начальство...

— ...она, матушка, все сделает, все произведет... всем хорошо будет...

— Вошь земляная... гнида!..

— Да ты, сволочь, старуху обобрал, с которой живешь... все знаю...

— Брешешь!..
— Помолчите!..
— А вон у нас как по восьминке на душу...
— Товарищи!..
— Братцы, пролетарии!..

Хозяин, опершись одной рукой о косяк, другой колотит себя по ситцевой рубахе на груди:

— Десять годов... во... как дикий... сладко, што ль...

Понемногу гомон затихал, и стало слышно:

— ...о-о-о... охо-о-о-охх...

— Десять годов бьюсь... зимою во... снегом занесет под крышу, голоса человеческого не слыхать, так и сидишь... А все зачем? Все об одном: вот, вот сколотишься, соберешь... сколько детей, кажного знаешь,— так копейку: ее кажную знаешь, кажную помнишь... с потом, с кровью, с мясом... А все зачем?.. Все об одном... день и ночь... хошь бы четыре десятинки... в вечность... земли-то у нас, господи боже ты мой!..

Он со страстью, с разгоревшимися глазами бросал кому-то путаные, неясные, но полные для него всеохватывающего, всеобъемлющего значения слова. Десять лет гнездится он в этих безлюдных горах. Рождались и умирали дети, похоронил одну хозяйку, взял новую, сила не та, поясницу ломит, старость подбирается, а кругом все те же молчаливые горы так же, как и в первый момент, равнодушно стоят и не выпускают его, и он дробит булыжник, ровняет для кого-то ненужное ему шоссе и не знает, когда придет его черед крестьянствовать.

Дикие, обезумевшие крики ворвались, опрокинув здоровые мужичьи голоса, из-за стены. Хозяин кинулся к двери.

Среди разбившегося неровного гула голосов вырастал хриплый голос слесаря. Он со злобой бросал ядовитые, язвительные слова, вставляя неписаные выражения:

— Задолбили... кабы можно, всю бы землю забрали. Я б и сам в первую голову... да то-то вот, которые все земли дожидают, давно без порток ходят, а вон он земли не дожидает, вишь — сапоги гармонией... потому гужом друг за дружку, а не как вы, как баранье стадо, куда вас гонят, туда и идете все мордой в землю... Э-эхх, остолопье!.. Вон Митрич десять годов из казармы не выходит, все землю дожидает, тут и сдохнет, и отец его сдох, пухлый с голоду, все дожидался... Кабы понимали, анафемы!..

Он ненавидел эту толпу, ненавидел острой, жадной ненавистью фанатика. Лет двенадцать скитается он из города в город, из мастерской в мастерскую, с завода на завод, перебиваясь и голодая с семьей и всегда пользуясь внима-

нием полиции. И каждый раз, когда, высланный, он снова пристраивался и попадал в рабочую толпу, его опять охватывала ненависть, едкая, жгучая ненависть к этому непроходимому, самопожирающему непониманию и темноте. И его агитация состояла в том, что он жгуче, отборно клеймил своих слушателей. Иногда подымался протест, но большей частью покорно сносили брань и уходили со сходки, унося конфузливо в душе зерно просыпающегося сознания.

И теперь угрюмо и молча слушали этого лохматого, черного человека, такого же заскорузлого, мозолистого, покрытого морщинами трудовой жизни, как и они сами. И если они не отказались от того, что было так же неизбежно и неуничтожимо для них, как жизнь и смерть, то впервые за всю жизнь в цельном, нетронутом, как гранит, представлении «землица» что-то надтреснуло тонкой, невидимой, недоступной глазу трещиной.

— Зачем мы тут!.. На кой дьявол возимся с вами... Да пухните себе, оголтелые черти, пухните с голоду, и чтоб вас запрягли в дроги и ездили на вас бесперечь полиция, паны и все псы их дворовые!.. Чтоб вас на веревке водили за шею, как рабочую скотину... чтоб...

— Тю, скаженный!..

— На свою голову...

— Чтоб ты сдох!..

. . . .

Огонек лампочки побелел, и в углах уже не лежала тьма. Все выступало без красок, серое, проступающее. Прильнув к стеклам, пристально глядело в окно мутно-матовое, все больше и больше светлевшее. Из-за стены не доносилось ни звука.

— Теперича бы выспаться.

— Высписся... цельное воскресенье.

— Стало, как в швейцарском королевстве. Там, братцы... народ пределяет. Скажем...

Дверь распахнулась, показался хозяин с засученными рукавами. На перекошенном лице дергалась улыбка, прыгала борода.

— Бог сына дал.

— А-а-а!..

— Вот это хорошо: работничек в дом.

— Дай, господи...

— Поздравляем... дай, господи, благополучия... и чтоб вырос, и чтоб не по-нашему, а зычно да гордо: сторонись, богачи!..

И в казарме постояло что-то свое собственное, независимое, и всем почудилось, точно теплый маленький комочек коснулся сердца.

3

Когда вывалили из казармы, совсем рассвело. Неподвижно и важно стояли сосны. Белел снег.

От самых ног необозримо тянулась молочная равнина тумана, изрытая, глубоко и мрачно зиявшая черными провалами. Не было видно ни города, ни долин, ни лесистых склонов, ни синеющей дали, только холодно и сурово зыбилась серая пелена, бесконечно клубясь и волнуясь. Стояла точно от сотворения мира ненарушимая тишина, и человеческие голоса одиноко, слабо и затерянно тонули в ней...

— Как же спущаться будем: ничего не видать внизу!

— А ты не спускайся.

— Не жрамши?

Ге-эй, па-алочки, чу-у-ба-рочки...

— Вот, братцы, семь годов в городе живу, никогда не видал этого... равнина, а?.. будто в церкви, и будто кадило, и дым плавает, а?.. семь годов...

Когда б могла поднять ты рыло...

— Ванька, подари сапоги... ах, сапоги!

— Рылом не вышел... и в лаптях хорош...

Вставай, по-ды-ма-а-айся, ру-у-усский нар-ррод!
Встава-а-ай...
...народ... роод... ооод...
Встава-ай на вра-га,
...бра-ат го-ло-од-ны-ый!..—

дружно подхватили молодые голоса, и над все так же чуждо, сурово и равнодушно волнующейся равниной поплыло, теряясь умирающими отголосками:

...а а-а-ат оооо-оодны-ы...

— Товарищи, кабы да отсюда да гаркнуть всему рабочему люду, да так, чтобы по всему миру слыхать было: «Пролетарии всех стра-ан, со-еди-няйтесь!»

...аааа...аа...аай...

Когда спустились в полосу тумана, за сапоги снова стала хватать тяжелая липкая грязь, каждый видел в молочно-мутной мгле только спину идущего впереди товарища, и отовсюду беззвучно капали с невидимых ветвей холодные капли.

1906

Константин Паустовский

(1892—1968)

РАССКАЗЫ ОБ ОЧАКОВЦАХ

ВОССТАНИЕ

Вы меня пытаете, прямо как прокурор. Ну ладно,— рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко, Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днепре. С баталером Частником, погибшим со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батька мой был небогат, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подрос, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня справного царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела,— ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добедовал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщил меня до революционного понятия. Шмидта после речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнщики. Звали мы его «брат командир», любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно, за день до очаковского дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. Он ответил — буду обязательно завтра.

Узнали об этом матросы — и как занялось «ура» по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника,— так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце «Пантелеймон», бывшем «Потемкине».

Чухнин, гладкая лиса, боялся «Пантелеймона». Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на тот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободе.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: «Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!» Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на «Пантелеймоне» ударники. Вот и глядите,— какие тогда были матросы, ровно дети. Отдали ударники, броненосец не мог стрелять — и через то погиб «Очаков».

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на «Очакове». Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за братским кладбищем. Теперь я могилу никак не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы да солнце, вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на «Очаков». Ночью по приказанию Шмидта мы захватили миноносцы «Свирепый», «Гридень» и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте «Эреклик». Шмидт послал нас на «Свирепом» в море сторожить «Эреклик», а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на «Очакове» подняли красный флаг и сигнал: «Командую флотом. Шмидт».

Все пять миноносцев ответили сигналом: «Ясно вижу» — и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали «ура».

Шмидт спустился на «Свирепый» и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

«Свирепый» подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: «Товарищи, мы поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!»

Матросы кричали «ура» и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюмы и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа,— страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам «ура».

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая «Пантелеймона», не осмелел, чтобы восстать. А от «Пантелеймона» — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову «Пруту», плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт поворотился на «Очаков», созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался,— человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом наконец заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддержал.

Что он говорил, я в точности не припомню. «Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!»

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все не прошло. И такая взяла меня злоба́ на людей,— что сдела-

ли с человеком и каким человеком! Я готов был своими руками поубивать арестованных офицеров, что сидели у нас на «Очакове».

Бароны все были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а бить людей не стеснялись. Одно только и знали гаркать, как заведенные: «Государь император, присяга, вера, грязное мужичье», а того в толк не брали, что государь император сам был с придурью.

Как сейчас подумаю, так кровь дрожит в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела их та дорожка до сырой могилы.

Эх, дожить бы им до нашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю,— ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые пруты и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу,— что такое? — идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и голос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: «Вот и свиделись мы с тобой, Дымченко. Недаром мы, значит, шли на смерть, недаром приняли страдания».

Пятый раз так его вижу, и сердце у меня падает,— должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: «Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, так долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!»

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу, и сердце сильно болит, как перед смертью».

«Когда я вступил на палубу «Очакова»,— сказал Шмидт на суде,— то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла дать всего восемь узлов хода, и без артиллерии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, не способного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, не способного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления».

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть «Очакову» — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на «Очаков» побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт «Буг»,— на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что царская эскадра не откроет огонь по «Очакову», чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и Шмидт в глубине души не верил в это, иначе у него не возник бы план с «Бугом».

Расчет на «Буг» был блестящ. Достаточно было, чтобы в «Буг» попал один снаряд,— и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера «Удалец» взять «Буг» на буксир и подвести его к борту «Очакова».

Когда катер вел «Буг» на буксире, канонерская лодка «Терец» приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать «Буг».

Тогда старший офицер «Терца», бывший друг Шмидта по морскому корпусу, Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда «Буга», боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и «Буг» пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу «Свирепый» произвести минную атаку на корабли эскадры.

«Свирепый» вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром потряс Севастополь,— эскадра и крепостные батареи открыли огонь по «Очакову» и миноносцу.

«Свирепый» затонул под ливнем тяжелых снарядов. «Очаков» молчал. У него не было снарядов.

Скверные сумерки спустились над морем. «Очаков» горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.

Команда «Очакова» начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.

Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.

Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: «Братцы, помогите! Братцы!»

На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.

Часть раненых успели спустить с «Очакова» в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.

Сколько матросов было убито на «Очакове», сколько сгорело на крейсере — он раскалился до того, что броня его стала почти прозрачной,— сколько утонуло и было убито в воде,— об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.

В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.

«Это был день смерти,— говорил потом Шмидт о гибели «Очакова».— Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?»

Шмидта с сыном подобрал миноносец «270». Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с «Ростислава» подбил его. Миноносец остановился.

Шмидт и его сын были арестованы офицерами с «Ростислава».

На «Ростиславе» мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.

Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.

Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраинах Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить,— им не разрешали говорить друг с другом.

Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку «Дунай». Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.

Еще на миноносце «270» кто-то накинул на Шмидта мокрую матроссую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.

«Дунай» доставил Шмидта и его сына в Очаков в сырой каземат на острове Морской батареи.

Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь.

СТАТЬЯ СОТАЯ

«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему,— можно так сказать или нет,— «тяжелое счастье», но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.

Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.

Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.

Лучший слушатель — это мой внук-пионер. Ему я говорю обо всем. О пятом годе, Жоресе, войне, Октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.

Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.

Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.

Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал

проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.

А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.

Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него начинаю.

Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы и традиции.

Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось ваше детство с его справедливостью и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного «дела».

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут его из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: «Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас». Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: «Откройте двери!» — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес бы ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было

в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография и портрет не передали особого отблеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях, видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на «Потемкине». В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули и дождались, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они «не обратили внимания» на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным. Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на «Очаков», Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно —

и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по дворам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы.— Сегодня его перевезли с острова. Я видел, как он сошел с катера,— высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские,— и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя бы издали увидеть брата.

Первыми вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет...— прошел по рядам матросов глухой шепот.— Это сестра Шмидта... Плачет по нас...

Матросы сняли бескозырки,— ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту,— говорила потом сестра Шмидта,— можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

Не взыщите,— я с трудом могу вспоминать эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

«Предсмертная серьезность моего положения,— сказал он,— побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мною приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы ответил я один за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной, у меня останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мне сердце, и я приму смерть».

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани. Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму «Прут».

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью. Все было кончено. По статье сотой Уголовного положения Шмидт был приговорен к повешению, а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался наконец сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко: «Прощайте, Александр Сергеевич». Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — часовой отвернулся.— Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он.— Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что вокруг происходит.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

КАЗНЬ

Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту «Прута» подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту было ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.

Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.

Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.

Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки «Терец». Позади них стояли солдаты. Орудия «Терца» были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.

Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Лучше прикажи своим людям целиться прямо в сердце.

Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры растерялись. Казнь затягивалась.

Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал «огонь», пригнулся к земле и закрыл лицо руками.

Звеняще и тревожно запела труба горниста. Шмидт, не отрываясь, смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.

Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал Антоненко.

Матросы с «Терца» бросали ружья и, растерянные, бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением:

— Вот и кровь моя льется...

Его пристрелили из нагана.

А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали

тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.

В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.

На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодняя полынь серела на глине.

Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову, она как будто искала следы брата и матросов.

В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.

Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались их глаза, потом засыпала могилу грудами красных цветов.

Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно.

1957

Дмитрий Фурманов

(1891—1926)

ТАЛКА

Первыми выходили бакулинские ткачи. Шершавой и шумной толпой выхлестнули они из корпусных коридоров на фабричный двор. И раскатился от стен и до стен по каменному простору ревучий гул.

У ворот, под стеной, оскалившись злобой, в строгой готовности вздрагивали астраханские казаки. На кучку железных обрезков, стружья, укомканной грязи выскочила хрупкая тощая фигурка рабочего. И вдруг зашуршало по рядам.

— Дунаев... Дунаев... Евлампий Дунаев...

Дунаев вскрикнул что-то и взмахнул повелительно над головой короткими руками. И было видно, как торопливо юркнула к затылку черная кепка, сползли в подмышки рукава рабочей блузы и ворот отскочил с крутого кадыка.

По восковому рябому лицу Дунаева проступили горячие пятна, черные глаза захлебнулись волнением, вспыхнули, как жало, впились в толпу. Остро прыгала короткая бородка, как клеенные трепетали черные усики. Он весь дрожал, словно птица в петле, а высоко вскинутая тонкая рука приказывала мужественно и властно:

— Товарищи, внимание!

И все, что гремело, стучало, кричало, визжало, вмиг встало. Вмиг — тишина. Только чеканным клекотом чмокнули по камням казацкие кони. Казаки ерзко шаркнули в седлах шершавыми штанами. Подались назад, хрустнули

нагайками, но остались под стеной. Толпа могуче зевнула в казачью сторону, тяжело обернула к Дунаеву сухое решительное желтое лицо и — замолчала.

— Товарищи! Мы бросили работу, мы вышли на волю — зачем? Затем, чтобы крикнуть этим псам,— он дернул пальцем на каменный корпус,— крикнуть, что дальше так жить и работать нельзя! Верно али нет?

И казалось — подпрыгнул каменный двор от страшного вскрика толпы и стены медленно, жутко покачнулись.

— Но не будет успеха, товарищи,— покрыл Дунаев утихавшие голоса,— не будет успеха, ежели мы в одиночку. Всем рабочим горькая жизнь одна — вместе с нами пойдут все фабрики, все заводы,— так али нет?

И снова крикнул в мгновенной встряске каменный двор. Охнула толпа, заволновалась, тревожная, словно кто-то по рядам перебирал ее, как струны, крепкими, цепкими пальцами.

Со стружьей кучки кратки были гневные речи.

С шипом кто-то шамкнул в толпе:

— Среди нас шпионы...

— Шпионы!.. Шпионы!.. Шпионы!..

Словно против шерсти пошарили зверя: взлохматилась, ощетинилась сердито толпа.

— Где шпионы? Взять шпионов в бока!

И кто-то выкрикнул резко и внятно:

— Шпионы метят спины мелом...

Тогда вмиг поверили все, что у шпионов — мел в руках, и тысячи глаз заскакали по соседским ладоням, шарили по саленым спинам, но не находили мела, не видели предательских спинных крестов.

— Про-во-ка-ция!

И так же быстро, уверенно побежало это новое:

— Провокация, провокация, провокация!..

— Товарищи, нет ничего, круглый обман. Торопитесь выходить за ворота!

И толпа снялась, как с якоря огромный пароход,— забила лопастями, заухала, расплескалась звонкими вскриками, выровняла путь и вперила в ворота прямой, непоколебимый взор.

Тогда кони казацкие враз куснули удила — подались казаки в сторону, лава вылудила на улицу.

И неслась густая темноблузая масса по недоуменному городу, обрастала, вырастала, с фабрики перехлестывала на фабрику, заливала корпуса, откатывалась прочь — окрепшая, освеженная, густая и черная, как волны в ветру.

Недоступны каменные стены вкруг корпусов; стиснуты плотно жадные челюсти железных ворот; пусты жандармские кобуры — готовы наганы в руках; отменно вооружены полицейские наряды; по городу свищут желтолампасные эскадроны астраханцев...

Ямы, заставы, капканы, засады — смерть, как горные тучи, низко повисла кругом.

Но широк и волен шумный бег масс — разжимаются перед ними пасти ворот, пропускают высокие стены, скрежещут, но молчат жандармы, мимо скачут разъезды казаков.

У кампанских ворот враз не далось — тогда просочились с тыла, прорвались во двор и оттуда вместе уходили через главные ворота.

Кампанских вели двое — Федор Самойлов и Семен Балашов.

На городской площади, на главной — перед управой — собрались невиданным множеством и забили приуправские улицы, как патроны бекасинником.

Над толпой, на плечах у сильных, как малая рыбка на солнце, выплескалась вверх хрупкая фигура Евлампия Дунаева:

— Тш... ш... ш... Та...ава... рищи! Тихо!

Да, тихо: все тише... тише и — тихо! Остановилось.

Евлампий Дунаев пронзительно, гневно выпалил короткое слово:

— Товарищи! Фабрики побросали работы. Десятки тысяч голодных рабочих пришли сюда — вон, погляди!

И он над головой быстрым кругом перекинул руку.

— Мы предъявим фабрикантам требования и до тех пор не встанем на работу, пока требования наши не удовлетворят.

— Правильно! Верно, Евлампий!

— Забастовку, товарищи, доведем до конца,— вскрикнул Дунаев,— до конца, до самой точки — али нет?

Тысячегрудым эхом гикнуло по площади согласье.

Дунаев сполз с плеч. Дунаеву первому поручил говорить партийный комитет. Комитет заседал накануне в лесу, ночью,— там и решили утром подымать забастовку. Теперь комитет большевиков на площади сомкнулся в центре, где выступал Евлампий,— одного за другим выпускал своих ораторов. Партийные ораторы перемежались рабочими, что стояли ближе: всяк говорил только одно, всяк своим гневом, словно расплавленным свинцом, оплескивал гигантскую дрожащую толпу.

Только одно, одно, одно:

— Нет исхода нужде! Больше не можем так жить! Лучше разом сдохнуть с голоду, чем доживать в нищете!

— Хлеба, хлеба! Работы и хлеба!

И в острую голодуху, в неисходную нужду большевики вгоняли стальные клинья.

— Товарищи, голод — голодом, нищета — нищетой, надо бороться за надбавку оклада, за восьмичасовой день, но это не все... Не все это, товарищи! Выходя на забастовку, обрекая себя на долгие, может быть, страдания, мы заявляем сразу обо всем, что думаем, чего добиваемся, за что боролись и станем бороться до конца: учредительное собрание! свобода слова! свобода собраний! печати!.. Без этого некрепки, недостаточны все наши завоевания: сегодня мы отвоевали, а назавтра отымут вновь... Так ли, товарищи?..

И теперь крепким, насыщенным гудом изнывала толпа, но еще густы темные тучи, велик еще страх перед тем, что стоит веками,— рабочая рать только пробуждалась в те дни на борьбу с царизмом.

Один за другим, друг дружку сменяя, повторяя, выплескивая гнев свой и горе, призывая на борьбу, выступали рабочие.

А в открытые окна управы свешивались на мясистых масляных шеях брюхатые головы, поблескивали жалко и кичливо позументы чиновничьих сюртуков, улыбались сахарно чьи-то подобострастные острые мордочки — управа наблюдала, управа была оживлена необычным зрелищем, управа всерьез борьбу не принимала, не хотела верить, что это начало настоящему гигантскому делу. Когда на площади прозвучали набатные речи, когда потребовали хозяев к ответу,— они по-мышиному спрятались в норы — высылали ищеек и дебелых цепных псов. Те улыбались и радушно, как истые друзья рабочих, уверяли маслено и пряно:

— Товарищи рабочие! Вы собрались сюда, чтобы добиться законных своих требований. Но криком и скопом никогда ничего не добьешься. Вам необходимо разойтись, разбиться по группам — пусть каждая группка идет к себе на фабрику и там договаривается со своей администрацией,— так или нет, товарищи?

Один только миг тихо-тихо стояла толпа. Казалось, она обдумывает. Но вдруг взвилось негодующее слово:

— Никаких группок — говори со всеми. Рабочие разбиваться по фабрикам не станут. Нужда у всех одна — со всеми надо и разговор вести!

— Но так же удобнее...

— Кому удобнее?

— Так удобнее для обеих сторон,— вкрадывается маслено-мягкий голосок.

И бухает кувалдой рабочее слово:

— Никаких отдельных выступлений, никаких разговоров — так и передайте. Рабочие выберут своих представителей — говорить можно только с ними, а через них — со всеми рабочими — разом...

Уплетались, как кнутом отхлестанные псы, к себе, в управу.

— Мы завтра, товарищи, вновь соберемся сюда, к управе, а пока — айда на Талку!

— На Талку, на Талку, на Талку!

Разбуженным зверем заворочалась площадь. Раздвинулись улицы, разомкнулись переулки — как волны в половодье, запрудили блузные валы. В те исторические дни на Талке совершилось великое дело: каждая фабрика выбрала своих представителей, те представители образовали первый в России совет рабочих депутатов.

Совет выработал требования рабочих. Совет предъявил их фабрикантам. Все переговоры фабриканты отныне вели только с советом. Совет был в то время рабочим правительством.

Секретарем выставили большевика Грачева. Был в совете — Отец — Федор Афанасьев, был его лучший соратник Семен Балашов, Федор Самойлов, Николай Жиделев, что ходил то и дело на разговоры с фабрикантами, с управляющими, директорами, были Марта Сармантова, Евлампий Дунаев — было всего в совете сто десять человек.

Рабочие наказали своему совету:

— Будь у нас головой в борьбе. Слушать станем только тебя. Действовать станем только по твоему приказу. Смотри зорко, чтобы не рассыпалась наша рать, чтобы действовали фабрики дружно, чтобы ни одна не вступала в разговор со врагом одиночкой.

Совет мужественной, надежной рукой повел на приступ стачечные полки.

— Мы избрали своих делегатов,— утром говорили на площади.— Делегаты предъявили фабрикантам требования. Мы свое дело сделали. Ответ теперь не за нами...

И снова речи. Снова призывы к борьбе — корявые обжигающие слова:

— Лучше всего за нас скажет сама нужда — нам ни свидетелей не надо, ни адвокатов. Велика нужда, но мы же не разбойники — чего эти торгаши с перепугу закрыли свои лавки, чего дрожите, окаянные?

Кругом на лавках, по торговым рядам на схлопнутых дверях чернели пудовые замки.

— Мы голодны, но не грабители мы, не тронем, не бойтесь...

По площади прогудело гордое сочувствие. Торгаши суетились у запоров, открывали витрины и двери. Площадь улыбалась, довольная.

— Сколько нам времени вести борьбу, того никто не знает,— снова говорил перед управой кто-то от партийного комитета.— Может, очень долго, товарищи. А ежели долго — значит и трудно. Надо видеть вперед. Надо знать, что нужда может ухватить клещами. От имени комитета предлагаю теперь же выбрать пятнадцать человек, пусть они собирают гроши наши в фонд забастовки,— надо али нет, товарищи?

— Как же не надо? Знамо, надо! — тысячами криков скрепили предложенье. И пятнадцать избранников — с шапками, с кепками — пошли по рядам. Кидали рабочие просаленные семитки, бережно отыскивали монетки, глухо завязанные в узелочки платков. Проходили сборщики и по торговым рядам. Кидали в шапку торгаши, приговаривали:

— Целковый отдашь, только бы кончили, сатаны, заваруху дьяволову.

Когда воротились, вытряхнули шапки — насчитали полтыщи рублей. Эк, какой капиталище на полсотни тысяч забастовщиков! Забастовочный фонд был создан, он хоть крохами, но все эти трудные недели и месяцы кормил голодную массу. Деньги в подмогу приходили и из Москвы.

Пока собирали, пока ходили шапочники, выступала Марта Сармантова — она работала на Бакулинской вместе с Дунаевым.

На ящик, на бочку ли — взгромоздилась голиафского росту женщина: тонкая, как жердь, высоченная, как осина. Впала тощая высохшая грудь у Марты; как нос покойничий, заострились высокие плечи, и оттого она казалась еще выше. Как ветряная мельница машет в бурю тонкими лопастями, вдруг замахала Марта Сармантова длиннущими руками над толпой и голосом острым, как точеное лезвие, полоснула площадь:

— Товарищи! Дайте слово сказать!

Как увидели ее — ветряную мельницу, весело заржали ближние, клекотом раскатили по рядам:

— Марта! Глянь-ка, Мартушка-то Сармантова!

— Она и есть — во баба!

— Я, ребята,— сказала Марта громко,— я всю жизнь свою то и знала, что ютилась по углам. Эка бабища,

да по углам — у-ух, тесно!.. То-то и вольно мне тут, на ящике — маши, что хочешь, за угол, не бойсь, не завезешь. Первый раз без сгибу говорю...

Вся площадь сочувственной радостью подхрапывала словам Сармантовой. Она подхватила смешки, усмехнулась сама просторной улыбкой, говорила дальше:

— И вошла я здесь, товарищи, сказать вам про одно — про бабу-работницу, про горестное наше положенье,— как есть у всех мы на последнем счету. Что такое баба, коли нет правов и мужику,— ноль совершенный и пустой. Какую мы замечаем радость в жизни женской? Да совсем никакую, а жмут ее, бабу, со всех сторон, и труд свой она повсегда отдает дешевле, чем мужик, потому как баба почитается глупый человек. И притом — неумелый. То-то неумелый, а ты сперва обучи, тогда и спрашивай. Вся жизнь проходит, как онуча в навозе гниет. Утресь беги по свистку, весь день голова как чужая. А в дому, пришла — запрягайся до ночи в хомут, хлещи-полощи, детей тащи, а где их, силы-то, возьмешь. Эти, што ли, подмогут? Товарки! Бабы! Ткачихи! Ладно хлопать ушами — и нам надо дело делать, неча зевать, то-то...

Марта Сармантова переступила на землю, а толпа восторженно ревела ей вслед. С того дня особо запомнили и особо полюбили Марту Сармантову.

Выступали потом на площади всяк со своим горем: приходили каменщики, плотники — жаловались на подрядчиков-живоглотов, говорили про авансы, про удавную петлю, в которую захлестывал хозяин, говорили про каторжную работу и грошовый заработок; выступали сапожники, били в грудь себя смолеными кулаками, плакали над пьяным своим понедельником, поясняли горестную жизнь.

— Каждый понедельник вдрызг сапожник пьян. Хорошо, пьян. А почему он пьян — от радости? Да с того же все горя разнесчастного... с той же все жизни серой, словно дратва сапожная... Не то запьешь,— в веревку полезешь...

Говорили кухарки, господские прислуги, оповещали, как измываются над ними капризные барыни, держат ночь и день на цепи...

Стояли и слушали. Стояли и думали:

«Что же это, как жизнь рабочая устроилась — работы, кажись, никто не боится, а всяк рабочий в нужде потонул, как пень в болоте?»

Тогда выступали большевики и рассказывали, как, отчего это все выходит, как надо бороться с врагом...

Из Владимира приехал губернатор. Вкруг губернатора вился Шлегель, жандармский ротмистр, служилый пес,— докладывал своему господину:

— Не извольте верить, ваше превосходительство, будто волнения происходят из-за заработной платы,— один предлог, ваше превосходительство. Все основание дела состоит в злостной агитации неблагонамеренного и вредного элемента,— вообще сказать, социалистов, вашество. И смею предложить свое слово вашему превосходительству: всю силу нам полезно употребить именно в эту точку, следует изничтожить злокозненный элемент, причину всякого волнения, ваше превосходительство.

Губернатор раздумчиво мял усы, сочувственно хмыкал словам холопа, кивал доверчиво головой.

— Так, так... Это так... Это как есть так...

У губернатора готов был план помощи забастовщикам: в город стягивалась пехота, драгуны, на подмогу желтолампасным астраханцам откуда-то пригнали донских казаков: власти готовились обычным порядком.

Рабочие делегаты говорили с губернатором:

— Отчего молчат фабриканты? Ваше дело — на них подействовать!

Губернатор уверял, губернатор обещал. Губернатор пояснял через день:

— Поделать ничего нельзя: хозяева вольны отказать и не отвечать, это ихнее право... Вот по гривенничку на рубль — они согласны...

Негодуя — отбросили подачку. Забастовку было решено продолжать.

Высылали фабриканты в разведку слуг своих — фабричных инспекторов. Старший губернский инспектор просил собраться обе стороны в мещанской управе и даже сам предложил совету рабочему выбрать на том заседании председателя — ишь ты, куда заметал. А потом — лисой... лисой... лисой...

— Вам, товарищи рабочие, самое удобное — это разобраться по фабрикам и вразбивку отстаивать свои требования.

— Мы же вам сказали на площади,— оборвали резко инспектора,— на то выбран совет, чтобы действовать дружно. Не бывать тому, чего хотите, забудьте, господин инспектор...

Закусил инспектор удила, промолчал. Обсуждались требования, выработанные советом,— несколько десятков пунктов. Разбирали, поясняли, принимали. Среди заседанья прибежал кто-то от фабрикантов.

— В типографии требуется отпечатать бумагу хозяину...

— Нельзя печатать!

— Но ему необходимо.

— Нам вот тоже тут необходимо: совет не разрешает печатать.

Масленой лисицей заластил было снова инспектор, хотел уговорить, но его и тут посадили:

— Обсуждайте пункты, господин инспектор, а насчет работы совет один справится; нельзя печатать!

Вспыхнул гневом инспектор, лязгнул в бессилье зубами и опять смолчал. Два его сопомощника тихо попыхивали глубоко припрятанным гневом.

Что б там ни было, пункты приняли. И политические приняли и фабрикантам всучили, а те похахалились:

— Учредительное собрание? Что же, можно, пожалуйста... Мы не возражаем, хоть завтра... А впрочем, с царем поговорите сначала, может, он и не захочет. Ха-ха-ха-ха!.. Что же нас касается, по существу — гривенник на рубль, и — более ни гроша!

А Бурылин, Гарелин ли Мефодка, треснул по дубовому столу кулачищем.

— В Уводи все деньги стоплю... По миру сам пойду, а не дам ни гроша подлецам: пущай дохнут лучше, работу не кидают. Против своего хозяйского слова — шагу не ступлю. Что сказано — свято!

Дикие речи сумасбродного толстосума доходили до рабочих, и в гневной ярости слушали они те слова.

— Забастовку продолжать! На работу не вступать! Врут, гады,— сдадут!

Обе стороны крепки были — каждая по-своему.

Совет собирался в мещанской управе, открытые митинги каждый день собирались на городской управской площади. Скоро объявили власти, что митинги по городу — одна помеха; собранья вынесли на Талку.

Скоро власти заявили, что протоколы советских заседаний надо им присылать на просмотр. Посмеялись, плюнули на полицейскую бумажонку — и заседания совета перекинули на Талку.

И стала Талка словно рабочий университет: от зари и до ночи обучались на Талке рабочие мужественной дружной борьбе. Талка — малая речка — стала желанным, любимым пристанищем ткачей. Рано-рано собирался каждодневно совет — он заседал у соснового бора, на том берегу речушки, возле сторожевой будки. На заседанья совета приходили только его члены — сторонних не пускали; засе-

данья были спешные, строгие, деловые. Надо было взвесить и учесть все до прихода массы, каждый день давать ей отчет о своей работе, намечать дальше путь борьбы. На том берегу, по откосу — все гуще, гуще — со всех сторон: и с Ям, и от станции, от ближних залесных деревень, с Хуторова — группками собирались рабочие. Заполняли весь приречный луг, десятки тысяч теснились на побережье. Тут же прилипли мелкие торговцы — с хлебом, с квасом, с папиросами; людное поле шумит, ожидает начала.

И вот — представитель совета. Он рассказывает положенье дел к сегодняшнему утру, докладывает, что пришлось узнать-услыхать, что нового в обстановке, как дальше намерен действовать совет. Предложенья обсуждаются, голосуются, записываются на месте.

Выступают рабочие — кто о чем; так в течение нескольких часов обсуждалось положенье. Потом кто-нибудь выступал с политическим докладом, рассказывал о положенье, о борьбе рабочего класса, о международной солидарности... Часы проходили за часами. Уже свечереет, а десятитысячные толпы рабочих все стоят и слушают-слушают...

В конце — революционные песни; с песнями уходили по домам, чтобы завтра утром снова прийти и снова быть здесь до темного вечера. Иные оставались целую ночь — уходили в лес, зажигали костры, вкруг костров ночи напролет сидели, толковали, слушали, учились: Талка и в ночь была рабочим университетом...

Выступали здесь те же — знакомые и любимые: Евлампий Дунаев, Отец, Семен Балашов, Миша Фрунзе, Шорохов, Самойлов, Жиделев, Марта Сармантова... С докладами выступали приезжие, среди них Николай Подвойский... На ночь все скрывались как могли,— уж зорко выслеживали вожаков полицейские ищейки... Часто переодевался Евлампий Дунаев, скрывался то в лесу, то по городским кладбищам,— как-то вместо него даже выловили сыщики схожего рабочего, трое суток проморили в каталажке, пока не расчухали ошибку.

Талка и ночь и день жила своей жизнью,— днем гудела тысячными толпами, ночью золотилась кострами...

В городе — строг стоял революционный порядок,— в городе ни шуму, ни драк, ни скандалов. По требованию совета закрыли «казенки» — винные лавки. Создал на Талке совет свою милицию. Ходили рабочие-милиционеры в черных ластиковых рубахах, опоясанные черными широкими поясами, в руках — палка, окрашенная в черный цвет. Милиция поддерживала в городе порядок. То, что не давалось поли-

цейским, легко удавалось рабочей охране. Стояли рабочие патрули и у фабрик, зорко смотрели — не пришел бы кто работать, но не было никого у фабричных стен, только дутым, ощеренным индюком прохаживался господский сторож. Стояли наглухо замкнутые фабричные чугунные ворота.

Забастовка из Иванова перекинулась на окрестности: уж встали фабрики Тейкова, Вичуги, Шуи, Кохмы... Отовсюду на Талку съезжались представители, получали советы-указанья, захватывали кипки листовок и воззваний, возвращались крепко заряженные...

Типография советская спрятана была где-то по Лежневскому тракту; заведовал ею Николай Дианов: краску, бумагу, шрифты ему возили Отец, Федор Самойлов и другие ребята. Типография работала куда как лихо: выбрасывала то и знай десятки тысяч листовок, в тех листовках поясняла пути борьбы, поясняла каждый свой и вражеский шаг, рассказывала о том, что происходило на Талке. Листовки на время заменили газеты. Более близкого в эти дни не было ничего: листовки говорили про борьбу, листовки учили побеждать. Читались они нарасхват.

Фабриканты молчали, на требования рабочих ответа не давали. Снова и снова говорили рабочие делегаты с фабричными инспекторами, эти уверяли, что сделают все — и не делали ничего; говорили с губернатором — этот руки разводил недоуменно, голову вжимая в жирные плечи, посмеивался:

— Не из кармана я выну эту надбавку. Не хотят фабриканты, что поделаешь,— на то они полное право имеют, да-с.

Ходили делегаты и по фабрикам, говорили с директорами-управителями.

— Ничего-с, ничего-с не можем. Хозяева уехали в Москву, пишут, что за жизнь свою беспокоятся здесь. А указаний нет, никаких нет-с: гривенничек на рубль, как говорили-с...

И они хихикали злорадно и слюняво.

А голод крепчал, рабочие распродавали барахлишко, иные на время уходили по деревням, многосемейные выбивались последними усилиями, в толщу рабочую вкрадывалась тревога, цепко хватала она материнское сердце,— матери дальше не могли смотреть без слез на ребят, оставшихся без хлеба, истомившихся в голодухе.

Тревога росла, проникала к самому сердцу массы, и те, что дрогнули раз, на другой раз боль свою прорывали ропотом, в третий раз горе свое развевали угрозами и проклятьями.

Шпики, ищейки, переодетые жандармы шныряли и следили за поворотом, замечали, как лютой ржавчиной разъедает голод самую сердцевину, доносили о том ищейковым главарям, и те подсчитывали сроки, когда можно будет выступить в открытую.

Совет выделил комиссию, эта комиссия выделяла самые голодные семьи, выдавали из грошового фонда чеки, по чекам шли рабочие в кооператив. Хоть сколько ни есть, а поддержка была. И на время притихало ропотное сердце, смолкали протесты, пропадала тревога тех, что дрогнули в безвыходности.

И как-то раз стало слышно на Талке:

— Фабриканты ответили, фабриканты прислали письмо...

В самом деле, перед собравшимися массами выступил представитель совета и распечатал не одно,— целую груду писем. Фабриканты отвечали, каждый свое.

Но что ни писали там по-разному, у всех было одно: надбавки не будет, кроме того, что сказано,— гривенник на рубль! Кое-где говорили про кухню фабричную, про бани, про страховку рабочих...

И как ни крепко голод глотку сцепил когтями — постановили грозно:

— Забастовку продолжать!

И с утра до ночи, ночь напролет жила, дышала Талка, делал свое дело рабочий университет. Бывало вначале — попробуй крикнуть: «Долой царя!» — эк как распалялись рабочие, как галдели:

— Неча царя трогать... Царь ни при чем — дела больше давай, надбавку...

Так было вначале, а теперь, всего через недели, те же смелые призывы против царской тирании встречаются восторженным и гневным криком: рабочий университет, как крот, прокапывал невидные пути в рабочем сознанье, добирался до самого сокровенного, перестраивал все на новый, невиданный лад.

Видели власти, как разрушает талочный крот вековые устои, понимали царские служаки, что не в шутку затеялось дело.

Второго июня губернатор повесил бумагу:

«Ни в городе, ни на Талке собранья отныне не разрешаю!»

Тогда спешно собрался совет рабочих депутатов в бору и постановил свое:

«Приказу губернатора не подчиняться. Собранья на Талке продолжать!»

Схлестнулись лицом к лицу два суровых решенья: эта стычка даром пройти не могла.

Раннее утро 3 июня. Теплы и тихи июньские дни. Хорошо на талочьем зеленом берегу. Хорошо в бору, где расплылась над травами, над хвоей щекотная прохлада леса. На этот раз собирались под самым бором: с высокого берега, с луга мостиком перебирались над журчливой Талкой к опушке. И рассаживались группками по траве. Митинг не открывали — ждали, когда подойдут новые тысячи. С Хуторова, с Ям, от вокзала шли рабочие, примыкали к тем, что ждали у бора, все новыми кучками засыпали поляну, снижались к реке. Что-то дрогнуло вдалеке и заколыхалось черной широкой тенью.

Вон она ближе, строже тень, вот из облачка изумрудной пыли выскочила отчетливая казацкая кавалькада: казаки путь держали к Талке.

Рабочие, как были, остались сидеть на полянке. Около самого бора члены совета сбились крепкой взволнованной кучкой.

На берегу, переливаясь желчью, пестрели, суматошились лампасы астраханцев. С астраханцами впереди Кожеловский — полицмейстер. Казаки чуть замялись над речкою, но, видимо, все было сговорено ранее: торопливо спустили коней вниз, перемахнули мелководную тихоструйную Талку, вырвались на поляну к рабочим; те сидели и стояли, чуть оторопелые. Да и что в этом казачьем визите опасного, когда на управской площади все собранья проходили в казачьем и драгунском кольце?

Вдруг Кожеловский высоко и резко крикнул три раза взапал:

— Разойдись!

И не успели понять рабочие, что кричит полицмейстер, как выхватил он шашку, блеснул над головой и кинулся к группкам безоружных. Казаки гикнули, кинулись вослед.

Тогда только рабочие повскакали, кинулись врассыпную.

Те, что были у самого бора, юркнули меж деревьев, помчали по лесу,— их не могли достичь казацкие шашки, им вослед казаки открыли огонь.

Но главная драма там — у насыпи, на открытом песчаном взгорье, куда побежала масса рабочих. Казаки, как

дьяволы, метались по всем направлениям, стреляли прямо в густую толпу, наскакивали и мяли бегущих под конями, махали шашками, резко свистели смолеными нагайками.

Тех, что падали убитые и раненые, никто не собирал и через них и по ним скакали озверелые от крови казаки.

Часть отбитых с насыпи окружили и загнали вновь на поляну; скоро их прогнали в тюрьму.

В ужасе неслись рабочие через насыпь на город. Страданьем и гневом искажены лица. Страстная месть загоралась в глазах. Бешеным потоком хлестали они по улицам, вырывали, сбивали телеграфные столбы, рвали провода, а потом, ввечеру, стреляли на постах в городовых и по жандармам, зажгли на Ямах Гандуринскую ситцевую, склад фабриканта Гарелина... Скоро запылали в окрестностях фабрикантские дачи — Бурылинская, Фокина, Дербенева.

Рабочие в грозной мести проливали свой гнев.

Совет наутро десятками тысяч пустил листовку, где рассказывал про вчерашний расстрел, где призывал рабочих стоять на своем, держать мужественно знамя борьбы: пусть порют, пусть расстреливают,— придет черед и нашей победы!

И снова шли мучительно голодные дни. Только уж на Талке больше не собирались — ночами уходили в лес, далеко выставляли дозоры, собирались в глуши, обдумывали там, как дальше вести борьбу.

И как-то раз, через неделю после расстрела, загудели вдруг фабричные гудки: хозяева верили и ждали, что измученные, перепуганные рабочие сами придут на работу. Но никто не пришел. Повыли-повыли холостые гудки и смолкли. Пождали-пождали распахнутые голодные ворота — и захлопнулись. Угрюмы и гневны сидели по избам рабочие — без приказа совета на работу не вступали.

Тогда поняли и расстрельщики, что так дело кончиться не может: собранья на Талке разрешили вновь, даже сместили, перевели куда-то полицмейстера Кожеловского.

И снова, как прежде, оживали с утра талочьи берега, и снова на Талке — рабочий университет. Только и речи и все выступленья, разговоры, будто черной вуалью, подернуты траурными воспоминаниями о недавней потере.

Уж иссякли последние крохи стачечного фонда, выдавали последние билетики на хлеб в кооператив. Дальше надеяться было не на что, стачку надо было подводить к концу.

23 июня собрались, как раньше, перед управой. Евлампипй Дунаев говорил:

— Больше мы не можем смотреть на страданья измученных матерей, на голодных детей. Мы требуем, чтобы наши условия были приняты. Мы требуем работы, мы требуем хлеба. Дальше продолжаться так не может. Или мы складываем с себя ответственность,— пусть изголодавшиеся рабочие массы действуют сами по себе. Ежели что случится, помните! — и Дунаев ткнул в управские окна.— Помните, что мы сняли с себя ответственность: она падает только на вас!

Бурно шел и бурно окончился этот голодный митинг. Гневом и местью дрожали речи. В накаленном воздухе чувствовалась близкая гроза. Тесно сомкнуто вкруг управской площади казачье и драгунское кольцо.

На фабричных воротах скоро развесили призывное:

«Ежели в июле рабочие не встанут на работу — фабрики закроются до сентября».

Говорилось там о десятипроцентной надбавке и о том, что день рабочий снижается от одиннадцати с половиной до... десяти часов!

А рядом другая рука писала негодующее:

«Товарищи, держитесь крепче, не поддавайтесь подлецам!»

«Потерпим, товарищи, победа за нами!»

Видел совет рабочих депутатов, что стачку пора вести к концу: всему своя мера, свой предел.

Рабочий совет все учел, видел вперед и понимал, что, не кончи стачку теперь же организованно, она может распылиться сама по себе: глубочайшая нужда достигла предельной грани.

Тогда последний раз собрались на Талке десятки тысяч измученных ткачей и выслушали от своего боевого совета прощальную речь:

— Средства наши иссякли. Помощи неоткуда ждать. Мы с лишком два месяца боролись, товарищи,— неплохо боролись! Не напрасно голодали. Пусть добились не всего, что хотели с бою взять, но мы окрепли и выросли в этой борьбе. Наша следующая схватка с капиталом будет уж не такая. В той схватке, надо думать, одержим мы уж не такую победу. А теперь — на работу, товарищи!

И 27 июля вновь загудели фабричные гудки, радостно задымили соскучившиеся трубы, вздрогнули каменные корпуса — рабочие пошли на работу.

1925



(1886—1961)

НОЧЬ НА БАРРИКАДЕ

(Из воспоминаний старого большевика)

Декабрь тысяча девятьсот пятого года. Московский пролетариат на баррикадах. Знамя восстания развевается над древним городом. С револьверами разных систем, с самодельными бомбами в руках рабочие дружины день за днем героически сражаются с озверевшими казаками и драгунами, с жандармами, полицией, артиллерией. Ручные бомбы против пушек! Револьверы против пулеметов и винтовок!.. Великая мечта о свободе и счастье зажигает сердца воинов революции богатырской отвагой: они стоят насмерть.

Подвиг московских пролетариев записан в истории огнем и кровью и носит название: высший этап первой русской революции...

Незабываемые дни!..

Трудно восстановить теперь в деталях то, что видел и слышал сорок восемь лет назад, но один эпизод навсегда врезался в мою память, как зарубка на ложе ружья,— ночь на баррикаде.

Поздняя зимняя ночь. Белая, занесенная снегами Москва казалась окостеневшей. Лютый декабрьский мороз захватывал дыхание, сковывал все живое. Холодные звез-

ды сверкали в небе, как мириады рассеянных льдинок. Жуткая, настороженная тишина висела в воздухе. Лишь изредка, ухая, лопались деревья, телеграфные столбы, углы домов.

Невероятный, фантастический вид имели окраинные улицы города, ощетинившиеся баррикадами: они походили на бурное море, внезапно застывшее с поднятыми вверх гребнями волн.

Над Москвой зловеще багровело небо: горели полицейские будки. За баррикадами в разных концах весело трещали и сыпали золотыми искрами костры. Время от времени раздавались одиночные пистолетные выстрелы: то перекликались наши дружинники. А вот где-то прокатился трескучий залп из винтовок, и снова стало тихо, напряженно, как перед грозой.

За баррикадами можно было услышать странные для старой «престольной» Москвы короткие окрики:

— Стой! Кто идет?!

— Свои!

— Пароль?

— Свобода или смерть!

— Победа! Проходи...

Наша баррикада пересекала Оружейный переулок у самого выхода на Садово-Каретную улицу, которая находилась еще в руках драгун и вооруженной до зубов полиции. Это было грандиозное сооружение, похожее на кучу обломков после землетрясения. Здесь было все, что мы могли найти во дворах нашего квартала: толстые бревна, доски, пустые бочки, дрова, железные ворота, тумбы. Для большей прочности и непроницаемости баррикада была засыпана снегом, а у ее подножья был положен спиленный нами телеграфный столб с множеством проводов, которые тянулись над самой мостовой далеко вперед за баррикаду. Мы полагали, что проволочная сеть, замаскированная снегом, окажется непроходимым препятствием для конных драгун и казаков.

Вместе с нами баррикаду строили все жители ближайшего квартала: мужчины, женщины, старики, дети. Даже дворники и горничные, вопреки воле своих хозяев, принимали участие. Конечно, больше всех отличались мальчишки, которые в первый же день восстания перебили камнями все фонари по нашему переулку, толпой с криками «ура» напали на городового, исколотили его и отобрали шашку.

В эту ночь за баррикадой нас было четверо: длиннорукий и высокий, как жердь, дружинник Федя — пекарь из булочной Филиппова; приземистый, широкоплечий бородач — рабочий с текстильной фабрики, которого мы почтительно называли «дядя Максим» или просто «дядя»; молодой, неизменно веселый голубоглазый наборщик Сережа, готовый смеяться по всякому поводу и даже без повода, просто от полноты жизни, и, наконец, я — агитатор Московского комитета, тоже безусый парень, но полный уверенности в победе над врагом если не сегодня, так завтра или послезавтра.

Наше вооружение нельзя сказать чтобы было очень грозным. Дядя Максим имел охотничью двустволку, заряженную самодельными пулями, у Феди был старый «бульдог» и железная пика, на боку у Сережи висела шашка, отобранная у полицейского, а я держал в кармане пальто блестящий никелированный револьвер «смит-и-вессон». К моей великой досаде, он имел скверную привычку после двух выстрелов делать осечку. Кроме того, за поясом я имел маленький, но острый как бритва кинжал, привезенный мною с Кавказа (предмет зависти юного Сережи).

Одеты мы были несколько пестро: я ходил в валенках, в осеннем пальто и огромной черной папахе, которая накрывала голову до самых плеч; Федя был в коротком, изрядно потрепанном деревенском полушубке и тоже в папахе; дядя Максим — в зимнем пальто и обыкновенной шапке-ушанке, а наборщик был одет совсем легко, не по сезону.

За баррикадой горел большой костер из поленьев и ящиков. Но холод был такой лютый, что мы то и дело «плясали» вокруг огня, боролись на снегу, хлопали друг друга рукавицами, чтобы согреться и разогнать стынущую кровь. Наши папахи и лица заиндевели и покрылись сосульками, так что каждый из нас походил на Деда Мороза. Но мы смеялись и шутили.

Уже который день полыхало восстание. Волна революции шла на подъем. Широким кольцом сотни баррикад охватывали центр города, занятый силами правительства. В лагере врагов замечалась растерянность. Часть пехоты отказалась идти «на усмирение» народа. Драгун и казаков, оставшихся верными царю, спаивали водкой «для храбрости». Артиллерия тоже работала плохо. И нам было весело. Носились слухи о восстании в Петербурге, о том, что на помощь Москве идут боевые дружины рабочих из ближайших городов, что по всей стране начались

бои народа с войсками и полицией, что армия колеблется и переходит на сторону революции. Мы верили в победу и вслух мечтали о прекрасном будущем, о том, что будет завтра...

Утомившись «дракой» и несколько согревшись, мы садились в кружок у костра и продолжали давно начатый разговор:

— Как думаешь, дядя Максим, скоро подойдут наши? — сияя голубыми глазами, спрашивал Сережа.

— Может, и скоро, а может, и нет,— спокойно отвечал Максим, подбросив в костер полено,— все от чугунки зависит.

Сережу тотчас поддержал Федя-пекарь:

— Так ведь железнодорожники-то за нас, подвезут, чать...

— Должны подвезть, если войска не помешают,— охлаждал нас дядя Максим.

— А солдаты, слышь, тоже не надежны,— сказал Сережа, весело рассмеявшись.— Куда ни кинь, все клин! Ей-богу, наша возьмет!..

Я вмешался в разговор и, увлекшись, стал рисовать перед дружинниками чудесные картины будущего. Слова «свобода» и «счастье» повторялись мною так часто, с такой радостью и убеждением, что на лицах слушателей появились теплые улыбки, глаза засияли надеждой, мечтой о новой, прекрасной жизни. Я сам верил, что на другой же день после нашей победы жизнь сразу станет иной — многоцветной и радостной, без нужды и горя.

— А что такое «свобода», дяденька? — неожиданно спросил подросток, появившись за моей спиной.

Отец подростка, Максим, сердито оборвал его:

— Опять прискакал! Сколько раз тебе говорить? Сиди дома, Мишка, убить могут!..

Мишка резонно, как взрослый, возразил:

— Вас-то не убили. Чай, я не маленький, я тоже воевать могу.

Мы рассмеялись, а Мишка обиделся:

— Да что вы ржете, дяденьки? А кто здесь фонари побил? Кто городовика обезоружил? Я и моя дружина!..

— Видите, какой атаман — Стенька Разин! — не без гордости отозвался отец, пряча в бороду улыбку.

— Оставьте его, дядя Максим, пусть смотрит, как делают революцию,— вступился за мальчика Федя-пекарь.

— Да теперь и безопасно,— поддержал Сережа,— казаки сюда и носа не сунут ночью.

Отец сдался:

— Ладно уж, чего там. Пришел, так оставайся на часок, померзни с нами.

Мишка обрадовался и немедленно осадил нас вопросами:

— А как это будет — свобода?..

— Известно как,— ответил Сережа,— долой царя — и кончено.

— А потом что?

— Потом свободная республика, наша, значит, власть.

— А дальше? — не отставал Мишка.

— Что дальше?..

— Я говорю, что дальше пойдет, за республикой?

— Ну, за республикой социализм сделаем, братство и равенство,— с некоторым затруднением разъяснил дружинник.

— А еще дальше?

— А еще дальше — дурак! — расхохотался наборщик, не зная, как ответить въедливому парнишке.

— При социализме хорошо будет,— заговорил Федя-пекарь,— всем буржуям дадим по шеям, помещикам — по шеям, купцам — тоже в загривок. Одни пролетарии всех стран останутся, и всего будет вволю.

— Ух ты! — захлебнулся от удивления Мишка.— И настоящие железные коньки по дешевке можно будет купить?

— А очень даже просто: приходишь, значит, в магазин разных товаров — и бери, что хочешь. Здравствуйте, мол, дядя заведующий! А ну-ка, дайте мне коньки серебряные или, к примеру, книжку про Илью Муромца, да с картинками. А он тебе и скажет, заведующий-то: «Пожалуйста, Миша, бери, что нужно, только учись хорошенько».

Мишка, видимо, поверил от всего сердца.

— Учиться — это я буду... вот только пальтишко бы мне на вате нужно да валенки по ногам, а то вишь какие — утонуть можно.

Коротенький Мишка в драной, приплюснутой шапчонке да в отцовских валенках и в самом деле походил на кота в сапогах.

— Ну, хватит болтать,— оборвал беседу Максим,— поди вон провода прикрути к колышкам, вишь зря концы торчат.

— Сей минутой! — живо отозвался Мишка, направляясь в проход за баррикаду.— Я все могу. Вы не глядите, что я такой, вроде как маленький, в отца пошел. Вон он какой коротыга!

— Я те дам коротыга,— добродушно отозвался отец,— иди живей!

— Бегу!..

Мальчик уже был за баррикадой.

Теплым взглядом проводив сына, Максим, как бы извиняясь, сказал:

— Один он у меня, сын-то, жалко, ежели что... Смышленый парень растет. Я, говорит, атаман дружины и сам буду казаков стрелять. Коли победим, в новую жизнь войдет парнишка.

— А для чего так далеко путаем проволоку? — крикнул нам Мишка из-за баррикады.

Отец пояснил:

— Да вот как налетят на нас конные казаки или, скажем, драгуны, так и запутаются в этой проволоке, а мы их отсюда — чик! чик!..

Мальчик радостно рассмеялся:

— Так им и надо, злыдням!

В эту минуту из-за угла чистой от баррикад улицы показался большой пеший патруль: не то казаки, не то драгуны. Они шли, настороженно озираясь, с винтовками наготове.

— Ложись! — резко скомандовал дядя Максим.

Мы быстро исполнили команду, заняв свои места за баррикадой.

— А зачем ложиться? — удивленно спросил мальчик, не замечая врагов.

— Падай, тебе говорят! Падай! — с тревогой в голосе прохрипел отец.

Мальчик упал...

Вероятно, услышав окрик Максима, патруль вскинул винтовку и дал залп по нашей баррикаде.

В морозной тишине залп грохнул, как удар грома. Мы ответили частым разрозненным огнем. Мой «смит-и-вессон» дважды сделал осечку, пока я выпустил все пять пуль. Дядя Максим разрядил свою двустволку.

Патруль бегом скрылся за поворотом.

Мы были очень довольны случайной стычкой, закончившейся позорным бегством врагов.

Сережка хохотал и улюлюкал вслед патрулю.

Дядя Максим тотчас выскочил за баррикаду, крича на ходу:

— Вставай, Мишка, вставай! Беги скорее домой!..

Но мальчик не двигался. Подвернув под себя руки, он лежал неподвижно, зарывшись лицом в снег.

Отец поспешно поднял его на руки, с трудом пролез в проход и положил у костра. Мы бросились к нему.

Я в ужасе смотрел на побелевшее лицо Мишки, запорошенное снегом. Густая темная струйка крови медленно сползала по его щеке. Вражеская пуля пробила голову.

Отец простонал:

— Ах, Мишка, я ж говорил тебе: сиди дома, а ты... эх, ты-ы-ы...

Он вдруг встрепенулся, мгновенно зарядил свое ружье и раз за разом выпустил две пули в том направлении, куда скрылся патруль.

— Будьте вы прокляты, иуды!..

Потом он перекинул двустволку за спину, осторожно поднял мальчика на руки и в сопровождении Феди-пекаря медленно пошел прочь. Отойдя несколько шагов, он оглянулся и срывающимся голосом сказал:

— Вы уж обождите, товарищи... я скоро вернусь... Отнести домой надо... сынишку-то... Эх, беда моя, горюшко...

Максим двинулся дальше. Голова мальчика бессильно качалась на ходу. Упала шапка. Отец на секунду остановился, поднял шапку и снова надел ее на маленькую растрепанную голову...

Через минуту они скрылись за второй баррикадой.

Полные бессильной ярости, мы с наборщиком Сережей остались дежурить у баррикады.

Костер догорал.

В разных концах города продолжало полыхать зарево пожарищ. Гулкими перекатами раздавались одиночные выстрелы боевых дружин. Трещал мороз. Москва насторожилась, как лев, готовый к прыжку. Вздыбленная баррикадами улица таила угрозу и месть...

Хотелось кричать: «Смерть тиранам!..»

1953

Александр Воронский

(1884—1943)

ПЕРЧАТКИ

Это было двенадцать лет тому назад, когда по России прокатился весенний гром революции.

На явке сказали, что через день ко мне зайдет товарищ «на ночевку». Секретарь предупредил меня, что товарищ — женщина, приезжая. Зная, что в моем распоряжении целый флигель, он попросил приготовить комнату и постель.

На другой день от приятеля я «под строжайшим секретом» узнал, что моя будущая однодневная квартирантка приехала с небольшим боевым отрядом для организации побега из тюрьмы; по характеру поручения она была обречена на смерть.

В назначенное время незнакомка явилась, сказала пароль; очень обрадовалась, когда узнала, что флигель я занимаю один.

Помню ее голубые глаза, каштановые волосы. Роста она была среднего, и по виду ей было не больше двадцати двух — двадцати трех лет. Одета она была не по-зимнему и порядком, кажется, озябла. Вскоре готов был самовар, который я сам ставил.

За чаем мы разговаривали мало; она была занята своим, а я считал неудобным надоедать вопросами. Потом она

ушла в приготовленную комнату. Я сходил за дровами и затопил печку.

Незнакомка вышла погреться.

— Товарищ, у вас нет ли ниток и иголки?

Я ответил, что нет, но все это можно купить в ближайшей лавке.

— Если можно, буду очень вам благодарна.

Было поздно, и я заторопился. Лавка была еще открыта, и я купил что нужно.

Получив иголку и нитки, моя гостья вынула из пальто перчатки, примостилась к столу и принялась за починку.

Кое-где в пальцах перчатки были прорваны.

Я молча следил за работой.

Многое я забыл, многое стерлось в памяти... Но эту головку с четким и правильным пробором, склоненную над такой простой, милой, будничной работой, эти заботливые маленькие руки, делающие для себя житейскую мелочь, мелочь уже ей ненужную, я не забыл и никогда не забуду.

Кончив работу, она надела перчатку. Встала, отодвинула руку, осмотрела и, улыбаясь, спросила:

— Не правда ли, это хорошо? Теперь пальцы не будут мерзнуть. Товарищ, я очень благодарна вам: вы спасли мои пальцы.

Я не знал, что делать с собой, что сказать, и отошел к окну.

Стояла звездная зимняя ночь. Было глухо, пустынно и тихо.

Звезды горели, окруженные бездонным мраком неба.

Завтра или немного позднее цепь светил прорвется и одной звездой будет меньше: бездна мрака так велика...

Утром моя гостья ушла. Дня через три, во время побега из тюрьмы, она бросила бомбу и была убита...

1917



(1877—1970)

НА МОСТИКЕ

Маленькая лесная речушка отделяет большой луг помещика от выгона Зиемциетов. Как черная змейка, выползает она из кустарника, окаймляющего выгон, и скользит вдоль леса в ту сторону, где над ольшаником и орешником возвышается обгорелая башня помещичьего дома. Без крыши и без флагштока, она похожа теперь на длинную вытянутую шею, с которой внезапно срубили голову. Уставилась в облака и недоумевает над всем совершившимся.

Через речку перекинут ветхий узкий мостик с полусгнившими перильцами из неободранных ольховых жердей. С горы, вдоль яблоневого сада, медленно спускается старый Зиемциет, переходит через болотистый лужок и останавливается, облокотившись на перила. Навстречу ему глядит черная спокойная вода. В ней, как в зеркале, отражается его приземистая плотная фигура с засунутыми в карманы пиджака руками, с белой, как чесаный лен, бородой и венком спутанных серебряных волос. Давненько старый Зиемциет не гляделся в зеркало! Неужели он в самом деле так сгорбился и постарел? Глаза ввалились, весь лоб в морщинах... Он качает белой, как лунь, головой, и сквозь мрачную сосредоточенность на лице его время

от времени пробивается нечто вроде злорадной, хитрой улыбки.

Со стороны леса, по дороге с кладбища, появляется Карклис — тот самый Карклис, чей хутор расположен в противоположном конце волости, неподалеку от церкви. Это высокий худой старик, лет шестидесяти. Через плечо у него перекинута большая лопата, вся в желтом песке. Он идет большими шагами, волоча ноги, как будто ему вменили в обязанность провести по барскому лугу две глубокие борозды. Карклис то и дело испуганно озирается. Ноги вязнут, и вода с звонким хлюпаньем проступает из-под его сапог и брызжет на голенища. Но старый Зиемциет ничего не видит и не слышит. Да и Карклис замечает Зиемциета только тогда, когда уже и сам ступил на мостик.

— Здравствуй, Зиемциет,— говорит он тихим, глухим голосом.

Старый Зиемциет вздрагивает, поднимает голову,— мгновение они глядят друг на друга, словно не узнавая.

— Здравствуй, Карклис,— наконец спохватывается Зиемциет.— Откуда ты так неожиданно, даже напугал.— И он подмигнул с какой-то странной хитринкой.

Карклис уставился в землю и беззвучно шевелит губами, потом поднимает голову и спрашивает:

— Ты что там высматриваешь? Рыбу?..

Затем опять опускает голову, опять беззвучно шевелит губами; и кажется, что теперь он уже вовсе ничего не слышит и не видит.

Старый Зиемциет улыбнулся и, будто в ответ на какую-то свою, ему одному ведомую мысль, опять хитро подмигнул. Они еле замечают друг друга. У каждого на сердце свое горе, которое опутало и сковало все мысли и чувства, как тонкая паутина.

— Да вот пошел было к кузнецу. На прошлой неделе оставил ему лемех, все еще не готов... Землю под ячмень надо готовить, а плуга нет. Кузнец, бедняга, после зимней порки тоже до сих пор никак в себя прийти не может. Спина мокнет и мокнет, сплошная рана... Какой теперь из него работник... Что, овсы у тебя всходят?

— Что? — Карклис вскинул глаза, но потом опустил и беззвучно зашевелил губами.— На кладбище был... Дождь размыл могилу, да и немудрено — один песок. Старался, старался, и все попусту. Ветер уносит песок, да и только. Надо бы дерном обложить.

— Да, верно, у тебя ведь жена там...

— И жена и сын...

— Ну да, ну да... и жена и сын. Сына расстреляли, а мать... Да, нелегко теперь с сыновьями. Вот и у меня...

— Хотел было к тебе завернуть,— перебил его Карклис,— спросить, не найдется ли немного глины. Отвезти бы возика два на могилу, потом можно было бы по краям дерном обложить, а сверху насадить цветочков... А то стыдно людей.

— Глины у меня сколько хочешь. За клетью... то есть там, где у меня раньше клеть стояла. Новую канаву вырыли, можно брать сколько понадобится; жирная, как масло. Приезжай только.

— С ездой-то у меня не ахти как...— Карклис опять бросил налево и направо робкий взгляд.— Молодого коня на прошлой неделе совсем заездили с этими казенными подрядами. Пришлось продать скупщику за пятнадцать рублей, а старый походил неподкованный и до того охромел, что из конюшни не выведешь.

— Плохи твои дела, плохи... Так как же с глиной?.. Ну, а посеять-то ты как, посеял?

— Мучились мы с лошадкой на пару, мучились, а все же порядочный клин остался незасеянным — семян не хватило; весь овес пришлось сдать драгунам.

— Плохи твои дела, плохи... А за глиной ты приходи. У меня хоть всего одна телега теперь, остальные сожгли... но до кладбища не так уж далеко. Отвезем! Коли понадобится, и десять возов отвезем!

Замолкли. Старый Зиемциет глядит через перила на воду. Карклис уставился себе под ноги. У каждого своя дума, свое горе. От беспомощной улыбки старого Зиемциета и угрюмо-пугливого взора Карклиса иного бы мороз по коже подрал. Чего только они не перевидали и не выстрадали за прошлую зиму! На десять лет она их состарила.

— Да, нелегко с сыновьями,— как бы что-то вдруг вспомнив, начал Зиемциет.— Они у нас такими стали, что иной раз смотришь на своего, смотришь и начинаешь сомневаться — да твой ли это сын? Ну, чего было моему не жить спокойно?.. Нет! Вот надо было гонять по собраниям, произносить речи... И что же? Дом спалили, нам, старикам, голову теперь некуда приклонить, а сам, словно Каин, скитается где-то по чужим краям.

Он взглянул на пригорок, где за редкими обгорелыми яблонями торчали поверх кучи щебня две печные трубы. Рядом с ними виднелись два-три уродливых шалашика, наскоро сложенных из сучьев и еловых веток.

— Тебе-то что... Нечего и печалиться...— шепчет Карклис. Губы его болезненно сморщились, глаза сощурились, но из-под высохших век давно уже слезы перестали литься. Лишь по его беззвучной и бессвязной речи можно почувствовать, как горит, кровоточит и рвется на части его сердце.— Живой! А придет время, так и вернется... А мой...— Он опять робко озирается и говорит еще тише:— Мой уж не подымется. Такой сын, такой человек, такой работник! Уж и невеста была на примете, думали летом сыграть свадьбу. Осталась и она...

Как слишком туго натянутая струна, голос его вдруг оборвался. Обеими руками опирается он на перила мостика и сдвигает трясущиеся колени. Веки дрожат. Ему хотелось бы заплакать, но слез нет, только сердце сжимается от нестерпимой, безысходной боли. А когда опять заговорил, голос его как будто потерял то звучание, которое обычно присуще человеческой речи. В нем слышны лишь ненависть, боль и отчаяние...

— Сожрали!.. Целый день держали связанным на санях, на морозе, под снегом и дождем. Как собаку, бросили в яму и зарыли. Мать больная была, при смерти, а мне... мне велели стоять и смотреть, как его расстреливают. А потом — как собаку, в яму, вместе с другими людьми... И как пришлось упрашивать их, чтобы разрешили выкопать и похоронить вместе с матерью... Все думал... Почему я такой старый и слабый, почему у меня руки такие бессильные, повисли, словно плети, почему я должен вот так стоять и смотреть? Лучше бы уж и мне вместе с сыном, в ту же яму... Господи боже мой!..

— Боже?! — глаза старого Зиемциета, давнишнего церковного старосты, зажглись недобрым огнем. Но он тут же сдерживается и оставляет про себя то, что хотел было уже сказать. Угрюмо-хитрая улыбка опять скривила губы. Он придвинулся поближе.— Ночью за ним четыре раза приходили. Спрашивают: где? Не знаю! Разве мне, старому, за ними угнаться?.. А сам нет-нет да и взгляну на сарайчик, что на опушке леса... Зубы сжал, молчу... Хотя бы насмерть забили, и то не сказал бы. Когда подожгли хутор, уселся я в сугроб, стиснул голову обеими руками, гляжу, а у самого сердце так и ликует... Поверишь ли, сердце у меня в ту минуту от радости ликовало: он-то ведь был уже в безопасности! Подходит ко мне какой-то их главный: «Ну что, старик, хорошо?» — «Спасибо, барин, отвечаю, очень хорошо...» Тот плюнул и отошел.

— Даже цветочков посадить нельзя! — Карклис опять о своем.— Один песок. Разве у барина не нашлось бы хорошей земли под новое кладбище? Да куда там, для крестьян хорош и старый карьер... Ветер уносит песок, крест проваливается...

— Только что письмо прислал,— Зиемциет продолжает,— из Швейцарии. Пишет, какая там жизнь и что за люди...

— Прошлой ночью кто-то украсил могилу, а кто — и не знаю. И цветы и венки с красными лентами — целая гора. Наверно, друзья, у него ведь их много было.

И опять каждый из них погрузился в свои мысли. Старый Зиемциет улыбается в белую, как чесаный лен, бороду, а Карклис мигает иссохшими веками и время от времени боязливо озирается.

— Да, так-то вот!.. До свиданья! — заговорил опять Зиемциет и протянул Карклису руку.— Надо под ячмень землю готовить, да вот плуга нет. За глиной заходи, отвезем хоть десять возов.

— Ладно,— прошептал Карклис и посмотрел вслед Зиемциету.

Ему казалось, что надо еще что-то рассказать, о чем-то еще спросить, облегчить свое сердце. Но в голове была пустота. Страдания и бессонные ночи обволокли мысли словно туманом. А сердце в груди пылает и будет пылать до тех самых пор, пока не рассыплется, как опаленный у костра лист.

Старый Зиемциет бредет по сырому барскому лугу и все улыбается и улыбается своей угрюмо-хитрой улыбкой.

«Не поймали...— Теперь он мог бы громко рассмеяться.— Не поймали!..» Мысль его оборвалась, он поднял голову и удивленно посмотрел на небо.

С одиноко вздымавшейся башни стая воронов, как черная туча, поднялась и поплыла над лесом. Зловещие крики, издаваемые несколькими тысячами клювов, слились в сплошной каркающий гул, который повис в сыром, насыщенном весенними испарениями воздухе.

1906

Эдуард Вильде

(1865—1933)

ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА

Это могла быть только поразительная, невероятная ошибка, которая вскоре же выяснится! Долго ли утаишь в мешке такую несправедливость? Напасть на мирную деревушку, забрать массу людей и увести их под конвоем — помилуй бог! Если это не кровавое заблуждение, которое, несомненно, должно разъясниться, значит, не стало правды на земле. И оно обнаружится — если не раньше, то перед военным судом. Нет, даже раньше — через полчаса! Да, самое позднее через полчаса! Ведь нас ведут в сторону села, к имению? Ну, разумеется! А господин комиссар, или младший помощник уездного начальника, или, наконец, сам хозяин имения — должны же они знать, бунтовщики мы или нет! Причинили ли мы зло кому-нибудь из должностных лиц, или помещку, или служителю церкви? Разве мы осквернили царский портрет или судебный герб? Ничего подобного... А если, как пишут газеты, в других местах — в Латвии, подняли оружие против правительства или в окрестностях Таллина поджигали и грабили имения — какое нам до этого дело! В соседних волостях, говорят, произошли события, которые начальству не по душе: там распустили старых волостных служащих и голосованием выбрали новых, закрыли насильно монопольку и несколько пивных, царя сняли со стены волостного управления, постановили за общественный счет приобрести оружие и не помню еще что... Но у нас ведь не было ничего подобного! У нас

и пальцем не пошевелили... Нет, это — жестокое заблуждение, которое не может не выясниться, не может остаться безнаказанным! Иначе это — безобразное насилие, прямо разбой, а ведь мы живем не в Китае, не в Турции!

В то время как поток этих мыслей, бушуя и бурля, проносится в его мозгу, он поднимает правую руку, как бы успокаивая женщин и детей, которые с плачем и ревом следуют за шествием, и громко кричит, что все это только недоразумение, которое вот-вот разъяснится. Левой рукой он проводит по большой кроваво-красной шишке на лбу, которую посадил ему прикладом винтовки рассвирепевший драгун, когда Яан из Кадака не захотел понять, что он его, драгуна, арестант и должен покорно следовать вместе со всеми. И когда Яан, теряя сознание, пошатнувшись, склонился на плечо жены, солдаты взломали шкаф и забрали его деньги, после чего для приведения в сознание угостили еще одним ударом, вызвавшим вторую опухоль, на макушке.

Все, что мы сделали, когда получили свободу, это занимались разглагольствованиями,— плетет потрясенный Яан нить своих мыслей.— Раз царь-батюшка милостивым указом даровал нам право собраний и свободу слова, то вот люди и отверзли уста, и каждый заговорил так, как считал правильным, хотя мне лично многое было против шерсти... Постойте, уж не речи ли?..

Он внезапно замедляет шаг, так что идущий сзади натыкается на него.

Но в таком случае только говоруны, державшие речи, должны быть в числе конвоируемых, а отнюдь не безмолвные слушатели. И подавно уже не те слушатели, которые не одобряли этих речей. Как это, например, я попал в число взятых под стражу? Почему у *меня* выросли шишки, почему забрали *мои* деньги? Как хозяин Кадака попал в компанию бунтовщиков?

Одной рукой он прикрывает опухоль на лбу, другой — на черепе; ему все кажется, что его голову сунули в трескучее пламя, что в мозгу шуруют раскаленными щипцами.

Итак, начнем с меня. Меня, хозяина Кадака... Речей я не говорил уже хотя бы потому, что перед народом и говорить-то не умею. На собраниях я даже не пискнул. Мои взгляды всем известны. Перед толпой я их не высказывал, зато отдельным лицам. Я поборник закона. Я — насквозь человек закона. Я всегда стоял за просьбы, за ходатайства, никогда не был сторонником требований или захватов, тем более путем насилия. Я стою за верноподданнические прошения, я осуждаю всякое насилие, я боюсь и почитаю прави-

тельство и всякое начальство. Я был за то, чтобы просили по *возможности*, чтоб и в просьбе знали разумные *границы*, я остерегал и увещевал неугомонных, чтобы правительству дали время: нельзя же все заполучить сразу, нельзя сыпать свободу и права вслепую из рукава... Люди знают, что я противник слишком широкой свободы, поскольку она потворствует всяким выходкам и озорству, так что в конце концов не знаешь, кто хозяин, и кто слуга, и кто должен подчиняться, если всем хочется повелевать и управлять...

Нет, это — ошибка, это — несчастная ошибка, она обнаружится через полчаса. Не позже чем через полчаса. К Яану из Кадака нельзя придраться. Яана они не задержат. Русские солдаты — чужие, они не знают здешних, не знают в деревне ни одной души, с ними и не поговоришь,— никто из них не понимает нашего языка, да и они под хмельком все...

И опять он машет рукой — на этот раз жене и маленькому сыну, которые шагают по глубокому снегу рядом с драгунскими лошадьми,— и громким голосом объявляет им, что ошибка скоро разъяснится, пусть только они не беспокоятся и не волнуются. Кадакаского Яана не задержат,— о, *его* ни за что не задержат!

Но вот еще подымаются рядом руки, чтобы успокоить своих близких, и уста на опухших, расцарапанных лицах бормочут о промахе, который вскоре обнаружится, который *должен* обнаружиться. Только волостной писарь, который в своих речах высказывался за самые крайние требования, и лесник, представитель безземельных, ратовавший за применение силы, шагают молча и мрачно, хотя и их жены и дети находятся здесь же в удрученной, следующей за отрядом толпе; молчат и те молодые люди, которые причастны к распространению листовок и воззваний, они смотрят друг на друга невидящими глазами и инстинктивно держатся вместе, причем один из них громко скрежещет зубами, когда драгунские лошади фыркают ему прямо в лицо.

Однако этим, верящим в ошибку, утешителям не дают даже поднимать руки и перекликаться. Политические преступники должны быть немы и глухи, только сердца их могут кричать сколько угодно. Ружейные приклады расточают удары направо и налево, и новые шишки и царапины появляются по соседству с прежними. Здесь кто-то глотает кровь, хлынувшую изо рта и из носа, там другой выплевывает в снег выбитые зубы.

Теперь оклики прекращаются, никто уже не поднимает руки. Даже кадакаский хозяин умолк.

На голове его красуется уже третья шишка, от носа осталась половина.

Недоразумение, видимо, продолжается. Делать нечего.

Но вот опять раздаются крики. Испуганно охают. Воют волком. Останавливаются. Заламывают руки.

Этого еще не хватало!

Мало того что напали на мирную волость, избивали прикладами людей, разграбили их сбережения и их самих превратили в заключенных — теперь еще поджигают их дома!

Над соломенными крышами двух усадеб взвиваются столбы густого дыма, черного, как проклятие ада, и перевитого кроваво-алыми полосками, похожими на языки чертей. Такие именно адские флаги развевались вчера над ближайшими волостями, и тогда кадакаский хозяин в разговоре с соседями промолвил: «Вот и добунтовались! Кто им велел нарушать закон! Теперь смотрите, что получилось!»

Официальные поджигатели, небольшой отряд драгун, все пьяные, галопом догоняют шествие, горланя во все горло, и показывают товарищам на веселый фейерверк.

А крестьяне, уставясь в небо, скрестив руки, ожидают с испугом в глазах, как будто серое покрывало немедленно должно разверзнуться, как будто им должно явиться видение, запрещающее зло и творящее суд и расправу. Но небеса скрывают только ледяной облик неведомого тирана. Мрачно и ядовито восседает он над всеми этими бедствиями, как воплощение злой совести. Только снег под подкашивающимися ногами ослабевших жертв скрипит сочувственно, из мерзлой земли несутся звуки, похожие на материнский стон, да черный ворон жалобным карканьем провожает серую толпу, в которой все до последнего лица ему знакомы.

Они приближаются к селу, но сворачивают направо — по пути, ведущему к имению.

Уж господин барон, наверное, знает, в чем дело, чиновники тоже недалече, как и священник, если его присутствие понадобится.

Правда, он не расположен к крестьянам, этот хозяин имения, и не мягкой он души человек, но не может же он скрывать истину. И подавно он не станет лгать. Для этого положение слишком серьезно.

Убаюкивая себя верой и надеждой, подходят они к имению. Идут молча. Женщины не всхлипывают больше, дети утирают глаза. Захватывающее дух напряжение сжимает им горло.

Во дворе мызы расположился отряд казаков — это личная охрана барона, вытребованная им уже в начале беспорядков. Одутловатые их лица безучастно смотрят на арестантов, которых, несмотря на отсутствие вины и крепкую уверенность, что недоразумение выяснится, с головы до ног пробирает холодная дрожь.

Поборников истины и спасителей, однако, нигде не видно, нет и самого барона. Лишь отдельные дворовые с расширенными зрачками и бледными лицами подсматривают из-за угла. Подойти к «заклейменным» они не смеют.

Шествие проводят между скотным двором и конюшней к молодому саду, отделенному забором от тянущейся за ним равнины. Драгуны соскакивают с коней, молодой офицер, звеня шпорами, направляется к господскому дому, казаки медленно приближаются.

Толпа арестантов и их близких, сдавленная в кучу, остановилась — остановилась внезапно, одним взмахом, как будто жизнь вдруг и одновременно погасла во всех этих телах, как будто в одну и ту же секунду сердца их перестали биться... Мертвый, неподвижный ряд выстроенных трупов... И гробовая тишина — та тишина, что заставляет замолчать и живых...

Гробы!

Пять — шесть — семь гробов!

Гробы из неотесанных досок, наскоро сколоченные большими гвоздями.

И розги и палки, старательно сложенные в штабеля, по два штабеля рядом, неподалеку от этих гробов...

Ни жизнь, ни движение, ни оживляющая кровь не вернулись еще к этой окаменевшей человеческой кучке, и все же из нее вырывается какой-то звук, как бы выжатый из ее общего горла, из ее сросшегося воедино тела,— звук, похожий на хриплый стон затравленного зверя, оказавшегося перед крутизной обрыва, общий крик страха и ненависти, сложившийся из почти беззвучных звуков.

С этого момента начинается сон.

Сон, про который во сне знаешь, что это — только сон.

И который длится, потому что ты не можешь отделаться от его властных чар.

Потому, что пробуждение не приходит.

Это во сне кадакаский хозяин, разглядев достаточно ясно и гробы и розги, говорит про себя: «Недоразумение все растет! Не посадить нас хотят оказывается, а сечь розгами и расстрелять!.. Как заправских мятежников!.. Как поджигателей усадеб, как бунтовщиков!.. Так поступили

с латышами и таллинскими мятежниками... И все это должно произойти здесь — здесь, под сенью имения? Да разве барон об этом ничего не знает? Или полиция?.. Где же военный суд? Не наверху ли, в господском доме?.. Надеюсь, мы услышим все от барона...»

Вдруг его нащупывающий мозг пронизывает одна мысль — она, будто невидимый сноп лучей, передается другим:

«Это — шутка! Это — комедия запугивания! Для острастки бунтарям! Чтобы мы выдали предполагаемых подстрекателей... Комедия — все это сборище, все эти розги да гробы!..»

В парализованной кучке людей просыпается крупица жизни, онемевшие тела понемногу оживают... Только волостной писарь застыл на месте, как соляной столб, и лесник смотрит, не моргая глазом, да юнцы, виновные в распространении летучек, стоят и глядят отсутствующим взором, а один из них, уставившись на гробы и палки, громко скрипит зубами.

Сон продолжается. Недоразумение все растет.

Или это только продолжение шутовской комедии, ее второй акт?

Молодой драгунский офицер появляется снова. С ним пастор в церковном облачении. Затем еще кто-то — в нем узнают худощавую фигуру барона — приближается со стороны господского дома и останавливается, не доходя до места происшествия.

— Сомкнуть ряды!

Офицер тихо отдает фельдфебелю и прапорщику приказ, относящийся, как видно, к некоторым приготовлениям, так как оба подходят к куче розог и палок.

— По приказу генерал-губернатора...

Смотри-ка, молодой драгунский поручик вдруг заговорил по-эстонски!

А когда его пытались расспросить в деревне, он, как любой не знающий языка, отнекивался по-русски! Значит, свой, земляк! Отпрыск нашего господского рода...

— По приказу генерал-губернатора вы присуждены за бунтарство к телесному наказанию. Семеро из вас (он читает имена их по списку — это лесник, волостной писарь, учитель народной школы и те четверо юнцов, которые раздавали летучки) приговорены к расстрелу на месте.

Мертвая тишина.

Может быть, это все еще продолжение комедии?

Нет, нет!

У пастора слишком торжественное лицо, у офицера слишком жесткий взгляд, а барон подходит так явно заинтригованный... Полиции не видно совсем — очевидно, она предоставила приведение приговора в исполнение военным властям. Военщине и помещику.

Нет, это уже не комедия, не игра!

Даже ошибки здесь уже быть не может.

Только один человек все еще не потерял надежды на то, что это ошибка. Не потерял, несмотря на то, что двое людей, которые могли бы разъяснить дело, двое избавителей, стоят тут же и, ни слова не произнося, слушают приговор. Этот единственный верующий — все еще пребывающий во сне хозяин Кадака. С лицом в кровавых шрамах, с окровавленной культяпкой вместо носа он подходит к офицеру и говорит:

— Мы не бунтовщики, уважаемый господин офицер, мы не виновны. Это ошибка, многоуважаемый, все это чистое недоразумение...

Уважаемый притворяется, что не слышит и не видит его.

— Я хозяин Кадака, я не мятежник, я — человек закона. Я клянусь в этом, клянусь именем триединого бога! — И пожилой Яан падает на колени перед молодым офицером.

Все другие тоже, как подкошенные, опускаются на колени перед всесильным, за исключением лесника, волостного писаря и того молодого человека, который скрежетал зубами. И хором они повторяют:

— Мы не бунтовщики, уважаемый господин офицер, мы не виновны.— И еще раз каждый в этом клянется в отдельности.

Рассерженный, со складкой высокомерного отвращения подле рта, пятится от них знатный палач. Но они на коленях ползут за ним, пытаясь, по давно забытому обычаю крепостных рабов, погладить его ляжки. К ним присоединяются, став на колени и моля, женщины и дети:

— Окажи нам милость, многоуважаемый барин, помилуй нас ради Христа.

Несчастный учитель, обливаясь слезами, блестящими струйками текущими по его щекам, именем бога заклинает, чтоб его отдали под военный суд — это, мол, все, что ему надо.

— Военный суд — это я,— грозно перебивает его молодой офицер.

Волостной старшина, впав в отчаяние, целует носки сапог всесильного и, стуча зубами, умоляет, чтоб ему, седовласому старику, заменили розги тюрьмой.

Но «военный судья» отдергивает свой лакированный сапог и презрительно отталкивает просителя ногой.

Самый юный из осужденных на смерть молодых людей просит, чтобы его сослали в отдаленный уголок Сибири: он ведь слишком молод, чтобы умирать, пусть благосклонно примут во внимание его юный возраст.

Облеченный властью над жизнью и смертью офицер держит его саблей на почтительном расстоянии.

Кадакаский Яан умоляет лишь о допросе, самом коротеньком допросе тут же, на месте — пусть он, милостивец, допросит Яана лично. Недоразумение, это несчастное недоразумение тогда сразу же разрешится, в частности касательно его, хозяина Кадака. Никогда он не давал воли мятежным мыслям в уме своем, никогда не обронил ни одного мятежного слова, он не знает за собой не только подобных поступков, но даже и намерений. Всегда он уважал царя и законы, подчинялся всякому начальству и повиновался его приказаниям. Подтвердить это может любой из их общины, даже клятвенно. Он, хозяин Кадака, верноподданный и благонадежный приверженец закона...

И валяющаяся в снегу, ползающая на коленях толпа, которая только что просила то военного суда, то тюрьмы взамен телесного наказания, теперь вместе с кадакаским хозяином слезно умоляет о разборе дела, о коротком допросе, который высокочтимый и милостивый господин офицер, многими с отчаяния именуемый генералом, пусть устроит им тут же.

— Молчать! Мне достаточно показаний вашего милостивого барона и полиции!

Наивные люди в толпе настораживают уши. Наивные и неосведомленные, те, что не в курсе отдаленных событий и не слышали еще, какую роль играют бароны в «подавлении местных беспорядков», или не хотят, не смеют этому верить. Прислушивается и хозяин Кадака... Значит, тот человек, от которого ждали выяснения ошибки, защиты, спасения,— этот самый человек признал их мятежниками, толкнул их под розги, под приклады, под пули! Толкнул бессовестно, будучи заведомо неправ! А стоит он перед ними, как муж праведный,— спокойно и гордо, с сознанием человека, показания которого делают лишним судебный допрос, показаний которого достаточно, чтобы жизнь семи человек угасла *навсегда*, а жизнь сотни *сошла на нет!* Он стоит перед ними с видом человека, совершившего хорошее и полезное дело!..

Резким движением кадакаский Яан поднимается на пра-

вую ногу, левой он еще стоит на колене. Затем он выпрямляет и эту и, пошатываясь, направляется прямо к барону. За ним наперегонки, ослепленные, волнующиеся, ползут такие же наивные, как он.

Видя, чего они от него хотят, этот муж праведный придает своему лицу выражение великодушия и идет толпе навстречу. Он ничуть не горд, он их выслушает.

— Да, мои милые,— начинает он,— кашу, которую вы заварили, вам же придется расхлебывать. Нельзя принимать участие в бунте и оставаться безнаказанными...

— Господин барон,— возражает кадакаский хозяин,— разве мы трогали вас или ваше имущество?

— Уж вы бы постарались, не будь здесь этих,— и большим пальцем он показывает через плечо на казаков.

— Нет, этого бы мы не сделали, никому и в ум не приходило ничего подобного...

— У вас были намерения еще похуже,— усмехается великодушничающий барон миролюбиво.— Разве на своем митинге вы не требовали всерьез, чтобы земская власть и управление государством перешли в руки народа, то есть крестьян, рабочих и прочей шантрапы?

— Там говорилось об общем избирательном праве, господин барон.

— И разве вы не хотели лишить помещиков их старых законных преимуществ, а священнослужителей — их церковных земель?

— О, там говорили о равных правах для всех, насколько я понимаю, и об упразднении преимуществ.

— Разве этого недостаточно? Разве это не мятеж? К тому же вы собирались провести это насильно, в крайнем случае...

— Я лично стоял за прошение, за верноподданническое прошение,— плача, вставляет учитель.

— Разве питать мятежные вожделения — это не то же, что и быть мятежником? Перестань морочить голову, не будь буквоедом, дорогой мой!.. Своими прошениями вы и так надоели правительству. Три месяца назад вы послали в Петербург длиннейшее прошение, преисполненное несправедливых жалоб на помещика и дворянскую управу, составителями же этого послания были волостной писарь и ты!

— Но это было сделано по предложению господина министра и не только нами, но и большинством волостей.

— Сделать это могли только те волости, где действительно было на что жаловаться,— голодающие *русские* крестьяне, к примеру. Но вы, помилуй бог,— что у вас за беда — желудки у вас небось сыты?

Великодушного барина, который удостоил крестьян диспута, никто не осмеливается огорчать пререканиями по этому вопросу. Неумно зря раздражать человека, в распоряжении которого воинская часть с патронами и палками... Лучше ограничиться самозащитой.

— Насилия, господин барон, насилия никто из нас не хотел применить,— берет слово волостной старшина, дрожа всем телом и прижимая к груди накрест сложенные руки.

— Вот как? Но ораторам, которые призывали вас применить насилие,— этому городскому подстрекателю и нашему леснику и писарю — им вы аплодировали, горячо одобряя их, не так ли?

— Нет, этого мы не делали! — раздаются возгласы из толпы.

— Но в душе вы соглашались с ними.

— Нет, нет!

— Как же так? Почему же никто не возражал им?

— Не каждый умеет говорить перед собранием, господин барон!

— Ага, это только со мной вы умеете спорить!.. Однако каждый из вас сумел бы прикрикнуть на оратора: «Заткни глотку!» — не так ли?

— Но нам даровали свободу слова, господин барон.

— Глупости! Свобода слова не для подстрекателей и не для скандалистов, а для уважающих порядок и исполняющих приказания... А вы не выставили этих проповедников грабежа, не упрятали их в мешок, не натравили на них собак, не побили их дубинами, этих городских бродяг,— эх вы, бедные невинные!

— Мы против всякого насилия, милостивец!

— Насилия? Уничтожать бунтарей — это означает не насильничать, а защищать порядок. Терпеть же мятежника и жалеть его — означает презирать порядок, презирающих же порядок называют мятежниками... Вот вам и подоплека вашего судебного приговора, извольте!.. Но у вас рыльце еще больше в пуху... Эти мальчишки там, что подсовывали вам революционные летучки и книжки,— разве вы их выдали полиции и поколотили как следует? Ничуть,— пожалуй, даже и не подумали. Наоборот — вы принимали от них воззвания, читали их, терпели в своей среде их распространителей, этих висельников, точно они — порядочные люди. А на Тартуский конгресс, где были приняты эти огненно-красные резолюции, вы и туда отправили своих делегатов — волостного писаря и лесника...

— Мы не проводили в жизнь этих резолюций, господин барон.

— За это вам и присудили такое мягкое наказание: свинец — только зачинщикам, остальным красные штаны, как и подобает мятежникам... Да, милые люди, у вас достаточно оснований благодарить вашего помещика за это... за это снисхождение...

Грязной пощечиной ударяет в лицо этот цинизм; содрогаясь, крестьяне отступают и молчат. Один кадакаский хозяин не унимается. Находясь в состоянии длительного сна, он поглупел. Слышал-то все, но понять — не понял. Яан все ближе подходит к барону, поднимает к нему свое обезображенное, с кровавой культяпкой вместо носа, страшное лицо, смотрит ему прямо в глаза и говорит:

— Сударь, я сторонник порядка, я исполнитель закона. Если вы накажете меня, вы накажете *человека закона!*

Помещик спокойно смотрит ему в лицо и медленно произносит:

— Надеюсь, что наказание сделает из тебя еще более ревностного поборника закона... Между прочим, почему ты, собственно, считаешь себя таким выдающимся человеком закона? Сделал ли ты что-нибудь, чего другие не делали, или не сделал того, что делали другие?

Кадакаскому хозяину нечего возразить. Агитаторов он не перекричал, не побил их, не связал раздатчиков прокламаций и не повел их в полицию, был заодно с теми, кто подписал посланную в министерство докладную записку относительно местных аграрных условий.

— Ну, видишь? Немножко больше законности не помешало бы тебе, как ты думаешь? — спрашивает барон.

И он собирается повернуться к нему спиной. Но крестьянин подставляет ему ногу, заставляя его еще дольше лицезреть кровавую гримасу своего лица.

— Господин барон, я уже достаточно тяжело наказан: меня искалечили прикладами, мои деньги расхищены, мой дом сожжен.

— Видишь ли, дорогой мой, это, так сказать, неприятные привходящие явления карательных мер, с которыми поневоле надо мириться...

— Господин барон, я слабый и больной человек. Порка превратила бы меня в калеку на всю жизнь. Она может привести даже к смерти. А я отец четырех малышей... Барин, я здесь, на коленях перед тобой, умоляю тебя во имя моих невинных детей и бедной жены: избавь меня от на-

казания. Если ты, барин, человек и есть у тебя сердце в груди, ты снимаешь с меня кару!

И горячим страстным хором отовсюду из гущи стоящей на коленях толпы тучей подымается мольба:

— Если ты человек, барин, если у тебя сердце в груди, избавь нас от наказания!

Родня осужденных — молодые жены с блуждающими взглядами, старики отцы и старухи матери с трясущимися головами, братья и сестры с застывшими слезами на бескровных лицах — все они теснятся вокруг человека, благодушествующего в дорогой шубе, и с их искривленных уст, как молитва всевышнему, срывается:

— Если ты человек, барин, если у тебя сердце в груди, ты подаришь им жизнь!..

Но когда они в своем великом душевном напряжении подымают глаза, ожидая из уст его человеколюбивого слова, ими овладевает невыразимое отвращение: человек, стоящий перед ними, посмеивается. Тихо, чуть слышно. Он водит глазами по угнетенной, повергнутой в прах толпе и — посмеивается... Мимолетный оскал крепких, готовых укусить зубов... То, что глядит на них сверху,— это уже не человеческое лицо, это — лицо зверя... Лицо отвратительного хищного зверя... Лицо классового врага-хищника, которого ничем не тронешь, который ничего не прощает.

Им нечего больше ждать от него, и они обращают теперь свои взоры к тому, кто стал посредником между богом и человеком, между человеком и хищником в образе человеческом,— с последней надеждой, стараясь использовать все средства для спасения, хватаясь за соломинку.

Но святой посредник, этот страж на границе добра и зла, этот апостол милосердия и любви,— он надевает маску неприступного достоинства, и, в то время как глаза его заискивающе обращены к сильным мира сего, он, ловя их одобрение, декламирует с ледяным пафосом:

— Не на службе у вашей плоти я тут, а на службе у ваших душ. Над вашими грешными телами свой приговор произнесет мирской суд, моя же обязанность позаботиться о ваших бедных заблудших душах.

А мирские власти, представители этого земного правосудия,— помещик и солдат — поддакивают ему одобрительно, исполненные взаимного понимания, и земное правосудие начинает функционировать...

Из уст хозяина Кадака раздается подавленный крик. Крик слепого, который неожиданно прозрел.

Он проснулся. Сновидение кончилось.

Неверующий стал верить...

В сумерках его туповатого, убаюканного сном мозга начинает светать, начинает бродить крепко и могуче:

«Не мне одному и не тебе — не Юри и не Яану только — это уготовано *нам всем!*.. Это уготовано для тех, кто поднялся против зла, для тех, кто хотел это сделать, для тех, кто когда-нибудь сможет это сделать... Это уготовано для всех, для массы, для масс... Жало и ярмо — им суждено *остаться*. Кто посягает на них, того растерзает зверь. Хищный зверь, который никого не милует и ничего не прощает, который не знает ни милосердия, ни жалости...

Эти семеро здесь — они раньше меня разглядели хищника и боролись против него. Я же был глуп и ослеплен, я жил как бы во сне. Так как другие, мне подобные, тоже спали, хищник вышел победителем, и теперь он терзает пробудившихся от сна, а спящего хочет припугнуть кровавой угрозой, вселяя в него вечный страх...»

Хозяин Кадака плюется кровью и желчью горькой-прегорькой, отбрасывает комок снега, которым он охлаждал свою рану, и его руки сжимаются в кулаки.

«Я пресмыкался и скулил перед ними, как пес. Они же только презрительно и насмешливо скалили зубы. Как того заслуживает поганый пес... А другие — это прозревшие борцы — лесник и писарь, даже один из юнцов — стоят гордо, не склоняясь, не унижая себя... Они не преклонили колен перед убийцами, ни один звук мольбы не слетел с их уст. Смерть стоит за их спиною. И у них, как у меня, остались жена и дети, отец и мать... Гордо стоят они, сознавая, что поступили правильно и что не осквернили себя, как я, как все остальные... О, как они должны презирать нас, паршивых собак!..»

Отпевание начинается. Отпевание живых мертвецов. Семь трупов отделяют от толпы и подводят к предназначенным для них гробам, и пастор хоронит их живыми под гравием фраз и песком словес. Погребальной песней звучат всхлипывания оставляемых родных, органную музыку заменяет позвякивание драгунских сабель, шпор и уздечек фыркающих коней... Только школьный учитель и двое юнцов принимают причастие перед смертью, остальные его отвергают. И верующий хозяин Кадака находит этот поступок правильным: от человека, который состоит на службе у ненависти и в то же время чванится, что служит любви,— от такого человека и он, Яан, не принял бы святого тела искупителя.

Разыгрывается последний акт трагедии. Семерых смертников отводят в сторону к кустам и ставят их в ряд, спи-

ною к забору. В то время как одни дают завязать себе глаза, лесник и писарь и тот молодой человек, что в злобном бессилии скрежетал зубами, хотят умереть с открытыми глазами. Эти трое стоят с высоко поднятыми головами, твердо держась на ногах, тогда как четырех других, ослабевших и раздавленных тяжестью судьбы, приходится привязать веревкой к забору. Предназначенные в жертву смерти, они умерли уже до этого.

Замерло, застыло вокруг все человеческое. Застыл в груди, застрял в горле каждый всхлип, каждый стон, и не выжать больше слезинки из глаз. Осужденные на смерть немы и неподвижны, их тела кажутся безжизнеными.

Но нет! Как только раздается команда офицера и, щелкая затворами, поднимаются винтовки, как только синеватая сталь ружей нацеливаетя в головы, в мозгу и груди осужденных пробуждается жизнь — цепкая, неискоренимая жизнь, вырывающаяся из трех глоток хриплым, победным кличем:

— Да здравствует свобода! Да здравствует борьба за свободу! Долой...

Треск ружейного залпа заглушает конец фразы... Колени подкашиваются... Головы склоняются... показываются струйки крови... колени сгибаются... головы склоняются все ниже и ниже...

Но солдаты плохо прицелились. Навеки закрыли уста лишь одного из трех, цеплявшихся за жизнь: двое других доканчивают прерванный клич — с горячей ненавистью и жаждой мести, с пеной у рта они кричат:

— Долой убийц!

Однако даже после второго залпа один еще держится на ногах и шевелит губами — это лесник, вождь безземельных и обездоленных бедняков... Он силится что-то сказать, но его рот наполняется теплой, солоноватой влагой, и он дает стечь дымящейся струе, протягивает вверх руку, как будто для клятвы, и многим кажется, что еще раз три призыва звучат в воздухе и несутся по далекой снежной равнине... А безгласно призывавший трупом падает в дымящийся пурпур.

Торжественную тишину смерти, объявшую место кровавой расправы, внезапно разрывает короткий вопль, похожий на дикий рев.

Его испускает хозяин Кадака.

Он вскакивает на большой камень подле снежного сугроба, недалеко от штабеля розог. Его безносое лицо, черное от запекшейся крови, с красным провалом в середи-

не, похоже на жуткую маску. Жилы на его шее вздулись, горящие глаза, налитые кровью, вылезли из орбит и волосы трепанными прядями повисли на лбу. Правую руку он протянул к забору, у которого валяются или повисли трупы расстрелянных.

Чего он хочет, этот человек?

Никто не может угадать.

Быть может, он хочет заговорить?

Но он ведь не умеет произносить речей!

Как бы не так! Хозяин Кадака умеет говорить. Он вдруг научился говорить. Жизнь, неистребимая, неиссякаемая жизнь, выжатая из тел погибших там, у ограды,— эта жизнь вселилась в хозяина Кадака. Неудержимо она поднимается из глубины его груди, его мятущейся в гневе души, и прокладывает себе дорогу наружу беспощадно и бесстрашно:

— Да здравствует свобода! Да здравствует борьба за свободу! Долой убийц!.. Правду они говорили, эти умолкшие там, у ограды. Правильно говорили, умирая, как правильно говорили и при жизни. Я не понимал этого, и вы, братцы, тоже этого не понимали. Теперь же я уразумел, да и вы должны стать понятливее... Вы жаждете свободы и прав? И думаете, что добьетесь их? Вы верите, что вам их подарят? Нет, лжеверующие, вам не подарят ничего. Ибо *кто* должен подарить? Тот, кто похитил у вас это драгоценное достояние, чтоб удержать его для себя? Тот, который хладнокровно расстреливает вас за то, что вы осмелились только высказать желание заполучить хоть маленькую частицу этого достояния? Правительство, которое состоит из подобных им?.. Да ну вас, братцы, бросьте об этом мечтать! Свободу вы должны *завоевать*, правами вы должны *овладеть!* И должны отомстить убийцам — око за око, зуб за зуб! Каблуком должны придавить их к земле посильнее, чтоб они признали наконец вас людьми и научились уважать ваши человеческие права! Перетяните глотку этим кровопийцам, чтоб они не могли дольше упиваться вашей кровью! Крестьяне, батраки...

Гремят три выстрела, и хозяин Кадака валится с камня.

Удар саблей рассекает ему череп.

Последний удар был нанесен самим помещиком, одетым в военную форму.

1910

Юрий Герман

(1910—1967)

ПРОГУЛКИ ПО ДВОРУ

В Седлецкой тюрьме Феликс Дзержинский сидел вместе с Антоном Россолом. Чахотка с дьявольской быстротой делала свое дело. Россол умирал. Он почти уже не поднимался с дощатого лежака, заменявшего в камере койку, по ночам у него делались кровохарканья, после которых он терял последние силы; есть ему не хотелось. Часами он лежал неподвижно, глядел в грязную тюремную стену и думал одну и ту же думу.

Тяжело умирать в двадцать лет.

Невыносимо страшно умирать в тюрьме, вдалеке от родных и близких людей, умирать за решеткой, под звон кандалов, под хриплую брань надзирателей, под крики товарищей, уводимых на казнь.

И умирать весною, когда за тюремным окном в решетках расцветают каштаны, когда небо с каждым днем становится все голубее и прозрачнее, когда воздух там, на воле, так свеж и чист,— вот в эту пору умирать в тюрьме!

Человеческая жестокость ни с чем не сравнима. Россола, конечно, можно было выпустить на поруки, и, кто знает, в деревне, на травке, на парном молоке, вдруг бы он спасся, вырвался бы из лап смерти, а если бы и не спасся, то хоть бы

надеялся на спасение. Но его не выпускали на том основании, что он безнадежен и что на воле делать ему нечего, кроме как умирать, а умереть он может с успехом и в тюрьме, и не только с успехом, а и с пользой для государства, так как перед смертью он авось испугается и заговорит о том, о чем не хочет говорить сейчас, назовет имена людей, даст возможность выслужиться жандармскому ротмистру, ведущему дело, поможет упечь в тюрьмы десяток-другой тех, которым ненавистно самодержавие.

И его держали в тюрьме.

Ноги отказывались служить ему, он не мог передвигаться, и все-таки его держали за решетками. На двери камеры висел замок, и много раз в день открывался волчок в двери, надзиратель заглядывал, все ли в порядке, не роет ли чахоточный Россол подкоп, не перепиливает ли решетки на окне.

Он был так слаб порою, что Дзержинский подавал ему воду, но следователь-жандарм допрашивал его всегда в присутствии выводного по той причине, что таким нечего терять, что они на все способны и что с ними нужно быть поосторожнее...

Изнуряющие кровохарканья мучили его по ночам, а тюремный врач Оберюхтин, писавший в журналы статейки по вопросам симуляции, искал симуляцию и здесь, а когда не нашел, то перестал интересоваться больным и даже перестал навещать его.

В больницу Россол не хотел. Он уже побыл там недели две и вернулся оттуда по собственному желанию. Там было еще страшнее, чем здесь. Там было так чудовищно плохо, что Антон только махнул рукою, когда Дзержинский спросил, почему он вернулся. Махнул рукою, лег на свой лежак, закрыл глаза и сказал:

— Здесь как в раю.

Можно было себе представить, каково лежалось в больнице, если тут было «как в раю».

Однажды под вечер Россол вдруг сказал:

— Пожалуй, это все из-за порки.

— Из-за какой порки? — не понял Дзержинский.

— Разве я тебе не говорил?..

— Ничего не говорил...

— Тут как-то, еще до твоего прихода,— не торопясь, начал Россол,— зашел ко мне начальник тюрьмы. Ну-с, сел, заговорил. Как поживаете, то да се. Я помалкиваю, слушаю,

он рассуждает насчет самодержавия, что царь — это хорошо, революция — это плохо,— знаешь их разговоры. Я с ним не спорю,— ну тебя, думаю, к лешему. Дальше — больше, спрашивает меня, что мы с ним сделаем, если революция победит. Я думаю — шутит, несерьезно спрашивает; взглянул на него, вижу — нет, серьезно. И в глазах глубокий интерес. Я на шутку свожу,— помилуйте, говорю, как же мы с вами можем что-либо сделать: у вас и чин большой, и должность, и все такое. «Нет, отвечает, бросьте, я у вас серьезно спрашиваю, мало ли что может выйти, мне мое будущее чрезвычайно интересно знать: я человек семейный, у меня дети, я должен быть в курсе перспектив». Прямо так и сказал: в курсе перспектив.

— Ну? — спросил Дзержинский.

— Я опять стал отшучиваться, но чем больше шучу, тем нестерпимее хочется сказать то, что я думаю. Ты понимаешь это чувство.

— Еще бы,— усмехнулся Дзержинский.

— Ну, дальше. Шучу я, говорю, что обратитесь к другим с этим вопросом, потому что, дескать, я не доживу, а сам чувствую, что скажу, обязательно скажу, получу удовольствие, и хоть очень оно дорогое, это удовольствие, и заплатить за него, наверное, придется порядочно, но доставлю себе маленькую радость, а там — будь что будет. И доставил.

— Как же это было?

— Да просто: я ему очень вежливо, почти, знаешь ли, по-дружески, мягко и деликатно сказал: «Мы вас, ваше благородие, обязательно, во что бы то ни стало, непременно расстреляем. Вы уж не обижайтесь на меня за правду — сами спрашивали, я ведь не нарывался на этот задушевный разговор». Но, представляешь себе, он и тут не отстал от меня. «Это, спрашивает, ваше личное мнение или мнение и ваших товарищей тоже?»

— И в заключение была порка?

— Нет, мы еще поговорили,— сказал Россол,— на всякие научно-тюремные темы. Долго говорили, и, только прощаясь, он сказал, что пропишет мне сто розог, дабы я не заносился и не думал о близости революции и о том, как мы расправимся кое с кем. И добавил, что есть одна хорошая русская пословица, которую надобно всегда помнить: не плюй в колодец — пригодится воды напиться. Я ему ответил, что у меня есть другая пословица не хуже: не пей из колодца — пригодится плюнуть.

Дзержинский засмеялся.

— Выпороли?

— А как же...

— Сто?

— Не знаю, не помню. Вначале я считал, а потом потерял сознание.

Помолчали. Потом Россол вдруг сказал:

— А знаешь что: может быть, все дело в порке. Может быть, я ослабел от этого, а не от болезни. Может быть, они мне что-либо навредили, а вовсе это не чахотка. Как ты считаешь?

Он еще надеялся, верил, что, может быть, если его выпустят, если будет много свежего, чистого воздуха, молоко, зелень, хороший уход, солнце, то он поправится и проживет долго, до ста лет. Со всей силой и страстью, на которую он был способен, Дзержинский поддерживал в Россоле эту мечту о выздоровлении. Подробно и много он говорил Россолу о науке, о том, что медицина семимильными шагами идет вперед, о том, что за открытием Пастера могут последовать другие, не менее крупные открытия, в любой, говорил он, день может появиться ученый, который навсегда избавит мир от чахотки, и чахотка станет таким же далеким призраком, как сейчас, например, оспа. Тогда он, Россол, встанет и выздоровеет, вновь будет работать. Россол слушал его хоть и недоверчиво, но внимательно, и точно позволял убеждать себя в том, во что он не верил и во что так хотел поверить.

И такие разговоры кончались обычно тем, что настроение у Россола делалось лучше, спокойнее, увереннее, на бледных губах появлялась улыбка, а в глазах то выражение, которое так любил Джержинский: дерзкое, упрямое, мальчишеское.

Всю свою силу, всю энергию, все мысли Дзержинский отдавал Россолу.

Он никогда ничего не умел делать наполовину, и если любил и знал, что нужен тому, кого любит, то отдавал всего себя целиком.

И он не спал ночи, слыша в темноте камеры, что Антон не спит, и притворялся, что у него тоже бессонница, старался развлечь больного разговорами, рассказывал ему смешные истории и смеялся сам, хотя смеяться ему вовсе не хотелось, так же как и рассказывать; ему хотелось спать, он уставал от тяжелых тюремных дней, от больного, порой несправедливо раздражительного Антона, от тех усилий, которые приходилось затрачивать, чтобы достать в тюрьме,

с ее дикими порядками, кусок льда для кровохаркающего, соленой воды, кипятку, лекарства, чистую тряпку.

Но что же было делать?..

Оставить тяжело больного, умирающего человека наедине с его тоской, с его страхами, с его страданиями?

И Дзержинский садился на лежак Антона, у его ног, в темной вонючей камере и говорил бодро и весело:

— Вот хорошо, что ты не спишь! Я тоже никак не могу уснуть, вот уже сколько времени лежу, лежу, а ни в одном глазу... Не спится...

— Отчего же тебе не спится? — подозрительно спрашивал Антон, радуясь, что Дзержинский возле него, что он не один теперь со своими всегда одинаковыми мыслями и что можно пожаловаться, повозмущаться, сорвать свое состояние хотя бы на Дзержинском.

— Не знаю, отчего мне не спится,— отвечал Дзержинский,— сам знаешь, каков тюремный сон!

— Я, когда был здоров, и в тюрьме отлично спал.

В голосе Россола было раздражение, по его тону Дзержинский чувствовал, что он ищет, к чему бы придраться, на чем сорвать свое настроение.

— Где угодно отлично спал,— продолжал Россол, раздражаясь с каждым словом все более и более,— а вот когда я болен, действительно не могу уснуть... Но никого не прошу,— голос его начинал звенеть,— никого не прошу не спать из-за меня. Наоборот, я прошу спать и не портить себе ночь, а затем настроение на весь следующий день. Я прошу только оставить меня в покое... Да! Оставить в покое — и все!

Голос у Россола звенел и срывался на неожиданно высокой ноте, в его словах слышались слезы, обида на то, что он не заснул ни минуты, а Дзержинский спал и не слышал, как он хотел взять себе воды и как уронил кружку, а поднять ее не смог и так и не напился до сих пор...

— Почему же ты не окликнул меня?

— Потому что я знаю, что я тебе надоел, что я извел тебя, измучил, но я не могу, я не в состоянии, у меня нет больше сил...

— Брось, о чем ты, Антон...

— Нет, не брось! Я действительно невыносим со своими капризами и придирками, но если бы ты знал, как мне тяжело, как мне хочется жить, как я устал от этих мыслей о смерти, о том, что я скоро, совсем скоро умру, что от меня ничего не останется, что я ничего не успел, совсем ничего, совсем...

И, ослабевший, измученный, изнемогший в борьбе со своей болезнью, Россол долго и тяжело плакал, уткнувшись

в жесткую соломенную подушку, задыхался от слез, горячей мокрой ладонью ловил в темноте руку Дзержинского, сжимал ее и шептал:

— Ну, научи! Как мне жить? Как? На что мне надеяться? Помоги мне! И не презирай меня, не думай, что я трус, что я ничтожество... Я болен, это болезнь, я не виноват, я нисколько не виноват. Ответь, ты понимаешь, что я не виноват?

— Да, понимаю,— искренне и убежденно отвечал Дзержинский,— конечно, понимаю. Это пройдет, все пройдет, когда ты поправишься...

И опять, как вчера, как позавчера, он говорил о том, что будет, когда Антон поправится, как они вместе выйдут из тюрьмы и пойдут купаться на речку, а потом в лес, а потом ужинать в лесную харчевню, он знает одну такую на перекрестке дорог, старая-старая харчевня...

Он говорил и видел, как блистают в темноте глаза Россола, как светится в них жажда жизни, страстное желание пойти в лес, на речку, в харчевню, в город, туда, где много людей, где играет музыка, где нет решеток, за которыми даже наступающий весенний день выглядит уныло и печально, туда, где нет кандалов, надзирателей и длинных томительных тюремных ночей...

— Мы бы пошли с тобой в кафе,— подсказывал Россол,— ты забыл кафе. Мы бы выбрали шикарное кафе, черт подери, такое, где играет целый оркестр! Мы бы сели, как все равно те два пана, и заказали бы себе бог знает что. Я даже не могу придумать, что бы такое мы себе заказали.

Он слушает Антона и сам говорит разный вздор, только чтобы вызвать улыбку на этих запекшихся губах, хоть слабую, но улыбку, говорит, а думает совсем о другом: он думает о том, что больной, слабый, умирающий Россол сильнее многих, очень многих самых здоровых людей.

Его держат здесь и не судят потому, что надеются: вдруг ему станет страшно и он начнет выдавать все, что знает. Ради свободы. Ради воли.

Судить его неудобно: нести в суд, как носят на допросы, на носилках!

Гнать в Сибирь после суда тоже неловко.

Вот и держат — надеются, что заговорит.

А он не говорит.

Не говорит ни слова, улыбается упрямой и злой улыбкой и на все припугивания отвечает одно и то же:

— Мне наплевать! Наплевать!

И глаза у него при этом вспыхивают, как у волчонка.

Как-то душным вечером, когда громыхал первый весенний гром, Россол грустно сказал:

— Завтра вы пойдете на прогулку по лужам. Я бы тоже с удовольствием походил по лужам.

Он сказал это не то серьезно, не то в шутку и замолчал на весь вечер, слушал шум дождя, смотрел на ржавую решетку окна, кашлял. А когда Дзержинский вернулся днем с прогулки, спросил:

— Ходили по лужам?

— Ходили,— чувствуя себя виноватым, сказал Дзержинский.

— Большие лужи?

— Нет, не очень, так себе...

— Глубокие? — продолжал допрашивать Россол.

— Лужи как лужи,— сказал Дзержинский и, чтобы перевести разговор на другую тему, рассказал, как обиделся новый надзиратель, когда заключенные подумали, что он собирается прекратить прогулку раньше времени.

Но Россол не слушал.

— Я должен выйти на волю,— сказал он чужим голосом,— понимаешь, Яцек. Что угодно, но я должен. Я больше не могу. Я должен выйти!

Дзержинский молча глядел на Россола.

— Пусть меня выпустят из тюрьмы,— сказал Россол,— пусть! Слышишь!

В его голосе звучало такое отчаяние, что у Дзержинского перехватило в горле.

— Я хочу на волю,— приподнявшись на локте и глядя в лицо Дзержинскому почти сумасшедшими глазами, быстро и громко говорил Россол,— во что бы то ни стало я хочу на волю. У каждого человека есть предел терпению. Как хочешь, Яцек, но я больше не в состоянии. Выпусти меня из тюрьмы. К черту...

Его пришлось отпаивать водой. Он был как потерянный. И, плохо соображая от жалости и сострадания, Дзержинский сказал вдруг, помимо своей воли, что постарается завтра устроить так, чтобы Антон попал на прогулку.

— Я? На прогулку? — не веря своим ушам, произнес Россол.

— Ты, ты,— сказал Дзержинский.

Он отлично понимал, что Антон не может попасть на прогулку, но что было делать, он сказал нечаянно, а Россол принял всерьез и уцепился за слово «прогулка», ему хотелось верить, что он попадет на прогулку.

— Но лужи высохнут до завтра,— сказал Дзержинский.

Россол не слушал. Он говорил и не спрашивал ни о чем,— спрашивать было страшно. Если спросить, то обязательно выяснится, что прогулки не может быть, что это сон, это просто-напросто приснилось и сейчас Дзержинский скажет: что ты, какая такая прогулка,— и все кончится.

И он не спрашивал.

Он только говорил о самой прогулке, о том, как он завтра будет гулять.

То есть гулять он, конечно, не может, но ведь дело не в словах, он будет сидеть на воздухе, на солнце, во дворе и даже на радостях закурит папироску-самокрутку из махорки,— пропадай все пропадом, как говорится. Пусть они ходят, как дураки, по кругу, а он будет сидеть и смотреть на небо. Или вот что: папиросу он курить не станет. Это глупо — курить папиросу на воздухе. Ни к чему! Он лучше сорвет травинку и будет ее жевать. Боже мой, как давно он не жевал травинку, а ведь есть такие счастливцы, которые могут делать это хоть каждый день...

Он будет сидеть на земле, прямо на земле, а они пускай ходят кругом,— ему что.

И если он побудет на воздухе, у него появится аппетит.

А как только он начнет есть, болезнь исчезнет сама собой. Все дело в аппетите, только в нем, не правда ли? И вот после прогулки...

К тому времени, когда заключенных обычно выводили на прогулку, Россол отвернулся к стене и прикрыл голову одеялом. То возбужденное состояние, в котором он был накануне вечером, сменилось апатией, полным упадком сил, равнодушием. Теперь он, видимо, понял, что ни о какой прогулке не может быть и речи, что каштанов ему не увидать, что все это мечты.

Несколько раз за утро Дзержинский окликал его, но он не отзывался, делал вид, что уснул, но сам, конечно, не спал и не думал спать.

Незадолго до прогулки Дзержинский подошел к Россолу, подергал его за одеяло и, когда Антон открыл злые глаза, сказал:

— Одевайся, иначе не успеем.

— Зачем мне одеваться?

— Пойдем на прогулку...

Секунду, не более, Россол смотрел в глаза Дзержинскому — старался понять, шутит он или говорит серьез-

но. И понял, что серьезно. Да и можно ли шутить такими вещами?

— Но я не удержусь на ногах,— сказал он,— я упаду.

И виноватым голосом добавил:

— Я теперь очень слаб, Яцек. У меня плохие ноги.

— Тебе не надо держаться на ногах,— сказал Дзержинский,— зачем тебе держаться на ногах, если я тебя понесу. Я буду твоими ногами, понял?

— Понял,— все еще виноватым, покорным тоном ответил Россол,— но ведь тебе будет тяжело.

— Одевайся и не болтай,— приказал Дзержинский.— Там увидим, тяжело или не тяжело.

Россол сел на лежаке и нагнулся за сапогами, но тотчас же свалился на свою соломенную подушку: от слабости закружилась голова. Дзержинский поднял с полу сапоги, сел рядом с Россолом и обнял его за плечи, чтобы он спокойнее и тверже себя чувствовал.

— Это ничего,— бормотал Россол, силясь натянуть сапог,— это ничего, это сейчас пройдет, все пройдет, это оттого, что я слишком резко вскочил. Но сейчас мне уже лучше, мне легче...

От волнения и от слабости лоб его покрылся испариной, он никак не мог ухватить рукой ушко сапога, не мог сунуть ногу в голенище, ему уже ни на что не хватало сил.

— Да ты не волнуйся,— как можно мягче и веселее говорил Дзержинский,— ты вовсе не так уж слаб, а просто ты волнуешься, вот у тебя и не ладятся сборы. Ну, успокойся! И не торопись! Возьми обеими руками за ушки и тяни. Взял? Ну, видишь, как просто! Теперь второй сапог! И второй натянул,— видишь, как хорошо! Теперь куртку. Где твоя куртка?

Одевая Россола, он делал вид, что Антон одевается сам, своими руками, он же, Дзержинский, тут ни при чем, он только успокаивает Россола, подает ему одежду и разговаривает с ним.

— Видишь, как хорошо,— говорил он,— вот ты и готов, совсем готов. Теперь встань, только не торопясь, обопрись на меня и встань. Вот так, хорошо, замечательно...

— Ноги не держат,— слабо произнес Россол,— совсем не могу стоять, Яцек...

С лязгом отворилась дверь, и в камеру вошел старший, Захаркин.

— На прогулку собирайтесь! Живо!

Увидев Россола, он спросил:

— А этот куда же? Ужели гулять?

— Гулять,— ответил Дзержинский.

— На допросы не может, а на прогулки может,— сказал Захаркин и вышел из камеры, не заперев за собой дверь.

Стоять Россол решительно не мог: у него кружилась голова, подкашивались ноги. Из плана Дзержинского — вести его на прогулку, обняв за талию и сильно поддерживая,— ничего не выходило. Надо было найти другой выход — и без промедления: в коридоре Захаркин уже выстраивал арестантов,— промедление грозило опозданием на прогулку.

А губы у Россола уже вздрагивали: во второй раз за эти сутки он расставался с мечтой о прогулке.

— Спокойно, Антон,— сказал Дзержинский,— сейчас все образуется. Сядь на койку.

— Зачем?

— Сядь, говорю!

Голос его звучал строго, почти повелительно. Такому голосу невозможно было не повиноваться.

— Теперь возьми меня за плечи! Нет, не за шею, а именно за плечи! А ноги давай сюда. Хорошо держишься?

— Хорошо...

— Держись, я поднимаюсь.

— Держусь.

Дзержинский выпрямился. Теперь он держал Россола на спине.

— Надорвешься, Яцек,— сказал Россол,— это чистое сумасшествие — то, что ты затеял!

— Сиди смирно,— посоветовал Дзержинский.

С бледным, как мел, но совершенно счастливым Россолом за плечами Дзержинский вышел в коридор. Заключенные, уже выстроенные на прогулку в две серые шеренги, не сразу заметили в полутьме коридора ношу Дзержинского, а когда заметили, задвигались и вновь замерли; из-за поворота бежал Захаркин и командовал:

— Смирно, равнение направо!

За старшим надзирателем двигались начальник тюрьмы и его помощник. Это было неприятно: начальник и помощник почти никогда не появлялись в это время.

Дзержинский стоял на левом фланге, начальство же появилось на правом и застряло: шел осмотр арестантов.

— Вы не робейте, товарищ,— сказал Дзержинскому его сосед, широкоплечий врач с висячими усами,— они вам ничего не скажут. Не посмеют!

— Положим, посмеют,— улыбнулся Дзержинский,— но я не робею. Авось как-нибудь.

Держать Россола на спине было очень тяжело: ширококостный и высокий Антон, несмотря на худобу, весил еще много. Дзержинский, сам ослабевший после стольких месяцев тюремной жизни, сейчас едва держался на ногах со своей ношей. Лицо его покрылось пóтом, сердце билось неровно, толчками. А начальство двигалось так медленно, что казалось, никогда не будет конца этому стоянию в сыром полутемном коридоре с Антоном за плечами. И если бы он еще не волновался так ужасно!

Каждого арестанта начальник тюрьмы осматривал и обыскивал самолично: на прогулках довольно часто арестанты передавали друг другу письма, записки, даже книги, и начальник тюрьмы объявил этому обычаю войну. Пока что он ничего не нашел, и это его злило. Если весь обыск окажется безрезультатным, начальник останется в глупом положении.

Чем меньше оставалось необысканных арестантов, тем больше раздражался начальник тюрьмы. Теперь уже Дзержинский видел его бледное, выбритое лицо, с большим носом и угловатыми бровями, его большой подбородок и кончики крахмального воротничка, выглядывающего из-под воротника мундира.

— А пачему у вас, пазвольте, спра-асить,— нажимая на букву «а», говорил начальник,— пачему у вас пуговица аторвана? Вы что? Правил не знаете? Так мы вас живо! Захаркин! Трое суток карцера ему!

Теперь у каждого арестованного он находил какой-нибудь непорядок в одежде или в поведении: один не так стоял, другой посмел улыбнуться, третий держит руки в карманах, четвертый посмел попросить очки, отобранные на допросе.

— То есть как это отобранные?

— Следователь отобрал у меня очки, чтобы ускорить мое сознание,— говорил четвертый от Дзержинского арестант с тонким и умным лицом,— я же без очков ничего решительно не вижу. Прошу вас возвратить мне очки...

Но начальник тюрьмы уже не слушал. Теперь он увидел Дзержинского и вместе со своим помощником, прыщавым молодым человеком, шел к Дзержинскому.

— Это что ж такое? — спрашивал он, щуря глаза.— Эта шутка или как эта нада панимать? Сейчас же обоим встать смирна,— вдруг крикнул он,— сейчас же!

— Мой товарищ болен, как вам известно,— сказал Дзержинский,— и стоять не может.

— Я приказываю прекратить,— крикнул начальник,— я приказываю стоять смирна!

— Но он не может...— начал было Дзержинский.

— Малчать! — багровея и теряя всякую власть над собой, заорал начальник.— Назад в камеру! Запрещаю! Захаркин, за самовольное выношение... вынесение... за самовольный вынос из камеры...

Он вдруг запутался и забыл то, что хотел сказать, и в эту секунду в коридоре вдруг раздался звонкий крик Россола:

— Палач! Мы все равно тебя расстреляем! Палач!

Неизвестно, что произошло бы, не раскашляйся Россол в это время. Он закашлялся так, что отпустил Дзержинского и повалился головой вниз на щербатый каменный пол коридора. Но сосед Дзержинского, врач, успел подхватить голову Россола так, что он не ударился, и принял его от Дзержинского.

Захаркин схватил врача за руку и оттащил от Россола. Врач рванул руку. Россол все еще кашлял. Изо рта его текла узкая струйка алой крови.

— Все назад, в строй! — протяжно закричал начальник тюрьмы и расстегнул кобуру револьвера.— По местам!

Врач в это время уже стоял на коленях возле Россола. Захаркин опять рванул его за плечо.

— Отойдите,— сказал Дзержинский,— вон отсюда!

— Ты что? — оторопело спросил Захаркин. В его руке уже был револьвер.

— Все назад в строй,— продолжал кричать начальник,— или я буду стрелять!

Но никакого строя уже не было. Строй внезапно сломался. Начальник был в одном кольце арестантов, его прыщавый помощник в другом, Захаркин в третьем. А справа несся чей-то тонкий, бешеный голос:

— Товарищи, бей палачей!

Лицо Захаркина сделалось серым.

— Спрячь револьвер, мерзавец,— сказал ему Дзержинский,— спрячь, пока тебя не убили.

А слева несся и несся бешеный, точно пьяный, тонкий голос:

— Бей палачей, товарищи! Бей, бей, палачей...

Но никто не был убит. И начальник, и его помощник, и Захаркин удрали. Им дали уйти, и они ушли. Арестанты, по настоянию Дзержинского, разошлись по камерам.

Россола отнесли на его лежак, врач сел с ним рядом. Тюрьма затихла.

До вечера ждали расправы, но она так и не последовала. Захаркин появился тише воды, ниже травы, настолько вдруг вежливый, что в волчок осведомился о здоровье Россола.

— Теперь лучше,— тоже вежливо ответил Дзержинский,— благодарю вас.

Но Захаркин не отходил от волчка. В волчок был виден только его мохнатый рот, и этот рот произнес:

— Бывают же такие болезни...

На это Дзержинский не нашелся что ответить.

К ночи Россол окончательно пришел в себя. И так худое, лицо его совсем осунулось и приняло голубоватый оттенок, темные глаза завалились, губы запеклись.

— Здорово мы с тобой погуляли, Яцек? — спросил он, старательно улыбаясь.

— Завтра погуляем,— невозмутимо ответил Дзержинский.

— Ты думаешь?

— Уверен.

Он стоял перед лежащим Россолом — худой, стройный, высокий, и такая спокойная сила исходила от него, что Россол поверил: да, завтра они обязательно будут гулять, ничто не может помешать этому решению, они во что бы то ни стало будут гулять.

Эту ночь, впервые за много месяцев, Россол спал спокойно, а наутро Дзержинский, как ни в чем не бывало, помог ему одеться, и, когда Захаркин отворил дверь в коридор и объявил прогулку, он поднял Россола на плечи и стал с ним в шеренгу арестантов.

Начальника тюрьмы не было, со вчерашнего дня его никто не видел.

Захаркин же сделал такой вид, что ему нет никакого дела ни до Дзержинского, ни до его ноши, ни до чего решительно, кроме самой прогулки. Да и вообще в лица арестантам он не смотрел, а смотрел вниз и покрикивал:

— Ногу, ногу держать, как надо! Подобрать кандалы! Без разговоров, правое плечо вперед, по лестнице не торопись!

Грохоча сапогами, под звон кандалов, арестанты двигались коридорами, лестницами, опять коридорами в тюремный двор.

— Тяжело? — негромко спросил врач у Дзержинского.

— Ничего, привыкну,— ответил Дзержинский.

Спустились по последнему маршу лестницы, миновали последний коридор и вышли на мощенный булыжником двор. День стоял солнечный, теплый, почти жаркий. Еще цвели каштаны,— пирамидальные, белые соцветья, как толстые свечи на елке, украшали ветви. Захаркин, пятясь, бежал впереди первой пары и кричал, размахивая руками, как дирижер перед полковым оркестром:

— Соблюдай расстояние на одну протянутую руку! Пара от пары на три шага! Дети-соколы, соблюдай порядочек, иначе драться буду! Без разговоров!

Но было так хорошо, что даже эти дурацкие возгласы Захаркина не мешали.

Пекло солнце.

Посреди двора прогуливались и ворковали голуби.

Тянуло ветром, настоящим весенним ветром.

С Дзержинского ручьями лил пот, но он не замечал этого.

Под звон кандалов, под грохот сотен пар сапог он слушал задыхающийся шепот Россола, его восторженные, отрывочные слова:

— Яцек, каштаны! Ты видишь, каштаны. Трава! Смотри, между булыжниками пробивается. Смотри, слева,— совсем зеленая, настоящая! Ты устал, Яцек? Тебе тяжело? Смотри, какой толстый голубь, просто толстяк! Как он может летать, такой толстый?

Россол точно помолодел на несколько лет.

И все вокруг точно помолодели. Восторженные восклицания неслись отовсюду:

— Эх, жизнь!

— Природа, одно слово.

— Мама дорогая, солнце как зажаривает!

— Не для вас и не для нас зажаривает.

— Ай, погода!

Дзержинский задыхался, глаза ему застилал туман. Он ничего не слышал, кроме грохота собственного сердца и того, что шептал ему в ухо Россол.

«Только бы не упасть,— думал он,— только бы не свалиться тут, посреди двора, вместе с Антоном».

Но он не свалился. Пятнадцать минут кончились, Захаркин засвистал и подал команду разойтись по камерам. Дзержинскому еще предстояло поднять Антона на четвертый этаж и пронести по коридорам...

1937



(1895—1957)

ПРАЗДНИК

В тот день Катя Трофимова вышла из дому поздно. Густой медный звон подымался над лаврой и плыл по улицам.

За заставой, у лабазов, мальчишки гоняли шестами голубей. На лабазных дверях висели пудовые замки.

Все было как всегда на пасху. И никогда еще не было так скучно.

На углу торчал надоевший до тошноты жестяной щит: сытый барин в цилиндре изумленно нюхал дым голубой папиросы, над папиросой сияли аршинные буквы — «Гильзы Катыка».

Щит заслонял от глаз проулок, из которого в будни, дыша копотью, вылетал паровик. Теперь проулок был пуст.

Даже воздух вокруг, воздух питерского пригорода, был скучным, пахло самоварным дымом, золой, талым снегом.

У самой заставы Катя встретила Наталью Егоровну, закройщицу своего цеха. Егоровна глянула на нее жарко, как будто и не узнавая даже. Потом, не здороваясь, схватила Катю за рукав:

— Бежим в комитет!

Районный комитет большевиков помещался в ту пору в двух комнатах приземистого невеселого дома.

В первой комнате сидел за сосновым столом пожилой человек в полупальто и барашковой шапке.

Наталья Егоровна закричала на него:

— Ну, что?

Тот развел руками.

— Оповестил кого мог. Душ сорок придут.

Закройщица рассердилась.

— Нет, товарищ дорогой! Неверно ты сосчитал. Тысячи придут. Весь наш район пойдет встречать.

— Придумай, как это сделать.

— Надо придумать.

— Кого встречать? — спросила Катя.

Егоровна повернулась к ней удивленно:

— Разве я тебе не сказала? Ленин к нам едет!

Человек в полупальто проговорил глуховатым голосом:

— Вот и никто не знает: пасха...— Потом вдруг оживился.— Путиловцы, те, конечно, все выйдут... как один!

— Путиловцы выйдут,— подтвердила Наталья Егоровна,— и мы выйдем.

Пасха — это значило: заводы и фабрики на замке, газеты не выходят, почта не работает.

Егоровна села у стола, оперлась щекой о ладонь, задумалась. Потом спросила:

— Катюша, умеешь ты красиво писать?

И, не дожидаясь ответа, встала и шагнула в другую комнату: там лежали плакаты, стопки разноцветных брошюр; прислоненные к стене, стояли знамена.

Егоровна вернулась оттуда с полосой красного ситца.

— Вот тут пиши...— Она помолчала, вздохнула быстро и сильно.— Пиши: «К нам едет Ленин. Идем встречать!»

Краски в помятых жестянках стояли на подоконнике.

Катя отыскала кусок мела и принялась писать буквы начерно.

Егоровна разводила белую краску маслом, размачивала кисть.

Катя написала последнюю букву в слове *Ленин* и сказала тихонько:

— Тетя Наташа, а я ведь непартийная.

— Ты — рабочий человек! — ответила Егоровна строго.

После этого они молча кончили необычную для себя работу. Надпись получилась видная и ясная, только некоторые буквы вышли неровными.

— Рейки! — сказала Егоровна.— Где возьмем рейки?

Потом, вспомнив что-то, быстро пошла к выходу.

На улице мальчишки все еще гоняли шестами голубей. Они носились самозабвенно, с улюлюканьем и пронзительным свистом.

Наталья Егоровна подошла к ним и попросила:

— Ребята, отдайте мне шест...

Те даже отбежали от нее подальше. Шесты у них были отменные: ровные, длинные, заостренные кверху; до блеска отполированные шершавыми ребячьими ладонями, они казались покрытыми лаком,— не шесты, а мечта голубятников.

— Ребята,— повторила Егоровна,— для дела надо. Ну, как мне вас уговорить?

Она даже взмахнула руками и оглянулась кругом: разве их упросишь! Шесты ребятам сейчас, может, дороже всего на свете. И продать — не продадут.

Она все-таки сказала им негромко:

— Товарищ Ленин к нам едет. Время, видишь, позднее, а нам надо поскорей плакат сделать... Мы его хотим на шест, чтобы повыше.

Ребята вряд ли что поняли из ее слов. Они стояли поодаль и глядели недоверчиво.

Через полчаса Катя нашла Наталью Егоровну у лабазов: присев на корточки перед мальчиками, она толковала с ними о чем-то вполголоса.

— Тетя Наташа, что ж ты? Надо искать столяра, может, уступит рейки-то...

— Выходит, надо искать столяра,— грузно подымаясь, вздохнула Егоровна.

И тогда один из мальчишек сказал сипло:

— Бери.

Наталья Егоровна хотела его обнять, он увернулся сурово.

Ребята провожали шест до самого комитета. Там они молча следили, как Егоровна размеряла его ладонью. Размерив, она сделала посредине надрез и сломала шест о колено. Один мальчишка охнул: вещь пропадала на глазах. Другой толкнул его и прошептал:

— Для дела надо, не видишь?

Катя ожидала, что все прохожие будут дивиться на плакат. Но когда они вынесли его на улицу, никто не удивился. Со всех сторон подходили люди, торопливо спрашивали:

— Когда ждут поезд?

И многие, становясь в ряды, шли следом за плакатом.

Один старик закричал Егоровне требовательно:

— Что ж не написано, с какого вокзала?

Егоровна ответила тоже неласково:

— А ты сам соображай. С Финляндского.

Тот продолжал кричать:

— Какой будет ваш маршрут?

— По Невскому, к Литейному мосту.

И старик вдруг закручинился, захлопал себя по бокам рукавицами.

— Сыны у меня тут... За сынами побегу. Успею, молодка?

Егоровна спокойно ответила:

— Успеешь.

Только обойдя весь свой район, подошли к Невскому.

Катя глядела прямо перед собой и не видела людей на тротуарах. Но сразу почуяла: что-то кругом изменилось.

Пронзительный вопль раздался впереди. Рядом с Катей мужской голос спросил с беспокойством: «Чего это они?» Вопль повторился:

— Предатели!

Катя обернулась на крик: у самого края тротуара металось румяное лицо, чем-то похожее на то, ненавистное, что восьмой год торчит на щите у заставы.

Тогда кто-то в колонне сказал спокойно, с веселой угрозой:

— Ну, что же, споем нашу боевую.

И сразу запели в рядах:

Смело, товарищи, в ногу...

За плакатом шла не толпа. Шел отряд питерских рабочих! Шагали по четыре в ряд, держась за руки,— песня помогала соблюдать равнение.

У Литейного Катя оглянулась. Конца колонны не было видно. В третьем ряду развалисто шел старик, тот, что бегал у заставы за сыновьями. По бокам его шагали два огромных парня в армяках и плисовых шапках.

Старик крикнул что-то Кате. Она не разобрала — за песней плохо было слышно — и на всякий случай утвердительно кивнула головой. Но старик, надсаживаясь, побагровев, продолжал кричать изо всех сил:

— Ледоход! Не пробиться морячкам!

На этот раз Катя услышала, но не поняла его слов и опять ласково кивнула ему головой.

Когда глазам открылся простор Невы, песня замолкла. Во всю ширь реки со скрипом и ропотом, тесня одна другую, шли льдины.

— Не пробиться матросам! — повторил старик.

У моста пришлось ждать: пропускали вперед путиловцев, те шли военным строем, молча, без песен.

Потом прошла воинская часть с оркестром и огромным бархатным знаменем.

И вдруг послышалось — стало разрастаться «ура»: на набережной показалась колонна кронштадтских матросов. Ветер колыхал над черными бушлатами ленточки бескозырок. Матросы шли, подчеркнуто щеголяя выправкой, строго неся винтовки с примкнутыми штыками; и воинский шаг и свое оружие они полюбили недавно.

— Пробились!

Старик у самого Катиного уха кричал «ура» и неистово хлопал себя по колену шапкой. Потом метнул шапку кверху, поднял ее с земли, передохнул и сказал:

— Вот это праздничек!

Чувство, которое испытывала Катя в ту минуту, можно назвать одним только словом: любовь. Она любила всех, кто шел сейчас вместе с ней, она знала, что дружба ее с Натальей Егоровной теперь на всю жизнь, что навсегда запомнятся ей шумный старик и огромные его сыновья; она любила Неву и ропот ледохода, матросов, их винтовки, смутное поблескивание штыков — впервые заметила она смертоносную эту красоту,— любила весь город, который стал вдруг своим: по его улицам плечом к плечу с ней прошли свои, близкие люди.

К Финляндскому добрались, когда уже начинало темнеть. Бледный свет фонарей на привокзальных улицах не мог побороть сумерек, и тогда рядом со знаменами и плакатами стали загораться косматые неровные огни: дымное пламя факелов взлетало и падало, свет от факелов шел волнами, выхватывая из полумрака головы, плечи, надписи на знаменах.

Площадь у вокзала была по приказу властей оцеплена войсками. Командовал ими капитан с кукольно-красивым лицом. Он с недоумением глядел на людское море, заливавшее площадь, и, видно, хорошо понимал свое бессилие.

Колонну, пришедшую от Невской заставы, оттерли к Финскому переулку; площадь была набита народом.

К багровым отблескам факелов присоединились голубые мечи прожекторов, и все кругом стало тревожно-праздничным.

Где-то близко послышался и сразу заполнил всю площадь мощный рокот, по силе подобный замедленному взрыву. Народ, колыхнувшись, раздался в стороны,— к главно-

му подъезду вокзала тяжело прогремели броневики с красными флажками на башнях.

Прошло еще сколько-то времени... Катя не слышала ни свистка паровоза, ни грохота вагонных колес. Она вдруг почувствовала только: народ дружно подался вперед, и она вместе со всеми. Рядом кто-то приказал страшным шепотом: «Разом берись, разом, говорю!» И она увидела старика, которого подымали за локти его сыны. Лицо у старика просветлело. Катя отчаянно, изо всех сил потянулась кверху, но впереди, кроме черных спин и шапок, ничего не было видно.

Сдержанный гул прошелся по площади,— у вокзала что-то произошло. Потом — в необычном этом многолюдии — наступила такая тишина, что было слышно потрескивание факелов.

На броневике, видный всем, стоял Ленин.

Несколько секунд он молчал, наклонившись слегка вперед. Казалось, он вглядывается в освещенные факелами надписи знамен и плакатов.

На мгновенье взгляд его задержался на дальней полосе красного ситца с нарисованными от руки неровными буквами: «К нам едет Ленин. Идем встречать!»

Слепящий луч прожектора скользнул по броневику.

Ленин, волнуясь, поднял руку с зажатой в ней фуражкой.

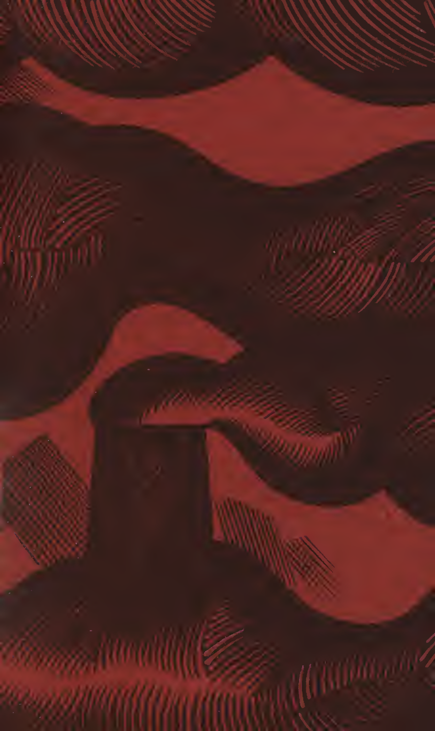
Потом быстрым движением сунул фуражку в карман; протянул вперед освобожденную руку и начал речь, никем не записанную и никем не забытую.

1940

За власть Советов









Николай Никитин

(1895—1963)

ОКТЯБРЬСКАЯ НОЧЬ

Искры паровоза жгли нас. Днем припекало солнце. Нас мочил дождь и сушил ветер. Мы ехали на крыше вагона. На пути от Мценска до Москвы двух человек сбило мостами. Но мы все-таки ехали. Это было в октябре 1917 года. Добравшись до Москвы, мы кое-как устроились в вагон, впихнулись. Ведь мы были не очень разборчивы, я и мой спутник, Егор Петров. Мы были рядовыми Ольвиопольского полка. Наш полк был расформирован. Мы стремились в Петроград, о котором говорил весь мир. Я ехал домой, я в Петрограде родился. А у Егора были совсем иные причины для этой поездки. Да, когда я сейчас вспоминаю об Егоре, мне кажется, что я вспоминаю какую-то сказку. Егор говорил мне, что все солдаты должны ехать в Петроград, чтобы освободить Ленина из плена, что Ленин взят в плен капиталистами. Я с газетами в руках доказывал ему, что это его фантазия, что Ленин избегнул ареста, что по решению партии большевиков он где-то скрывается. Но все мои доводы были бессильны. Егор даже не спорил со мной. Он хмурил брови и, сделав хитрые глаза, шептал мне, что все это брехня, что газеты нарочно замазывают это дело... Каюсь, впоследствии я понял Егора, но в ту минуту он казался

мне даже не совсем нормальным человеком. Он почти не ел, не пил в течение последних четырех суток, так он рвался в Петроград.

Мы приехали вечером.

С Николаевского вокзала мы вышли на Знаменскую площадь. Высоко в небе метался зайчик прожектора. Этот таинственный огонек над необъятным, пустынным городом еще больше усиливал беспокойство. Гулкие и тревожные шаги Егора нарушали тишину улиц. Когда мы очутились у наших ворот, сердце мое сжалось от боли. Мы напрасно стучали. Три года жил я этой минутой возвращения, но всегда она представлялась мне совсем иной, чем сейчас. Я думал, что мы пройдем мимо нашего дома под музыку, и соседи, завидев меня, побегут к моей матери, она бросится вниз по лестнице навстречу сыну... Эти мечты были позаимствованы из картин, из книг. Мы же, как воры, не могли попасть в глухо запертый, невзрачный дом на Полтавской улице, неподалеку от вокзала. Егор рассердился и звезданул прикладом о калитку. Тогда из-за ворот мы услыхали испуганный голос:

— Кто там?

— Свои... Солдаты! — басом ответил Петров.— Или ты откроешь, или мы тебе высадим ворота!

— А почему свои? — сказал уже другой голос, более молодой и нахальный.

— С третьего номера...— заторопился я, проговаривая все сразу.— Вернулся с фронта...

За воротами люди советовались. Наконец мы услыхали скрип замка. Я вспомнил этот звук. Калитка открылась не совсем... Она была на цепи... Я увидел нашего домовладельца. Он старался рассмотреть незнакомого солдата.

— Здравствуйте, Семен Семенович...— сказал я.

Я назвал себя, старик ахнул и снял цепочку. Мы очутились в подворотне. Рядом со стариком стоял мальчишка в драповом пальто и в студенческой фуражке. За плечом у него болталось двуствольное ружье.

— Вы что же, на уток собрались или на зайцев? — насмешливо спросил Егор.

Студентик сообщил, что они здесь караулят по приказу комитета спасения родины и революции.

— Да разве революцию спасают под воротами? Что это за комитет?

— В городской думе,— ответил студентик.

— Ах, вот почему весь город на запоре... Нашлись спасители! Народ обманывают...— пренебрежительно обо-

рвал его Егор.— Эх, ты... головка ловка! На головке просвещение, а в головке тьма.

И Егор так выругался, что студентик прислонился к стенке.

Мать согрела нам чаю, подала еды. Егор чувствовал себя прекрасно. Похоже было, что он давно дожидался этого приезда в Петроград. С азартом и увлечением он рассказывал старухе о наших фронтовых делах.

— Наступили торжественные времена, мамаша,— говорил он.— Ленин — народный человек, корень наш... И произрастет дерево, и зацвести должно... Вот ты жалуешься, мамаша, на разруху... А мы, солдаты румынского фронта, рады тому...

Он не успел кончить фразы, как вздрогнуло и даже заныло оконное стекло.

— Восьмидюймовая...— прислушавшись, пробормотал Егор.

Мать перекрестилась.

— Большевики... Восстание у них сегодня.

— Сегодня? То-то, я думаю... Помнишь, комиссар какой-то на вокзале собирал солдат... Я сразу почувствовал, будто что-то началось. Да ты меня заторопил: «Домой, домой!» Вот тебе и домой... А там уж начали! Конечно, с вокзалов начали. А мы домой... Вот дела! Эх, парень, сбил ты меня... Значит, Ленин здесь! А ты говоришь — скрылся.

Егор побледнел и с укоризной посмотрел на меня. Потом, сомкнув брови, он встал, отпихнул от себя табуретку.

— Довольно возились тут с чаями... Пойдем! — приказал он мне.

Мать испугалась.

— Куда же вы, Егор Петрович?

— На улицу! За тем ехали!

Мне очень не хотелось оставлять тепло, свет... Оторванный от всего этого, я по-иному жил на фронте. Там нечего было жалеть. Жизнь была там грубей гвоздя.

— Город покажешь,— глухо проворчал Егор.

Очевидно, он понял, о чем я думал...

Я выбежал из комнаты, мать кинулась за мной. Егор неодобрительно посмотрел на нас обоих. Потом, войдя вслед за нами в кухню, он дотронулся до моего плеча и подтолкнул меня к старухе.

— Все-таки одна ведь на всю жизнь... Простись...

Я чмокнул мать. Он же по-настоящему обнял ее. Она заплакала. Мне сделалось стыдно, я поскорее взял винтовку, и мы ушли.

В темноте на Старом Невском мимо нас шмыгнул какой-то солдат. Егор ловко схватил его за плечо.

— Постой, товарищ... Какого гарнизона?

— Петроградского... Из третьего Финляндского полка.

Парень поправил папаху.

— Ты знаешь... где сейчас Ленин?..— неожиданно спросил Егор, не выпуская парня из рук.

— Не... не знаю.

— Что это такое? Петроградский гарнизон и ничего не знает.

— Я молодой еще...— оправдывался парень; он глядел на Егора изумленными глазами.— В Смольный поди... Делегаты наши в Смольном всю ночь будут. Там все известно...

Парень принялся объяснять, но Егору уже неинтересно было слушать... Он потянул меня, и мы зашагали дальше, оставив на перекрестке удивленного солдата. Егор часто снимал фуражку, вытирал пот, какие-то мысли томили его. Он требовал, чтобы я вел его самым кратчайшим путем.

Я не узнал Смольной площади. Она превратилась в вооруженный лагерь. Грузовики привозили ящики с наганами. Прямо с грузовиков раздавались патроны и оружие красногвардейским отрядам. Баррикады из дров были сложены около Смольного. В саду собирались люди. Некоторые тут же учились революьверной стрельбе. У главного входа стояли орудия. Кто-то тащил в коридор пулеметы. Броневики тарахтели под деревьями, наполняя воздух отработанным, удушливым газом. Смольный в сизом холодном тумане напоминал ярко горящими окнами огромный корабль. Красногвардейцы сказали нам, что в Большом колонном зале идет Второй съезд Советов.

— И Ленин там? — тихо, даже заикнувшись от волнения, спросил Егор.

— Конечно,— коротко ответил рабочий в меховой шапке.

Грудь у него была опоясана пулеметной лентой крест-накрест. Нервные, быстрые глаза внимательно скользили по Егору, но, успокоившись, он усмехнулся и сказал с какой-то особенной теплотой:

— Там батька... Работает... Но только здесь стоять нельзя, проходите, товарищи.

— Я пойду туда,— шепнул мне Егор.

Я попытался его отговорить:

— Тебя же не пустят!.. Видишь, караул у всех спрашивает пропуск.

— Нет, я пойду... Меня пропустят.

Кто бы мог удержать Егора?.. Какая сила? Он исчез, попросив меня ждать его полчаса...

— Стой там! — сказал он мне.

Я стоял больше часу у деревянного трактира «Хижина дяди Тома», на противоположной стороне огромной Смольнинской площади. Сюда красногвардейцы и солдаты забегали согреться стаканом жидкого чая. Площадь была черна от людей и машин.

Петроград слушал отдаленные раскаты выстрелов. Я думал, что мне уже не встретить Егора. Но он, как всегда, появился внезапно. Расхлябанная машина вдруг заскрежетала, остановилась, обдав меня клубами черного, густого дыма. Сверху, точно с темного неба, я услыхал веселый голос Егора:

— Едем... Садись.

Чьи-то руки помогли мне взобраться. Грузовик дернулся. Я упал на кого-то... Ныряя и качаясь, мы бешено неслись по улицам.

Егор крепко стиснул меня и, торжествуя, прокричал в ухо:

— Видел... Ленина видел!

Наш отряд был отправлен к Летнему саду. Здесь грузовик сбросил нас и опять умчался в темноту.

На берегу Лебяжьей канавки горели костры. Молчаливые, полуобнаженные деревья еще более подчеркивали необычайность этой звездной и почти безветренной ночи. Редкие тучи приклеились к небу. Люди говорили шепотом и грели над огнем руки. Разговоры были самые простые.

— У нас сегодня стирка...— задумчиво сказал один из красногвардейцев, молодой парень в новой кожаной тужурке. Он двигался, и куртка на нем хрустела и пахла, точно яблоко.

— Мыло-то достали? — поинтересовался Егор.

— Мыло есть... Все из дому ушли. Папаша мой с Путиловца, брат двоюродный да я... Ну, матери одной скучно.

— Понятно...

Егор вздохнул и вытащил из костра уголек.

— Никого я так не жалею, как женщин,— точно самому себе сказал Егор, закуривая.— Вот мы приставили их к корыту, царствуй у корыта. Вот твое счастье...

— Погоди, скоро забунтует баба,— сказал пожилой рыжий ратник. Выгоревшая фуражка сохраняла еще след от ополченского креста. Он сидел на корточках, впившись взглядом в горящие головни, будто потеряв что-то в костре.

Егор спросил его:

— Какой губернии?

— Вологодские.

— Бабу-то небось согнул в бараний рог?

— Мы воевали...— уклончиво отозвался ополченец.

— Воевали! — заспорил Егор.— А баба твоя не воевала? Сколько у тебя ребят?

— Пяток набрался.

— Видишь... Пять ртов! Пять душ! Надо было отвоевать их, пока ты на службе.

— Верно сказано...— горячо поддержали остальные.— Бабам в наши времена не легко пришлось.

Но ополченец не сдавался:

— Баловства тоже много пошло, избаловалась баба.

Егор покраснел и цыкнул на него:

— А ты не баловал? В Галиции по сеновалам не валялся?

Все захохотали и сам ополченец, засунув руку под фуражку.

— Мне что... Я — как ветерок.

— Вот и видно, что все мы ветерки. Покрутил и улетел... А кто виноват? Баба же...

— Верно...— опять поддержали Егора.— Скоро и баба свое спросит.

Один только ополченец еще пытался сопротивляться.

— Погоди, дело не в этом,— говорил он.— На германский фронт меня погнали, я шел! А сюда я пришел добровольно. И ты, и он, и все мы пришли добровольно. Здесь наша воля. За Советскую власть идем. За мир и пострадать можно... А где баба? Почему ее здесь нет?

Егор разозлился:

— Да ведь ты же оставил ее у корыта... Погоди да погоди... Я погожу, и ты погодишь... А время не погодит. Придет время, когда наша баба станет уже не тем, чем была. Будет она вольная. И вот такие, как ты, сознательные на четвертку табаку, поклонятся ей в ножки... Вот какая баба вырастет! Вот и за это, помимо всего прочего,

мы сейчас идем. Мы идем сейчас по чувству, чтобы всю жизнь перевернуть... Понимаешь?

Люди взглянули на Егора. Догорели костры. Стихла беседа.

Мы посматривали вдаль, ожидая ординарца. Наш командир, опустив голову, спокойно похаживал в стороне от нас. Это не понравилось Егору. Он подозрительно следил за ним. Наконец не вытерпев, задал ему какой-то вопрос. Тот ответил неохотно, односложно. Егор чиркнул спичкой.

— Ребята...— крикнул он, осмотрев командира.— Это бывший человек!

Народ обступил их. Офицер испугался. Хриплым голосом он очень длинно и путано пытался объяснить, что в эту ночь ему хотелось своей кровью искупить все грехи перед народом.

— Какие грехи? — Егор неодобрительно крякнул.— О каких грехах мы будем говорить? Расквакался, что старая баба. Ты лучше объясни, почему мы здесь сидим и ждем у моря погоды... Что мы пришли, площадь сторожить?

Красногвардейцы зашумели и увели офицера к Фонтанке. Мы двинулись к пыльному голому Марсову полю. Маленький бронзовый Суворов глядел на север. Мимо нас, пересекая огромнейшую площадь, проскакали галопом две батареи.

— Константиновское училище отступает...— сказал кто-то.

Мы увидели только спины ездовых-юнкеров.

Егор находился в голове отряда. Мы поравнялись с длинным, строгим зданием Павловских казарм. Лепные орлы, раскинув крылья, приготовились лететь с фронтона. По пустым и черным окнам видно было, что в казармах не осталось ни души. Стрельба у Зимнего дворца усиливалась. На углу мерз часовой Павловского полка, кутаясь в короткую пехотную шинель. Мы прошли мимо него, невольно прибавив шагу. Штабной пикет направил нас в сторону Мойки. Везде густой цепью держались вооруженные рабочие и воинские батальоны. Было тесно. Несмотря на это, отряды в торжественном порядке ждали своего часа. Лица, камни, здания, вся эта ночь, нависшая над столицей, говорили о мужестве. Мы мечтали только об одном, чтобы нас скорее послали на штурм дворца. Перестрелка внезапно стихла. Мы ждали криков наступающего отряда. Их не было. Где-то рядом, почти за

нашей спиной, захлопал пулемет. Тревога оказалась ложной. Это автомобиль перекатился через горбатый мост канала, стреляя мотором. Медленно пробравшись сквозь наши ряды, он задел нас лучом своей единственной фары.

Три человека прошли вдоль чугунных перил Мойки. Разглядывая нас, они подошли к автомобилю. Затем один из них, коренастый, в шинели и с трубкой в зубах, отделился от своих и пригласил к себе командиров всех отрядов. Я не слыхал, что он сказал Егору, но вслед за этим Егор велел нам построиться. У Певческого моста он разделил нас на три цепи. Я остался в первой, стараясь не терять Егора из виду.

Александровская колонна подымалась в небо, как черная свеча. В Зимнем, скрывавшем старое правительство, то загорались, то гасли огромные окна, как будто люди, спрятавшиеся за ними, увлеклись какой-то странной игрой.

К правому и левому флангу Дворцовой площади часто подъезжали автомобили революционного штаба. Выли сирены броневиков. Штурмом руководил Сталин. Люди набрасывались на каждую машину, желая узнать все новости из Смольного. Под высокой красной аркой Росси, за поворотом, на Морской пылали яркие костры, освещая мраморный фасад какого-то банка. Солдаты сидели около костров, сжавшись в кучу.

Из-за дворцовых баррикад, делая короткие передышки для перемены ленты, взвизгивали пулеметы. Цель представлялась нам близкой. Каждый из нас надеялся живьем взять Керенского... Отовсюду доносились голоса наших отрядов. Они стягивались кольцом вокруг Зимнего. Площадь шумела, точно море. В Александровском саду кто-то зажег факел, озарив кружевные сучья лиц. Может быть, это было сигналом, так как сейчас же ответила наша артиллерия с Петропавловской крепости. Егор приподнялся. Тень его под голубым прожектором на мгновение пересекла стену гвардейского штаба.

— С именем Ленина вперед! — крикнул он.

Я не помню, как это было сказано... Но даже теперь мне вспоминается негромкий голос Егора, который я услыхал среди тысячи людей, гудевших около нас, точно огромный улей.

Мы выскочили из-под арки.

Открылись ворота дворца. Юнкера выкатили два орудия. Егор отправил свои цепи навстречу им. Работая винтовкой, мы прорвались к воротам, опрокинув юнкеров, кинулись в подвал, на лестницу, думая оттуда проникнуть дальше, внутрь дворца, и тут наткнулись на огонь засады.

В подвальной тьме мы еле-еле различали друг друга. Часть бойцов осталась в подвале, часть последовала за Егором в коридор первого этажа, тускло освещенный электричеством. Там на полу вдоль окон на грязных матрацах лежали юнкерские роты. Пахло нечистотами и по́том. Всюду валялись объедки, мусор, окурки, пустые бутылки из-под старого французского вина. Юнкера пограбили дворцовый погреб.

Среди юнкеров стоял дворцовый слуга, низенький, седой швейцар в длинной темно-синей ливрее, обшитой золотым галуном. На золоте воротника были вытканы черные императорские орлы. Бритые, впавшие, почти черные от ужаса губы бормотали что-то по привычке, по инерции:

— Господа юнкера, так же нельзя... Это воспрещено, господа...

Старик закрыл глаза, как будто душа его не могла вынести всего этого развала. Молодые люди, полусолдаты, полуофицеры, с блестящими шевронами на погонах, именно те, кого он привык считать защитниками порядка, превратили дворец в помойку и толклись здесь, точно свиньи.

Юнкера, перепугавшись красногвардейцев и солдат, бросили оружие. Другие решили удрать. Егор не преследовал их. Он ждал, когда к этому месту подтянется весь его отряд... Из группы юнкеров вышел молодой, изящный прапорщик. Угадав в Егоре командира, он отдал ему честь.

— Сопротивление бессмысленно,— сказал он и предложил Егору проследовать вместе с ним в штаб Зимнего дворца.

— Зачем? — спросил Егор.

— В качестве парламентера,— ответил прапорщик.— Мы сдадимся... Насколько мне известно, вы же не хотите зря лить человеческую кровь... Мы — тоже!

Прапорщик покраснел. Егор поверил его детскому волнению и голубым глазам, в которых можно было прочитать страх и надежду. Егор задумался только на минуту, внезапно его окружили юнкера, и так же внезапно ими была открыта стрельба из-за угла вдоль коридора. Мы кинулись к лестнице, отстреливаясь на ходу.

К утру бой стих. Советская власть победила. На булыжнике площади валялись расстрелянные патронные

гильзы и разорванная пополам буханка хлеба. Арестованных министров повели по набережной в Петропавловскую крепость. Мы хотели тут же рассчитаться с ними, но моряки нам не позволили. Часовые уже несли караул около дворца. В садике, за оградой с царскими вензелями, лежали убитые в эту ночь матросы, солдаты и красногвардейцы. Их было немного. Здесь я нашел Егора. Глаза широко раскрыты, брови высоко подняты. Я увидел взгляд чистый и спокойный.

Несколько лет назад случайно мне довелось встретить человека, видевшего, как погиб Егор. Он сообщил мне все подробности предательского убийства.

Обезоруженного, избитого Егора поставили к длинному столу, покрытому тонким красным сукном. Маленький бронзовый шандал с двумя зелеными шелковыми колпачками выхватывал из тьмы незначительный кусок почти пустого кабинета.

Инженер Пальчинский, облеченный особыми полномочиями Временного правительства, чувствовал себя диктатором Петрограда. Он сидел за столом, поминутно оглядываясь на окружавших его царских офицеров и генералов. Полувоенная форма нравилась ему. Он наслаждался ею. От измятого дорогого френча пахло шипром. Пальчинский нехотя задержал взгляд на Егоре.

— Ну-с... Что скажете?

Егор молчал.

Брезгливо постучав ладонью по столу, Пальчинский обратился к маленькому, вертлявому толстяку в генеральских погонах:

— Меня забавляет одно, ваше превосходительство... На что надеется эта кучка? Ведь через несколько дней все равно мы задавим их.

Егор посмотрел на Пальчинского, как на сумасшедшего. Багратуни, ничего не ответив, безразлично выпятил губы. Он стоял у окна, выходившего на площадь. Там вспыхивали выстрелы.

— Россия с нами,— как будто для себя, твердо и тихо сказал Егор.

Тогда оба они, и Багратуни и Пальчинский, обернулись к Егору.

— Разве вся Россия — солдаты? — спросил Пальчинский, и его губы изобразили что-то вроде ядовитой улыбки. Вопросы служили Пальчинскому только предлогом. Очевидно, командир восставших отрядов вызвал

в Пальчинском просто экзотическое любопытство и ненависть.

— Россия с нами...— повторил Егор.

— Вы знаете, что вам грозит?

— Что? — Егор усмехнулся.

— Вы ведь офицер?

— Нет.

— Нет? Обыкновенный солдат?

В голосе у Пальчинского прозвенела удивленная нотка, и он даже помог себе жестом.

— Рядовой Егор Петров... Так именует устав! — усмехнулся снова Егор.— Вот что, ваше благородие... Или по-благородному кончайте лавочку, тогда действительно пошлите меня парламентером, или...

Тут он широко и гордо взмахнул рукой.

— А между прочим, что бы со мной ни случилось, вам-то определенно могила! Теперь мы говорим всему миру...

Пальчинский дернул губой, вскочил.

Адъютанты Багратуни вытолкнули Егора. Они убили его двумя выстрелами, здесь же, возле высокой белой колонны.

1937—1944

Борис Лавренев

(1891—1959)

ВЫСТРЕЛ С НЕВЫ

23 октября 1917 года шел мелкий дождь. «Аврора» стояла у стенки Франко-русского завода. Место это было хорошо знакомо старому крейсеру. Это было место его рождения. С этих стапелей в 1900 году новорожденная «Аврора» под гром оркестра и салют, «в присутствии их императорских величеств», скользя по намыленным бревнам, сошла в черную невскую воду, чтобы начать свою долгую боевую жизнь с трагического похода царской эскадры к Цусимскому проливу.

По мостику, скучая, расхаживал вахтенный начальник. Направо медленно катилась к взморью вспухшая поверхность реки серо-чугунного цвета, покрытая лихорадочной рябью дождя. Налево — омерзительно грязный двор завода, закопченные здания цехов, черные переплеты стапельных перекрытий, размокшее от дождя унылое пространство, заваленное листами обшивки, плитами брони, бунтами заржавевшей рыжей проволоки, змеиными извивами тросов. Между этими хаотическими нагромождениями металла стояли гниющие красно-коричневые лужи, настоянные ржавчиной, как кровью.

Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей клеенке каплями

тусклого серебра. Капли эти висели на измятых щеках мичмана, на его подстриженных усиках, на козырьке фуражки, и со стороны могло показаться, что вся фигура вахтенного начальника истекает слезами безысходной тоски.

Так, собственно, и было. Вахтенный начальник смертельно скучал. С тех пор как стало ясно, что все рушится и адмиральские орлы никогда не осенят своими хищными крыльями мичманские плечи, мичман исполнял обязанности, изложенные в статьях Корабельного устава, с полным равнодушием, только потому, что эти статьи с детства въелись в него, как клещи в собачью шкуру. Он сам удивлялся порой, почему он выходит на вахту, когда вахта обратилась в ерунду. Неограниченная, почти самодержавная власть вахтенного начальника стала лишь раздражающим воспоминанием. От нее сохранилось только сомнительное удовольствие — записывать в вахтенный журнал скучные происшествия на корабле.

Такую вахту не стоило нести. Офицеры с наслаждением отказались бы, если бы не странное и необъяснимое поведение матросов. Нижние чины, внезапно превратившиеся в граждан и хозяев корабля, несли сейчас корабельную службу с небывалой доселе четкостью и вниманием. Матросы держались подчеркнуто подтянуто. Корабль убирался, как будто в ожидании адмиральского смотра. Часовые у денежного ящика и у трапа стояли как вкопанные. Эта матросская ретивость к службе, в то время как ее не требовал и не смел требовать командный состав, казалась офицерам непонятной и даже пугала их.

Вот и сейчас. Вахтенный начальник нагнулся над стойками левого обвеса мостика и лениво наблюдал разыгрывающуюся сценку. Шлепая по лужам, к мосткам, перекинутым со стенки на борт крейсера, шел человек в длинной кавалерийской шинели. Полы, намокшие и отяжелевшие, бились о сапоги, как мокрый бабий подол. На голове шедшего была защитная фуражка английского офицерского образца. Он взошел на мостки. Вахтенный начальник равнодушно наблюдал. С утра до ночи на крейсер шляется всякая шушера. Представители всяких там партий, демократы и социалисты, черт их пересчитает. Еще совсем недавно нога штатского не смела вступить на неприкосновенную палубу военного корабля. А теперь...

Ну и пусть ходит, кто хочет. И чего ради часовой у мостков пререкается с этим типом? Мичман равнодушно, но с тайным злорадством наблюдал, как часовой прегра-

дил дорогу посетителю, как тот, горячась, говорит что-то и как часовой холодно осмотрел гостя с ног до головы, свистнул, вызывая дежурного. Такое соблюдение формальностей было ни к чему, но все же умаслило мутящееся сердце мичмана.

Подошедший дежурный взглянул в предъявленную посетителем бумагу и повел его за собой. Вахтенный начальник разочарованно зевнул и зашагал по мостику, морщась от дождевых капель.

Только что назначенный комиссаром «Авроры» минный машинист Александр Белышев хмуро прочел поданную посетителем бумагу. Уже то, что посетитель представился личным адъютантом помощника министра Лебедева, разозлило комиссара. Он терпеть не мог ни эсеров, ни их адъютантов. В бумаге был категорический приказ морского министра немедленно выходить в море на пробу машин и после этого следовать в Гельсингфорс в распоряжение начальника второй бригады крейсеров.

— Министр приказал довести до вашего сведения, что невыполнение приказа будет расценено как срыв боевого задания и военная измена со всеми вытекающими последствиями,— сказал адъютант казенными словами, стараясь держаться начальственно и уверенно. Ему было неуютно в этой суровой, блестящей от эмалевой краски каюте, за тонкими стенками которой ходили страшные матросы, и он старался подавить свой страх показной самоуверенностью.

— Ясное дело,— сказал Белышев, поднимая на адъютанта тяжелый взгляд, и вдруг улыбнулся совсем детской конфузливой улыбкой.— Мы и так понимаем, что такое измена,— выговорил он значительно, подняв перед своим носом указательный палец, и по тону его нельзя было понять, к кому относится слово «измена».— Стрелять изменников надо, как сукиных сынов,— продолжал комиссар, повышая голос, и адъютанту морского министра показалось, что глаза комиссара, вспыхнувшие злостью, очень пристально уперлись в его лоб. Он поспешил проститься.

После его ухода Белышев пришел в каюту командира крейсера. Командир сидел за столом и писал письма. Слева от него выросла уже горка конвертов с надписанными адресами. Лицо командира было бледно и мрачно. Похо-

же было, что он решил покончить самоубийством и пишет прощальные записки родным и знакомым.

Не замечая унылости командира, Белышев положил перед ним приказ морского министра.

— Когда прикажете сниматься? — спросил командир, вскинув на комиссара усталые глаза.

— Между прочим, совсем наоборот,— ответил, слегка усмехаясь, Белышев.— Комитет имеет обратно приказание Центробалта — произвести пробу машин не раньше конца октября. Так что придется гражданину верховноуговаривающему вытягивать якорный канат своими зубами, и он их на этом деле обломает. В Гельсингфорс не пойдем и вообще не пойдем без приказа Петроградского Совета,— закончил Белышев официальным тоном.

— Слушаю-с,— ответил командир и сам удивился, почему он отвечает своему бывшему подчиненному с той преувеличенной почтительностью, с какой разговаривал с ротным офицером в корпусе, еще будучи кадетом.

— Посторонних нет?

Вопрос был задан для проформы. Комиссар Белышев и сам видел, что в помещении шестнадцатого кубрика не было никого, кроме членов судового комитета, но ему нравилась строгая процедура секретного заседания.

— А какой черт сюда затешется? — ответили ему.— Матросы понимают, а офицера на веревочке не затащишь.

Белышев вынул из внутреннего кармана бушлата конверт. Медленно и торжественно вытащил из него сложенную четвертушку бумаги, разгладил ее на ладони и, прищурившись, обвел настороженным взглядом членов комитета. Это были свои, испытанные, боевые ребята, и все они жадно и загоревшимися глазами смотрели на бумагу в комиссарских руках.

— Так вот, ребятки,— сказал Белышев,— сообщаю данное распоряжение: «Комиссару Военно-революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов на крейсере «Аврора».

Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение на Николаевском мосту».

В кубрике было тихо и жарко. Где-то глубоко под палубами заглушенно гудело динамо, да иногда по подволоку прогрохатывали чьи-то быстрые шаги. Члены коми-

тета молчали. И несмотря на то, что глаза у всех были разные — серые, карие, ласковые, суровые,— во всех этих глазах был одинаковый острый блеск. И от этого блеска лица были похожи одно на другое. Их освещал одинаковый свет осуществляющейся, становившейся сегодня явью вековой мечты угнетенного человека о найденной Правде, которую сотни лет прятали угнетатели.

— По телефону передали из ревкома, что это распоряжение самого Владимира Ильича... Товарищ Ленин ожидает, что моряки не подведут,— добавил Белышев тихо и проникновенно, и опять по лицам пробежал задумчивый и взволнованный свет.

— Ты скажи, Саша, пусть товарищ Ленин пребывает без сомнения,— обронил кто-то,— если он хочет, так скрозь что угодно пройдем.

— Значит, постановлено? Возражений нет? — спросил комиссар. Он был еще молод, молод в жизни и молод в политике, и любил, чтобы дело делалось по всей форме.

Члены комитета ответили одним шутливым вздохом, и это было вполне понятной формой одобрения.

— Тогда предлагаю обмозговать выполнение задачи,— Белышев бережно спрятал в бушлат боевой приказ Петроградского Совета.— Сколько людей понадобится и каким способом навести мост.

— Способ определенный,— сказал, усмешливо скаля мелкие зубы, Ваня Карякин,— верти механизм, пока не сойдется, вот тебе и вся механика.

Но шутка не вызвала улыбок. Настроение в кубрике было особенное, строгое и торжественное, и Ваню оборвали:

— Закрой поддувало!

— Ишь, нашелся трепач... Ты время попусту не засти. Без тебя знаем, что механизм вертеть надо.

С рундука встал плотный бородатый боцманмат.

— Полагаю, товарищи, что дело серьезное. На мосту и с той стороны, на Сенатской и Английской набережной, юнкерье. Сколько их и чего у них есть, нам неизвестно. Разведки не делали. Броневики я у них сам видел. А может, там где-нибудь в Галерной и артиллерия припрятана. От них, гадов, всего дождешься. И думаю, что на рожон переть нечего, а то оскандалимся, как мокрые куры, и дела не сделаем.

— Что ж ты предлагаешь? — спросил Белышев.

— А допрежде всего выслободить корабль из этой мышеловки. Черта мы тут у стенки сотворим. Первое дело — отсюда мы до Английской набережной не достанем

через мост. Второе — на нас могут с берега навалиться. Да и где это слыхано, чтоб флотский корабль у стенки дрался! А потому предлагаю раньше остального вывести «Аврору» на свободную воду для маневра и поставить к самому мосту.

— Верно,— поддержал голос,— нужно к мосту выбираться.

Белышев задумчиво повертел в руках конец шкертика, забытого кем-то на столе.

— Перевести — это так,— сказал он,— да кто переводить будет? На офицерье надежды мало. Они сейчас — как черепаха, богом суродованная. Будто им головы прищемило.

— Пугнуть можно,— отозвался Ваня Карякин.

Белышев махнул рукой.

— Уж они и так напуганы, больше некуда. Начнешь дальше пугать — хуже будет. Теперь с ними одно средство — добром поговорить. Может, и отойдут. А то они даже самые обыкновенные слова не понимают. Я вчера на палубе ревизора встретил, говорю ему, что нужно с базой поругаться насчет гнилых галет, и вижу, что не понимает меня человек. Глаза растопырил, губу отвесил, а сам дрожит, что заячий хвост. Даже мне его жалко стало. Окончательно рассуждение потерял мичманок... Верно, думал, что я его за эти сухари сейчас за борт спущу. Ихнюю психику тоже сейчас взвесить надо. Земля из-под ног ушла...

— Потопить их всех.

— Рано,— твердо отрезал Белышев.— Если б надо было, так нам бы сперва приказали с ними разделаться, а потом мост наводить. Сейчас пойду с ними поговорю толком. Членам комитета предлагаю разойтись по отсекам, разъяснить команде положение. Да присмотреть за эсеровщиной. А то намутят. Еще сидят у нас по щелям эсеровские клопы...

Кубрик ожил. Члены комитета загрохотали по палубе, торопясь к выходу.

Когда Белышев вошел в кают-компанию, был час вечернего чая и офицеры собрались за столом. Но как не похоже было это чаепитие на прежние оживленные сборища. Молчал накрытый чехлом, как конь траурной попоной, рояль. Не слышно было ни шуток, ни беззаботного мичманского смеха. Безмолвные фигуры, низко скло-

нив головы над столом, избегая смотреть друг на друга, напоминали людей, собравшихся на поминки по только что схороненному родственнику и не решающихся заговорить, чтобы не оскорбить звуком голоса незримо присутствующий дух покойника.

При появлении комиссара все головы на мгновение повернули в его сторону. В беззвучной перекличке метнувшихся глаз вспыхнула тревога, и головы еще ниже склонились над стаканами жидкого чая.

— Добрый вечер, товарищи командиры! — как можно приветливее сказал Белышев и, положив бескозырку на диванную полочку, весело и добродушно уселся на диван.

Но, садясь, он зорко следил за впечатлением от своего прихода, отразившимся на офицерских лицах. Некоторые просветлели,— очевидно, приход комиссара не сулил ничего плохого, а сам комиссар был все же парень неплохой, отличный в прошлом матрос и не злой. Двое насупились еще угрюмей. Это были кондовые, негнущиеся, ярые ревнители дворянских вольностей и офицерских привилегий, и самое появление комиссара в кают-компании и его независимое поведение резало как ножом их сердца.

Но этих было только двое. Остальные как будто оттаяли, и, следовательно, можно было говорить.

— Разрешите закурить, товарищ старший лейтенант? — вежливо обратился Белышев к командиру. Командир, не отрывая взгляда от стакана, словно искал в нем потерянное счастье, кивнул головой и глухо ответил:

— Прошу.

Белышев достал папироску и неторопливо закурил. Он видел, что офицеры искоса наблюдают за струйкой дыма, вьющейся от его папиросы, и это смешило его. Он глубоко затянулся и внезапно сказал, как оторвал:

— Через час снимаемся.

Офицерские головы вздернулись, как будто всеми ими управляла одна нитка, и повернулись к комиссару. Штурман нервно звякнул ложкой о стакан и, передернув плечами, спросил:

— Позволено знать, куда?

— А почему ж не позволено,— беззлобно ответил Белышев.— Петроградский Совет приказал перевести крейсер к Николаевскому мосту, навести мост и восстановить движение, нарушенное контрреволюционными силами Временного правительства.

Штурман вздохнул и зазвякал ложкой. Жирный артиллерист, бывший прежде заправским весельчаком и не

раз смешивший матросов забавными рассказами, а теперь потускневший и слинявший, словно его выкупали в щелочи, не подымая головы, спросил напряженно и зло:

— А приказ комфлота есть?

Белышев пристально посмотрел на него.

— Проспали, товарищ артиллерист,— сказал он спокойно.— Командует флотом нынче революция, а в частности Военно-революционный комитет, которому флот и подчиняется.

— Не слышал,— ответил артиллерист,— я такого адмирала не знаю.

Артиллерист явно задирался и вызывал на скандал. Белышев понял и, не отвечая, снова обратился к командиру:

— Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться.

Командир медленно поднялся. Руки его бессильно висели вдоль тела. Губы мелко дрожали. На него было жалко и смешно смотреть. Командир был выборный. Еще в февральский переворот команда единогласно выбрала его на пост командира после убийства прежнего командира, шкуры, дракона и истязателя. Новый командир был либерал, еще до революции читал матросам газеты и покрывал нелегальщину. Команда искренне любила его, как любила всякого, кто в жестокой каторге флота относился к номерному матросу, как к живому человеку. Команда и сейчас не утратила доброго чувства к этому тихому и мягкому интеллигенту. Но командир был выбит из колеи. Он был во власти полной раздвоенности и растерянности.

— Вы хотите вести крейсер к Николаевскому мосту?

— А то куда ж? — удивился Белышев.— Как будто ясно сказано...

— Но... но...— командир тщетно искал убегающие от него слова,— но вы понимаете, товарищ Белышев, что это... это невозможно?

— Почему? — тоном искреннего и наивного изумления спросил комиссар.

— Но дело в том... С начала войны расчистка реки в пределах города не производилась,— быстро заговорил командир, обрадованный тем, что уважительная причина технического порядка, прыгнувшая в мозг, дает возможность правдоподобно и без ущерба для революционной репутации объяснить отказ.— Совершенно неизвестно, что происходит на дне. Фарватер представляет собой полную загадку. Я несу ответственность за крейсер, как боевую

единицу флота. Мы только что закончили ремонт и можем обратить корабль в инвалида, пропороть днище... Я... Я не могу взять на себя такой риск.

Артиллерист злорадно и весело кашлянул. Это было явное поощрение командиру. Но Белышев оставался спокоен, хотя мысль работала быстро и ожесточенно. Он понимал, что командир сделал ловкий ход в политической игре. Это было похоже на любимую игру в домино, когда противник неожиданно поставит косточку, к которой у другого игрока нет подходящего очка. Можно, конечно, обозлиться, смешать косточки и прекратить игру, вызвав на подмогу команду, пригрозить. Но хороший игрок так не поступает, а Белышев играл в «козла» отменно.

Он только искоса взглянул на артиллериста, и кашель завяз у того в горле.

Потом, обращаясь к командиру, Белышев произнес, напирая на слова:

— Соображение насчет фарватера считаю правильным.

Офицеры переглянулись: неужели комиссар сдаст?

Но радость оказалась преждевременной. Сделав паузу, Белышев продолжал:

— Крейсером рисковать нельзя, товарищ старлейт. Мы за него оба отвечаем. И я под расстрел тоже не охотник... Но приказ есть приказ. Мы должны передвинуться к мосту. Через полчаса фарватер будет промерен и обвехован...

Он с трудом удержался от победоносной усмешки. Удар был рассчитан здорово. Командир проиграл. Ему некуда было приставить свою косточку. Он безнадежно оставался «козлом». В кают-компании стало невыносимо тихо.

Белышев взял бескозырку и пошел к выходу. В дверях остановился и, оглядев растерянные лица офицеров, строго и резко закончил:

— Предлагаю от имени комитета товарищам командирам до окончания промера не выходить на палубу.

— Это что же? Арест? — вскинулся артиллерист.

— Ишь какой скорый! — засмеялся Белышев.— Зачем? Нужно будет — успеем. Просто дело рискованное. Могут внезапно обстрелять, а я за вас, как за специалистов, вдвойне отвечаю. До скорого...

Дверь кают-компании захлопнулась за ним. Офицеры молчали. Это молчание нарушил штурман. Он покачал головой и, как бы разговаривая с самим собой, сказал вполголоса:

— А молодцы большевики, хоть и сукины дети!

Шлюпка покачивалась на черной воде у правого трапа. Расставив вооруженных матросов по левому борту, обращенному к территории завода, осмотрев лично пулеметы и приказав внимательно следить за всяким движением на берегу, Белышев перешел на правый борт к трапу. Четверо гребцов спускались в шлюпку. На площадке трапа стоял секретарь судового комитета, сигнальщик Захаров, застегивая на себе пояс с кобурой. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной бумагой с проколотым в ней иглой крошечным отверстием. Узкий, как вязальная спица, лучик света выходил из отверстия.

— Готов, Серега? — спросил Белышев, кладя руку на плечо Захарова.

— А раньше? — ответил Захаров любимой прибауткой.

— Гляди в оба. На подходе к мосту будь осторожней. Я буду на баке у носового. Если обстреляют, пускай ракеты в направлении, откуда ведут огонь. Тогда мы ударим. Ну, будь здоров.

Они крепко сжали друг другу руки. Много соли было съедено вместе в это горячее времечко. И вот веселый, лихой парень, товарищ и друг, шел на тяжелое дело за всех, где его могла свалить в ледяную невскую воду белая пуля.

У Белышева защекотало в носу. Он быстро отошел от трапа. Шлюпка отделилась от борта и беззвучно ушла в темноту. Комиссар прошел на полубак. Длинный ствол носовой шестидюймовки, задравшись, смотрел в чернильное небо. Чуть различимые в темноте силуэты орудийного расчета жались друг к другу. Ночь дышала тревогой. Белышев прошел к гюйсштоку. Неразличимая пустыня воды глухо шепталась перед ним. За ней лежал город, чудовищно огромный, плоский, притаившийся. Город лощеных проспектов, дворцов, город гвардейских шинелей с бобровыми воротниками, город министерских карет и банкирских автомобилей. Город, вход в который был свободен для породистых собак и закрыт для нижних чинов. Белышев чувствовал, как этот город нужно было уничтожить, чтобы на месте его создать новый — здоровый, ясный, солнечный, широко открытый ветрам и людям.

Набережные были темны. Фонари не горели. Зыбкие и смутные тени передвигались за гранитными парапетами. Вдалеке, очевидно с петропавловских верков, полосовал сырую мглу бледно-синий меч прожектора. Он то взлетал

ввысь, то рушился на воду, и тогда впереди проступали четкие разлеты мостовых арок и вода стекленела, светясь.

Шаги сзади оторвали Белышева от созерцания. Он оглянулся. Член судового комитета Белоусов торопливо подошел к нему.

— Сейчас захватил в машинном кубрике эсеровского гада Лещенко. Разводил агитацию.

— Где? — спросил Белышев, срываясь.

— Не беспокойся. Забрали и засунули в канатный ящик. Пусть там тросам проповедует.

— Смотрите вовсю. Чтоб не выкинули какой-нибудь пакости,— сурово сказал Белышев.

— Комиссар, шлюпка возвращается,— доложил сигнальщик, острые глаза которого увидели в ночной черноте слабые очертания маленькой скорлупки.

— Ну хорошо... А то уж я боялся за Серегу,— мягко и ласково сказал комиссар и направился к трапу.

Со взятой у Захарова картой промера фарватера, влажной от дождевой воды и речной сырости, Белышев вернулся в кают-компанию. Едва взглянув на офицеров, комиссар понял — за время его отсутствия в кают-компании произошли какие-то события и офицерское настроение сильно изменилось. Офицеры уже не были похожи на кур, долго мокших под осенним ливнем. Они выпрямились, подтянулись, и в них чувствовалась какая-то решимость. Казалось, они опять стали военными.

Это удивило и встревожило комиссара. Но, не давая понять, что он обеспокоился переменой, Белышев спокойно направился прямо к командиру и положил на стол перед ним карту.

На промокшей бумаге лиловели сложные зигзаги химического карандаша, которым Захаров прочертил линию благоприятных глубин.

— Вот,— сказал Белышев,— фарватер есть! Не ахти какой приятный, конечно. Можно сказать, не фарватер, а гадючий хвост. Ишь, как крутится. Но, между прочим, по всей провехованной линии имеем от двадцати до двадцати трех футов. Значит, пройти вполне возможно, и еще под килем хватит. В старое время штурмана друг другу полдюйма под килем желали, а у нас просто раздолье. С хорошим рулевым вывернемся. Начинайте съемку.

— Офицеры имели возможность обсудить положение и уполномочили меня сообщить...

Тут командир захлебнулся словом и замолчал. Белышев с усмешкой смотрел на его пляшущие по скатерти пальцы.

— Ну, что же господа офицеры надумали?

Командир вскинул голову, как будто ему ударили кулаком под челюсть. Мгновенно покраснев до шеи и стараясь смело смотреть в глаза Белышеву, он сказал:

— Поскольку мы понимаем, что перевод крейсера к мосту является одним из актов намеченного политическими партиями плана захвата власти, офицеры крейсера, готовые в любое время выполнить свой боевой долг в отношении внешнего врага, считают себя не вправе вмешиваться в политическую борьбу внутри России. Поэтому... вследствие этого мы...— командир начал запинаться,— мы заявляем, что в этой борьбе мы соблюдаем нейтралитет...

— Так... так...— сказал Белышев беззлобно, кивая головой, и командир покраснел еще гуще.

— Мы ни за какую политическую партию... Мы за Россию... Мы против большевиков тоже выступать не будем...

Белышев сделал шаг вперед и положил свою тяжелую ладонь на плечо командира. От неожиданного этого прикосновения старший лейтенант вздрогнул и молниеносно сел, как будто он был гвоздем и сильный удар молотка с маху вогнал его в кресло. Было ясно, что он испугался.

— Еще бы вы против большевиков выступили! Я так думаю, что у вас и против своей тещи пороху не хватит,— презрительно, но так же беззлобно обронил комиссар и, помолчав немного, покачал головой.— Эхма... а я-то думал, что вы все-таки офицеры. А вы вроде как мелкая салака...

— Ну, ну... комиссар. Просил бы полегче,— ехидно вставил артиллерист.— Посмотрим еще, какая из тебя осетрина выйдет.

То, что артиллерист не трусил, понравилось комиссару. Озлобления у офицеров явно не было. Была полная и жалкая растерянность, которой сами офицеры стыдились. И то, что артиллерист обратился к комиссару на «ты», тоже было неплохим признаком. Пренебрежительное выканье было бы хуже. Ясно одно: офицеры помогать не станут, но и мешать не рискнут. Белышев усмехнулся артиллеристу.

— Навару с меня в ухе, конечно, поменьше, чем с тебя будет,— кивнул он, тоже обращаясь на «ты» и как бы

испытывая этим настроение. Если артиллерист обидится — значит, он, Белышев, ошибся насчет настроения. Но артиллерист не реагировал. Тогда комиссар отошел к дверям, захватив карту.

— Поскольку разговор зашел за нейтралитет, команда не считает нужным применять насилие. Вольному — воля, а вам, господа офицеры, до выяснения обстоятельств придется посидеть под караулом. Прошу прощения... Что же касается корабля, авось сами справимся. Счастливо!..

Была полночь. На баке глухо зарокотал якорный шпиль, и канат правого якоря, заведенного в реку, натягиваясь, вздрагивая, роняя капли, медленно пополз в клюз.

Белышев стоял на мостике. Отсюда лежащий под ногами корабль казался громадным, враждебно настороженным, поджидающим промаха комиссара. Желтый круг от лампочки падал на штурманский столик, на карту промера. Темный профиль Захарова, склонившегося над картой, четко выделялся на бумаге. Карандаш в крепких пальцах Захарова медленно полз по фарватерной линии и, казалось, готов был сломаться.

— Нет,— сказал вдруг комиссар злобно и решительно,— не выйдет эта чертовщина...

— Ты про что? — Захаров оторвался от карты и поглядел на Белышева.

— Пойми ты, чертова голова: если запорем корабль, что тогда делать станешь?

Захаров помолчал.

— А что будешь делать, если не выполним приказ Совета? Одно за одно... Так, выходит, риск — благородное дело... Да ты не дрейфь, Шурка. Рулевых я лучших поставил. Орлы, а не рулевые. А я как-нибудь управлюсь. Насмотрелся за четыре года на дело, невесть какая мудрятина по ровной воде корабль провести.

Белышев выругался. Действительно, другого выхода не было. Если Серега берется, может, и выйдет. Парень он толковый.

Мостик затрепетал под его ногами. Очевидно, в машинном отделении проворачивали машину. Знакомая эта дрожь, оживлявшая крейсер, делавшая его разумным существом, ободрила комиссара. Он подошел к машинному телеграфу, нажал педаль и вынул пробку из переговорной трубы.

— Василий, ты? Здорово... Сейчас тронемся.

Крейсер уже отделился носом от стенки. Вода медленно разворачивала его поперек реки. Пора было давать ход.

Белышев перевел ручку машинного телеграфа на «малый вперед». Палуба снова вздрогнула. В это мгновение на мостик выскочил из люка вооруженный винтовкой матрос.

— Товарищ комиссар... Белышев! — закричал он.

— Чего орешь? — недовольно отозвался комиссар.— Тишину соблюдай.

— Товарищ комиссар! Арестованный командир просит немедленно прийти к нему.

— Черта ему, сукиному сыну, надо! — выругался Белышев.— Скажи — некогда мне к нему таскаться. Пусть ждет, пока операция кончится. Раньше надо было думать.

Матрос замялся.

— Как бы чего не вышло, Белышев,— сказал он, потянувшись к уху комиссара.— Вроде, понимаешь, как бы не в себе командир. Плачет.

— Тьфу, анафема! — сплюнул Белышев.— Волоки его, гада, сюда. Сам понимаешь, не могу уйти с мостика.

Матрос нырнул в люк.

Крейсер набирал ход, выходя на середину реки. Кругом была непроходимая тьма. Голос Захарова сказал рулевым:

— Вон Исаакия макушка поблескивает. На нее правь пока... Одерживай!

— Есть одерживать,— в один голос отозвались рулевые.

Минуту спустя на мостике появился командир в сопровождении конвоира. Шинель командира была расстегнута, фуражка висела на затылке. Даже в темноте глаза командира болезненно блестели.

— Я не могу,— заговорил он еще на ходу,— я не могу допустить аварии корабля. Я люблю свой корабль, я... я помогу вам привести его к мосту, но после этого прошу освободить меня от дальнейшего участия в военных действиях...

Белышев смотрел на искаженное лицо, слабо освещенное отблеском лампочки над штурманским столиком. Он хорошо понимал командира. Он мог бы много сказать ему сейчас. Но разговаривать было некогда. В конце концов, и это большая победа. И Белышев просто сказал:

— Ладно... Вступайте...

Лейтенант шатнулся, всхлипнул, но через секунду выпрямился, и голос его зазвучал по-командирски уверенно, когда он скомандовал рулевым, наклонившись над картой:

— Лево руля!.. Так держать!..

На середине реки внезапно налетел ветер, и хлынул

проливной дождь. Все закрылось сетью мечущихся нитей. С мостика не стало видно полубака.

Сигнальщики, подняв воротники бушлатов, поминутно протирали глаза. Крейсер, извиваясь по фарватеру, медленно полз вперед. Мост должен был быть совсем близко, но впереди лежала та же непроглядная серая муть. Того и гляди, «Аврора» врежется в пролет.

— Мо-ост! — диким голосом рявкнул первый, угадавший в темноте смутные очертания быков.

— Тише! — шикнул Белышев.— Весь город всполошишь.

Под рукой командира зазвенел машинный телеграф. Сначала «самый малый», потом «полный назад». Судорога машин потрясла крейсер.

— Отдать якорь!

Тяжелый всплеск донесся спереди. Резко и пронзительно завизжал ринувшийся вниз якорный канат. «Аврора» вздрогнула и остановилась.

Командир отошел от тумбы телеграфа и, закрыв лицо руками, согнувшись, пошел к трапу. Белышев не останавливал его. Теперь командир был не нужен.

— Прожектор на мост! — приказал комиссар.

Над головой на площадке фор-марса зашипело, зафыркало, замигало синим блеском. Стремительный луч рванулся вперед, прорывая дождевую мглу. Выступили быки и фермы. Слева у берега крайний пролет был пуст.

— Разведен,— злобно вымолвил Белышев, стиснув зубы и сжимая в кармане наган. Он вспомнил фразу из приказа Совета: «Восстановить движение всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами». Он шумно вздохнул и посмотрел вниз, на поднявшиеся стволы носовых пушек. Они застыли, готовые к бою.

Белышев поднял к глазам тяжелый ночной бинокль. В окулярах мост выступил выпукло и совсем близко. Стоило вытянуть руку, и можно было коснуться мокрого железа перил. За ними жались ослепленные молнией прожектора маленькие фигурки в серых шинелях. Комиссар различал даже желтые вензеля на белых погонах гвардейских училищ.

Он опустил бинокль и снял с распорки мегафон. Приставил его ко рту.

Мегафон взревел густым и устрашающим ревом.

— Господа юнкерье,— рычало из раструба мегафона,— именем Военно-революционного комитета предлагается вам разойтись к чертовой матери, покуда целы. Через пять минут открываю по мосту орудийный огонь.

На мосту мигнул огонек и ударил едва слышный одинокий выстрел. Пряча усмешку, Белышев увидел, как юнкера кучкой бросились к стрелявшему и вырвали у него винтовку. Потом, спеша и спотыкаясь, они гурьбой побежали к левому берегу, к Английской набережной, и их фигуры потонули там, слизанные тьмой. Мост опустел.

— Вот так лучше,— засмеялся комиссар, поведя плечами.— Тоже вояки не нашего бога.

Он повернулся к Захарову и властно, как привыкший командовать на этом мостике, приказал:

— Вторую роту наверх с винтовками и гранатами. Катера на воду. Высадить роту и немедленно навести мост.

Запел горн. Засвистали дудки. По трапам загремели ноги. Заскрипели шлюпбалки. Вытянувшись по течению, в пронизанном нитями ливня мраке «Аврора» застыла у моста, неподвижная, черная, угрожающая.

День настал холодный и ветреный. Нева вздувалась. Навстречу тяжелому ходу ее вод курчавились желтые пенистые гребни. Летела срываемая порывами вихря водяная пыль.

Город притих, обезлюдевший, мокрый. На улицах не было обычного движения. С мостика линии Васильевского острова казались опустелыми каменными ущельями.

С левого берега катилась ружейная стрельба, то затихавшая, то разгоравшаяся. Иногда ее прорезывали гулкие удары — рвались ручные гранаты. Однажды звонко и пронзительно забила малокалиберная пушка, очевидно с броневика. Но скоро смолкла.

Это было на Морской, где красногвардейские и матросские отряды атаковали здание главного телеграфа и телефонную станцию.

С утра Белышев беспрерывно обходил кубрики и отсеки, разговаривая с командой. Авроровцы рвались на берег. Им хотелось принять непосредственное участие в бою. Стоянка у моста, посреди реки, раздражала и волновала матросов. Им казалось, что их обошли и забыли, и стоило немало труда доказать рвущимся в бой людям, что крейсер представляет собой ту решающую силу, которую пустят в дело, когда настанет последний час.

Среди дня по Неве мимо «Авроры» прошла вверх на буксире кронштадтского портового катера огромная железная баржа, как арбузами, набитая военморами. Команда «Авроры» высыпала на палубу и облепила борта, приветствуя кронштадтцев, земляков и друзей. На носу баржи играла гармошка и шел веселый пляс. Оттуда громадный,

как памятник, красивый сероглазый военмор гвардейского экипажа зарычал:

— Эй, аврорские! Щи лаптем хлебаете? Отчаливай на берег с Керенским танцевать.

Баржа прошла под мост с гамом, присвистом, с отчаянной матросской песней и пришвартовалась к спуску Английской набережной. Военморы густо посыпали из нее на берег. Аврорцы с завистью смотрели на разбегающихся по набережной дружков. Но покидать корабль было нельзя, и команда поняла это, поняла свою ответственность за исход боя.

С полудня Белышев неотлучно стоял на мостике. С ним был Захаров и другие члены судового комитета. Офицеры отлеживались по каютам, и у каждой двери стоял часовой.

В два часа дня запыхавшийся радист, влетевший на мостик, ткнул в руки Белышеву бланк принятой радиограммы. Глаза радиста и его щеки пылали. Белышев положил бланк на столик в рубке и нагнулся над ним. Через его плечо смотрели товарищи. Глаза бежали по строчкам, и в груди теплело с каждой прочтенной буквой:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Белышев выпрямился и снял бескозырку. С обнаженной головой он подошел к обвесу мостика. Под ним на полубаке стояла у орудий не желавшая сменяться прислуга. По бортам лепились группы военморов, оживленно беседующих и вглядывающихся в начинающий покрываться сумерками город.

С точки зрения боевой дисциплины это был непорядок. Боевая тревога была сыграна еще утром, и на палубе не полагалось быть никому, кроме орудийных расчетов и аварийно-пожарных постов. Но Белышев понимал, что сейчас никакими силами не уберешь под стальную корку палуб, в низы взволнованных, горящих людей, пока они не узнают главного, чего они так долго ждали, ради чего они не покидают палубы, не замечая времени, забыв о пище.

Он вскочил на край обвеса, держась за сигнальный фал.

— Товарищи!

Головы повернулись к мостику. Узнав комиссара, команда сдвинулась к середине корабля. Задранные головы замерли неподвижно.

— Товарищи,— повторил Белышев, и голос его сорвался на мгновение.— Временное правительство приказало кланяться... Большевики взяли власть! Советы — хозяева России! Да здравствует Ленин! Да здравствует большевистская партия и наша власть!

Сотней глоток с полубака рванулось «ура!», и, как будто в ответ ему, от Сенатской площади часто и трескуче отозвались пулеметы. Было ясно, что там, на берегу, еще дерутся. Белышев сунул бланк радиограммы в карман.

— Расчеты к орудиям! Лишние вниз! Все по местам!

Команда хлынула к люкам. Скатываясь по трапам, аврорцы бросали последние жадные взгляды на город. Полубак опустел. Носовые пушки медленно повернулись в направлении доносящейся стрельбы, качнулись и стали.

Опять наступила чернота октябрьской ветреной ночи. От Дворцового моста доносилась все усиливающаяся перестрелка. Черной и мрачной громадой выступал за двумя мостами Зимний дворец. Только в одном окне его горел тусклый желтый огонь. Дворец императоров казался кораблем, погасившим все огни, кроме кильватерного, и приготовившимся тайком сняться с места и уйти в последнее плавание.

Судовой комитет оставался на мостике. Офицеры попрежнему сидели под арестом, кроме командира и вахтенного мичмана. Командир, прочтя радиограмму, сказал, что, поскольку правительство пало, он считает возможным приступить к выполнению обязанностей. Мичману просто стало скучно в запертой каюте, и он попросился наверх, к знакомому делу.

Стиснув пальцами ледяной металл стоек, Белышев не отрываясь смотрел в сторону петропавловских верков, откуда должна была взлететь условная ракета. По этой ракете «Авроре» надлежало дать первый холостой залп из носовой шестидюймовки.

Там было темно. Когда от дворца усиливался пулеметный и винтовочный треск, небо над зданиями розовело, помигивая, и силуэты зданий проступали четче. Потом они снова расплывались.

Сзади подошел Захаров.

— Не видно? — спросил он.

— Нет,— ответил Белышев.

— Скорей бы! Канителятся очень.

Белышев ответил не сразу. Он посмотрел в бинокль, опустил его и тихо сказал Захарову:

— Пройди, Серега, к носовому орудию, последи, чтоб на палубе не было ни одного патрона. Потому что приказано, понимаешь, дать холостой, а ни в коем случае не боевой. А я боюсь, что ребята не выдержат и дунут по-настоящему.

Захаров понимающе кивнул и ушел с мостика. Белышев продолжал смотреть.

Вдруг за Дворцовым мостом словно золотая нитка прошила темную высь и лопнула ярким, бело-зеленым сполохом.

Белышев отступил на шаг от обвеса и взглянул на командира. Глаза лейтенанта были пустыми и одичалыми, и Белышев понял, что командир сейчас не способен ни отдать приказания, ни исполнить его. Мгновенная досада и злость вспыхнули в нем, но он сдержался. В конце концов, что требовать от офицера? Хорошо и то, что не сбежал, не предал и стоит вот тут, рядом.

И, ощутив в себе какое-то новое, не изведанное доселе сознание власти и ответственности, Белышев спокойно отстранил поникшую фигуру лейтенанта и, перегнувшись, крикнул на бак властно и громко:

— Носовое... Залп!

Соломенно-желтый блеск залил полубак, черные силуэты расчета, отпрянувшее в отдаче тело орудия. От гулкого удара качнулась палуба под ногами. Грохот выстрела покрыл все звуки боя своей огромной мощью.

Прислуга торопливо заряжала орудие, и Белышев приготовился вторично подать команду, когда его схватил за руку Захаров.

— Отставить!

— Что? Почему? — спросил комиссар, не понимая, почему такая невиданная улыбка цветет на лице друга.

— Отставить! Зимний взят! Но наш выстрел не пропадет. Его никогда не забудут...

И Захаров крепко стиснул комиссара горячим братским объятием.

Внизу, по палубе, гремели шаги. Команда вылетала из всех люков, и неистовое «ура!» катилось над Невой, над внезапно стихшим, понявшим свое поражение старым Петроградом.

1938

Александр Яковлев

(1886-1953)

ВОССТАНИЕ

1

Весь день Акимка прожил в каком-то восторженном полусне, не разбираясь хорошенько, что творится кругом, почему затеялся бой и нужно ли идти. Темная жажда диковинного, каких-то чудесных возможностей и ярких приключений, что живет в душе каждого юнца, толкнула его пойти в бой. А потом ведь на Пресне шла вся молодежь. Не отставать же такому молодцу, как Акимка. Все товарищи идут, значит... И пошел!

Еще рано утром у ворот фабрики, куда сбежались напуганные ночной стрельбой рабочие, по-настоящему не проснувшиеся, на летучем митинге помощник мастера Леонтий Петрович, хмурый и серьезный, отрывисто говорил:

— Решительный день настал, товарищи! Ежели буржуи победят, пропали все наши свободы и завоевания. Все берись за оружие. Может, такого случая больше не представится. В бой, товарищи!

Те, кто постарше, молчали и хмурились, не могли, должно быть, разобраться. А молодежь отвечала решительно:

— В бой! Долой буржуев! Смерть буржуям!

Акимка привык уважать и слушаться Леонтия Петровича. Серьезный человек. Твердый. Раз говорит — дело говорит. А главное, подраться можно... И вместе с толпой, распе-

вая буйную «Варшавянку», Акимка пошел от ворот фабрики в клуб — записываться в Красную гвардию.

Записывались в штабе у заставы. Слово «штаб» было мелом крупно написано прямо на филенке темной входной двери.

Записывались без всяких формальностей. Незнакомый молодой рабочий в черной, смятой, как блин, фуражке, сдвинутой на затылок, с испитым серым лицом (папироса в углу рта) записывал в синюю ученическую тетрадь имена тех, кто приходил.

— Фамилия? — отрывисто спросил он, когда Акимка с сильно бьющимся сердцем, застенчивый, будто связанный по рукам и ногам, очутился перед его столом.

— Аким Розов! — хрипло ответил Акимка.

— С какой фабрики? — опять спросил рабочий, не поднимая от тетради глаз.

Акимка сказал.

— Номер винтовки? — тем же тоном бросил рабочий.

— Чего? — спросил Акимка, не понимая вопроса.

Но на это рабочему ответил солдат, стоявший у груды винтовок, сваленных на полу здесь же, у стола.

Солдат назвал какую-то длинную цифру и сунул растерявшемуся Акимке в руку винтовку.

— Иди к тому столу,— сказал он, показывая рукой в глубину комнаты, где у другого стола толпились рабочие уже с винтовками в руках.

Акимка, широко улыбаясь, крепко держа винтовку обеими руками, пошел. Он не чувствовал ни рук, ни ног, точно они сделались ватными, и плыл как в тумане. Ему дали какую-то бумажку, патронные сумки из холста, пачки патронов, пояс, а потом молодой солдат, бойкий и веселый, что-то говорил ему о затворе, о том, как надо держать винтовку, брал винтовку из его рук, щелкал затвором и все спрашивал:

— Понял, товарищ?

— Понял,— невнятно ответил ему Акимка, хотя от волнения и новизны впечатлений не понимал ни одного слова.

В углу комнаты у окна рабочие рассматривали только что полученные винтовки, заряжали их, гремели затворами, туго подпоясывались новыми желтыми солдатскими ремнями, прилаживали сумки с патронами и сговаривались, кому с кем идти. В большой комнате было холодновато, дымно и сыро. Пахло махоркой.

— Ага, и Розов с нами! — весело сказал низенький безусый рабочий, когда Акимка подошел к окну.— Записался?

— Записался,— широко улыбаясь, ответил Акимка.

Немного осмотревшись, Акимка увидел у самого окна Леонтия Петровича, перебиравшего пачки патронов. Он аккуратно, как вообще делал все, клал патроны в сумку и говорил, ни к кому не обращаясь:

— Раз на улице баррикады, то мы незамедлительно должны решить, по какую сторону баррикад мы стоим. Иль по эту сторону, иль по ту. В середке да в сторонке теперь стоять нельзя. А к буржуям мы не пойдем. Значит, и говорить много не надо. Бери винтовку и иди бить юнкеров.

— И эсеров,— добавил кто-то насмешливо.

— Что ж,— согласился Леонтий Петрович,— если достойны, их тоже не надо миловать.

— Правильно. Поглядим теперь, чья возьмет.

— И глядеть нечего: мы победим. Это бессомненно.

Акимка был рад, что на него не смотрят. Он прислонил винтовку к стенке и начал подпоясываться и прилаживать патронные сумки. От волнения у него дрожали руки.

Между тем комната наполнялась народом. Входили все новые группы рабочих. Стало шумно. Говорили громко, нервно, будто подбадривали себя, смеялись необычным отрывистым смехом без веселости, а ходили по комнате как-то толчками. Было ясно, что все волнуются. Три солдата, называвшие себя инструкторами, составляли из рабочих взводы Красной гвардии, отсчитывали по двенадцати человек и назначали к ним старшего. Акимку причислили во взвод Леонтия Петровича, который здесь же, в комнате, попытался поставить свою гвардию в ряд и, сдерживая улыбку, сказал:

— Ну, товарищи, у меня команды слушаться! Чтобы все в порядке было! Иначе... Строго, товарищи... Идемте!

Все, подтягиваясь, шумно вышли на улицу.

От дверей клуба по тротуару тянулась длинная очередь желающих записаться в Красную гвардию. Это пришли рабочие с лесных складов, с Прохоровской фабрики, с сахарного и гвоздильного заводов. Среди черных засаленных курток рабочих в очереди резко выделялись синие новенькие шинели трамвайных кондукторов, которые тоже записывались в гвардию. Около дверей на тротуаре и даже на мостовой уже стояла большая толпа женщин и пожилых рабочих, пришедших сюда поглядеть, как «наши пойдут воевать». Смеялись, перебрасывались веселыми шутками, грызли се-

мечки, и все были спокойны и беззлобны, как дети, для которых порой самая смерть — забава. Только молодая женщина с остреньким худым лицом, до самых глаз закрытым черным потрепанным платком, в шубейке, с вытертым и побитым молью воротником, кричала, стоя у самой очереди:

— Вернись, Овдонька! Богом прошу, вернись! Гляди-ка, какой гвардеец нашелся! Шут гороховый! Про детей забыл? Слышишь, Овдонька? Домой иди!..

Овдонька, уже пожилой рабочий, с русой, свороченной набок бородой, в черной нахлобученной шапке, большой и неуклюжий, искоса смотрел на женщину, не покидая очереди.

Было видно, что он стыдится за свою жену: вот у других рабочих жены не пришли сюда ругаться.

— Иди домой,— сказал он.

— А я говорю, не пойду без тебя!

Толпа, с удовольствием слушая перебранку, все же сочувственно и немного насмешливо поддержала женщину:

— Конечно, какая уж тут к черту гвардия, ежели двое детей.

— Записываться должны молодые.

— Знамо, надо молодых. Пущай идут люди слободные...

Высокая властная старуха с суровым лицом вела за рукав к штабу парня лет восемнадцати, у которого в руках была винтовка, а у пояса — холщовая сумка с патронами.

— Иди сейчас же отдай все назад,— сердито говорила она.— Я тебе покажу гвардию!

Парень, красный от стыда, шел, опустив голову, и сердито бормотал:

— Все равно убегу. Не сейчас, так ужо убегу.

А старуха, дергая его за рукав, грозила:

— Я тебе убегу! Ты у меня свету не взвидишь. Вояка какой отыскался!

И, обернувшись к толпе, бросила мельком, словно оправдываясь:

— Дело-то без дураков обойдется...

Акимка испугался. А ведь и с ним то же может случиться. Придет мать, увидит — она, пожалуй, тоже хорошую гвардию задаст. Он испуганно стал осматривать толпу. Но матери, слава богу, не было. Две знакомые барышни смотрели на него и чему-то смеялись. Акимка, будто не замечая их, подтянулся и сказал:

— Ну, товарищи, идемте скорей.

Взводы смешались. Пошли просто толпой человек в пятьдесят. Леонтий Петрович попытался было установить порядок, но потом махнул рукой:

— Сойдет...

2

Шли посреди улицы шумной и веселой гурьбой. А на тротуарах стояли густые толпы народа и смотрели на них. Акимка все еще боялся, что его увидит мать и заставит вернуться, но когда прошли Кудринскую площадь и вышли на Садовую, он успокоился и пошел весело, словно его кто подбадривал. Везде было полно народу. Еще никогда Москва не казалась такой многолюдной, как в первый день гражданской войны. Шумно носились грузовые автомобили с солдатами и рабочими. Слышались крики «ура», отрывочное, нестройное пение и выстрелы со всех сторон...

На Садовой улице пресненцы разделились и пошли к центру города отдельными группами.

Акимка, сдвинув шапку на затылок, шел смело, с самым решительным видом. Когда проезжали автомобили с солдатами, он кричал «ура», срывал с головы обтрепанную шапчонку и отчаянно ею махал. Туго подпоясанный ремнем, подтянутый, взволнованный, он будто плыл в толпе — так легко ему было идти.

И толпа, и улицы, и эти крики «ура», и сам он — все это было таким новым и все так изменилось к лучшему, что Акимке хотелось и петь и смеяться от радости, хотелось сорвать винтовку и долго стрелять в воздух. Мимолетная встреча с соседом по дому, Василием Петряевым, на Страстной площади не оставила в его душе никакого следа. Только когда он отошел далеко, то подумал: «А ведь он маме скажет, что видел меня».

На мгновение стало неприятно, но потом он махнул рукой:

«Э, все равно!»

Вооруженные солдаты и рабочие собирались на Скобелевской площади, в доме генерал-губернатора — старом, желтом, со строгим, красивым фасадом. Здесь был Московский Совет, а сейчас — главный революционный штаб.

Солдаты и рабочие с винтовками в руках один за другим плотной цепочкой входили в парадную дверь, а другие выходили из двери на площадь. Акимка чуть смутился перед

дверью: а вдруг его не пустят? Он вплотную придвинулся к Леонтию Петровичу и уже вслед за ним вошел в вестибюль. И первое, что ему особенно бросилось в глаза и поразило его,— это золоченые перила широкой парадной лестницы.

В вестибюле и на лестнице рабочие и солдаты двигались тесно, плечом к плечу. Винтовки качались над головами. По парадной лестнице лились два потока: один справа — вверх, другой слева — вниз. Теснясь и слегка толкаясь, пресненцы вслед за Леонтием Петровичем стали подниматься вверх. Глухой, однообразный говор лился навстречу.

Сжимаемый людьми, в наивном удивлении полураскрыв рот, Акимка продвигался вслед за Леонтием Петровичем. Он впервые был в этом большом, красивом доме, таком таинственном, где прежде жили только князья, графы и очень важные генералы. Поднимаясь со ступеньки на ступеньку, он смотрел на лепные потолки, на белые блестящие мраморные стены, в которых отражался свет люстры.

Особенно его поразило зеркало во всю стену. В зеркале виднелось множество черных и серых движущихся фигур. Вот мелькнул Леонтий Петрович, а за ним — мальчуган в рыжем пальто, в серой потрепанной шапке, с винтовкой за плечом. Акимка с некоторым трудом узнал себя: да, это он — румяное, круглое лицо улыбается... От зеркала он повернул по лестнице вверх. Вот еще дверь — белая, очень высокая, с позолоченными наличниками. И через нее вслед за другими пресненцами Акимка протискался в белый зал.

Тут, у двери, он на мгновенье остановился. Очень красивый лепной потолок, белые мраморные колонны, огромная люстра, сверкающая множеством огней, привели его в восхищение. С внезапной горячей гордостью он подумал: «Наша взяла!» И оглянулся кругом уже вольно, весело, уже ни чуточки не боясь, что его могут остановить и куда-то не пустить.

Рабочие, солдаты... солдаты, рабочие... Молодые, пожилые, все с винтовками и патронными сумками, а некоторые с пулеметными лентами через оба плеча крест-накрест на груди и на спине, в шапках, фуражках, кепках... Их было больше сотни и даже, как казалось Акимке, тысячи. Все решительные, независимые, с суровыми лицами, они были как полные хозяева в этом красивом, очень большом зале. Глухой говор, точно рокот грозы, несся со всех сторон. Вокруг сияющей люстры сизым облаком медленно крутился табачный дым.

— Тише, товарищи! Тише! — прогремел зычный голос от дальней стены.— Тише! Слушай оратора!

— Тише! Тише! — покатилось по всему залу.— Да тише вы!

Говор постепенно упал.

«Что такое?» — насторожился Акимка и встал на цыпочки, чтобы лучше все видеть.

В середине зала над всеми головами поднялся солдат в серой шапке. Должно быть, он стоял на столе,— таким высоким он показался. Сдвинув шапку на затылок, он закричал:

— Товарищи! Настал решительный час! Сегодня мы начали восстание!

Грозный рокот пронесся по залу.

— Товарищи! Вчера вечером командующий войсками Рябцев и городской голова Руднев потребовали от Военно-революционного комитета, чтобы московский пролетариат и все солдаты были немедленно разоружены. Нынче ночью на Красной площади пролилась первая кровь. Юнкера хотели задержать наших храбрых двинцев, которые шли на помощь Военно-революционному комитету... Несколько наших товарищей убиты в этой первой схватке на Красной площади...

На мгновение он остановился в крайнем волнении. И весь зал вздрогнул от бурных, бешеных криков:

— Смерть юнкерам! Долой буржуев! Смерть буржуям!

Солдат властно поднял руку, требуя тишины. Буря мгновенно стихла.

— Товарищ Ленин в своем письме к москвичам требует, чтобы мы немедленно начали восстание.— Солдат высоко поднял над головой лист бумаги, помахал им, как призывным знаменем.— Товарищ Ленин пишет, что «ждать — преступление перед революцией». Правильно, товарищи! И мы такого преступления не совершим! Мы видим, ждать больше нельзя! Слова Ленина для нас закон! Весь московский пролетариат, все солдаты ныне встали, как один, и идут в смертный бой с белыми! То-ва-ри-щи! Мы не сложим оружия, пока не поставим на колени нашего врага!

И опять буря криков забушевала в зале:

— Урра! Смерть буржуям! Долой юнкеров! Смерть офицерам!

Над головами грозно закачались винтовки. Акимка, подняв над головой винтовку, орал исступленно:

— Бей буржуев!

Солдат еще раз махнул листом, наклонился, исчез в толпе. На его место встал рабочий в черном пальто:

— Товарищи! Ныне мы идем в бой! В смертный бой, товарищи! До последней капли крови...

И весь зал одним дыханием ответил:

— В бой! Ура! Бей буржуев!

— Товарищ Ленин зовет нас на восстание! Товарищ Ленин ведет нас к победе!..

Бурные крики неудержимо прервали речь:

— В бой! Да здравствует товарищ Ленин!

У дальней двери молодые голоса задорно запели «В бой роковой мы вступили с врагами...». Песня вспыхнула, как порох, сразу перекинулась во всю толпу, во весь зал и будто дальше, в коридоры, на лестницу:

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Акимка пел во весь голос, с таким задором, что не чувствовал себя. Вот песня кончилась, вся толпа задвигалась волнами, словно всех охватил порыв — скорей, скорей на улицу, в бой! Акимку охватило нетерпение: скорей же туда, где бьются!.. Он оглянулся. Где же Леонтий Петрович? И где пресненцы? Ни помощника мастера, ни знакомых с Пресни возле него не было. Он чуть испугался: Леонтий Петрович уже ушел в бой, а он отстал?! Нет же, нет, Леонтий Петрович не мог пройти мимо, Акимка заметил бы его. Он где-то здесь, в этой плотной толпе, или, может быть, ушел вон в ту дверь, что виднеется вдали.

Торопливо протискиваясь сквозь толпу, поднимаясь на носках и всматриваясь, не завиднеются ли где знакомая фуражка и бородатое лицо Леонтия Петровича, Акимка обошел почти весь зал. И нет! Все незнакомые!

Из зала он вышел в коридор, заглянул в одну комнату, в другую, в третью. Везде было полно народу, но знакомых нет.

Кудлатый человек, с бумагами в руках, с красной повязкой на рукаве, быстро прошел по коридору. Все поспешно давали ему дорогу. И Акимка узнал, что этот человек — из Военно-революционного комитета.

«Как все тут интересно!»

Ему представилось, сколько теперь он может порассказать матери, знакомым... Он прошел до самого конца коридора, спустился в первый этаж, затем поднялся в третий. Везде шумело море... Только у двух дверей стояли часовые.

— Сюда нельзя, товарищ!

В эти двери проходили по пропускам.

Акимка обошел весь дом, а Леонтия Петровича все нет. В толпе попался знакомый кондуктор трамвая в синей шинели. У него тоже винтовка в руках и патронная сумка у пояса.

— Ты зачем здесь? — крикнул он.

Акимка махнул рукой, улыбнулся: разве непонятно, зачем он здесь? И прошел мимо, ничего не ответив кондуктору.

Все закоулки дома были набиты людьми. На столах и на окнах появились банки консервов, куски хлеба, котелки с недоеденной кашей, чайники. Солдаты пьют чай, что-то жуют, смеются, торопятся...

«Однако как же быть? Куда теперь идти?»

Он опять пробрался в белый зал. Теперь все незнакомые ему казались своими — что-то сроднило его с ними.

В зале высокий человек, в теплом пальто с барашковым воротником, но без шапки, с длинными волосами, растрепанными и повисшими, как темная кудель, поднявшись на стул, надрывно кричал тенорком:

— Тише, тише, товарищи!

Когда шум смолк, волосатый человек сказал:

— Нужен заслон в Камергерском переулке. Товарищи! Идите туда!

Рабочие заволновались:

— На Камергерский, товарищи! Из Охотного наступают юнкера! Держись!..

Они, толкаясь, группами начали уходить и на ходу щелкали затворами винтовок. Акимка, безнадежно потерявший в толпе и Леонтия Петровича и товарищей с Пресни, присоединился к группе незнакомых рабочих и вместе с ними пошел на угол Камергерского.

Стрельба в конце Тверской теперь велась беспрерывно.

По соседству с домом генерал-губернатора стояли солдаты.

— Цепью, цепью, товарищи! Стороной иди, осторожно. Здесь могут убить,— предупреждали они тех, кто шел вниз по Тверской.

Рабочие и солдаты, пригибаясь на ходу и прячась за выступы стен, шли гуськом один за другим. Мостовая была пуста, что особенно было страшно после шумных и людных улиц и переполненных комнат, в которых Акимка был сейчас.

У него судорожно забилось сердце и сперло в груди. Он крепко, обеими руками, вцепился в винтовку, каждую минуту готовый выстрелить, и шел за другими, приседая и останавливаясь, как все, бессознательно подражая им в движениях и даже в манере идти.

Выстрелы гремели уже совсем близко. Что-то щелкало в камень среди мостовой.

— Ого, летают, голубки! — засмеялся солдат, шедший впереди.

— А что это? — спросил Акимка.

— Что? Разве не знаешь? Конфета это,— насмешливо ответил солдат, оглядывая мельком робкую фигуру парня,— подставляй рот и лови.

Акимка смущенно засмеялся. Солдат заметил его смущение и дружески сказал:

— Ничего, не робей, брат! Пойдешь на войну, не то увидишь.

Все, один по одному, перебегали от выступа к выступу и собрались на углу Камергерского переулка, где уже стояла небольшая кучка рабочих и солдат, прячась за угольный серый дом, в котором прежде была виноторговля. Здесь воздух был полон свиста пуль.

Рабочие были все незнакомые. Акимке хотелось поговорить с ними, расспросить, как и что здесь, где враги сидят, откуда стреляют, но он робел. Все стояли молча, лениво топтались на одном месте, переступая с ноги на ногу, пощелкивая сапогами, словно всем было холодно и никто не знал, что надо делать. У всех были серые лица с пепельными губами. Краснощекий, румяный Акимка, с живыми, полными любопытства и застенчивости глазами, обращал на себя общее внимание.

На углу соседнего Долгоруковского переулка толпились солдаты, и среди них резко выделялись черные фигуры рабочих; все они стреляли вниз, в сторону Охотного.

— А отсюда стрелять нельзя? — спросил Акимка у солдата.

— В кого же будешь стрелять тут? Тут не в кого. Иди вон на тот угол,— угрюмо ответил высокий солдат в серой шапке, глубоко надвинутой на уши.

— А опасно идти туда?

— Ты попробуй,— криво усмехнувшись, посоветовал солдат, а потом, помолчав, вдруг сказал: — Айда-ка, товарищ, вместе. Я вперед, а ты за мной. Вместе-то веселее. Только берегись, брат. Стрелять будут — бросайся на землю.

У Акимки забилось сердце и по спине побежали мурашки, но он храбро ответил:

— Что ж, идем.

— Зря вы лезете туда,— лениво сказал кто-то позади.

— Ну вот еще, скажет тоже! — сердито отозвался солдат.— Идем!

Он глубоко надвинул шапку, поправил винтовку, подтянулся и быстро побежал вдоль стен по тротуару, низко пригибаясь на бегу. Акимка побежал за ним. Один дом пробежали, другой. Где-то щелкнул выстрел, и окно над головой солдата печально звякнуло. Солдат прыжками бросился к крыльцу аптеки и здесь присел. Акимка, точно подкинутый пружиной, метнулся за солдатом и присел рядом с ним. Солдат тяжело дышал.

— Откуда это? — тревожно спросил Акимка.

— Что — откуда?

— Стреляют-то?

— А черт их знает! Должно, откуда-нибудь с крыши.

Оба, крепко прижавшись к камням крыльца, сидели минут пять.

Между тем стрельба стихла. Не стреляли даже в Охотном. Солдат поднялся на ноги и осторожно начал осматривать крыши домов, а потом прыжком, словно его кто рванул, выскочил из-за крыльца и побежал через улицу на тот угол, где стояли рабочие. Акимка, не помня себя, не сознавая, что делает, побежал тоже. Откуда-то сверху нервно и беспорядочно затрещали выстрелы. Вокруг защелкало... Солдат, бежавший впереди, неловко споткнулся и, громко ругаясь, грохнулся на мостовую. Винтовка с жалобным дребезжаньем упала на камни. Акимка успел заметить, что солдат крепко ударился головой о камни. Его серая шапка отлетела далеко вперед.

— А... А... Скорей! Скорей! — кричали с угла.

Акимка перебежал улицу, спрятался за угол в толпу и уже только тогда оглянулся. Солдат лежал все там же, где упал, а кругом него по камням мостовой щелкали пули и подскакивали изредка кусочки земли, поднятые ими.

— Готов, убили! — отрывисто говорили солдаты, стоявшие за углом.— Нужно было лезть, чертям...

Они сердито смотрели на Акимку, будто он был виновником смерти солдата. А тот, бледный, задохшийся, оглушенный, стоял у стены. Он так испугался, что готов был бросить винтовку и по-ребячьи заплакать. Но удержался. И стоял, судорожно отдуваясь. Он вдруг вспомнил, как

солдат заскорузлой большой рукой надвигал на уши шапку и деловито поправлял винтовку.

Сверху, с Тверской, приехал лакированный автомобиль со студентами-санитарами. Санитары, чтобы остановить стрельбу, долго махали белыми флагами, на которых были нашиты красные кресты, потом подняли убитого, как тяжелый куль, быстро положили его на носилки и собрались уезжать. С угла им кто-то крикнул:

— Шапку-то возьмите!

Санитары забыли шапку, и вдруг всем показалось, что шапка для убитого просто необходима.

— Шапку, шапку возьмите! — нервно и злобно кричали рабочие и солдаты.

На момент всем казалось, что вот так и их могут убить, а шапку-то и забудут...

— Возьмите шапку! — крикнул Акимка.— Шапку.

Студент-санитар соскочил с автомобиля, поднял шапку и положил ее на носилки, рядом с головой убитого. Теперь все было в порядке. Автомобиль уехал, и все облегченно вздохнули. На том месте, где лежал убитый, камни потемнели и стояла красная пугающая лужа во впадинах между камнями. Не хотелось туда смотреть, но тянуло подойти ближе и посмотреть пристально.

— Эх, крови-то сколько! — сказал сумрачно рабочий в темной, сильно потертой кожаной куртке и с рыжим теплым шарфом на шее.— Теперь полетела душа в рай...

Рабочий потрогал шарф рукой, подумал и тихонько откликнулся на свои мысли:

— Да... Так-то вот.

Все молчали, и каждый думал о чем-то своем, близком, глубоком, о чем никогда не узнают другие.

— В рай, на самый край,— пробормотал все тот же рабочий и скрипуче засмеялся.

— В рай не в рай, а вообще-то, братцы, дело не того... табак. Бьют по-настоящему.

— А откуда это били?

— Должно, с крыши, с гостиницы. Там их тьма засела.

— А может, от Воскресенских ворот?

— Нет, это с крыши,— подтвердил Акимка.— Я видел, когда бежал сюда: с крыши.

Все с любопытством посмотрели на него. Паренек-то ведь случайно не лежит вместе с солдатом.

— Ну что, товарищ, чай, у тебя душа-то в пятках теперь? — спросил рабочий, говоривший о рае.— Пожалуй, тебе теперь иголку надо?

— Какую иголку? Зачем? — удивился Акимка.

— Иголку настоящую. Душу-то выковыривать из пяток.

В толпе коротко, нехотя засмеялись. Акимка покраснел, и у него стал такой сконфуженный вид, что пожилой усатый солдат угрюмо сказал ему:

— Зря ты, парень, полез сюда. Право, зря.

— Почему же зря? Разве я не такой же гражданин, как, например, вы? Это даже странно! — запальчиво, обидевшись, уже чисто по-мальчишески выпалил Акимка.

Солдат, улыбнувшись, сказал:

— Давай, давай, парень, защищай революцию!

Акимка нервно прошелся взад и вперед по тротуару, подошел к самому углу и выглянул к Охотному. Отсюда уже было видно и Охотный, и Воскресенскую площадь, и часовню Иверской иконы, и дальше, через Воскресенские ворота, угол Красной площади. Всюду было пустынно. Ни людей, ни экипажей. И эта пустота особенно пугала. Всегда, даже в глухую ночь, здесь было много народу. А теперь никого. Под Воскресенскими воротами и ближе сюда, по углам, мелькали фигуры, стреляли из винтовок, и пули с резким зиганьем летели мимо, били в мостовую и в забор большого строящегося дома. В Охотном ряду, за углом, мелькнула какая-то фигура. Акимка прижал винтовку к плечу и нажал спуск. Винтовка резко толкнула в плечо. В ушах загремело и запищало...

Солдаты столпились к углу.

— В кого бил? — спросили они.

— А там юнкер, кажись...

— Смотри не убей частного какого.

Из-за угла опять высунулась фигура в серой шинели и — тррах!..— выстрелила сюда и опять юркнула за угол. Пуля отбила кусок штукатурки.

На солдат и на Акимку полетело облачко тонкой пыли. Все разом отшатнулись.

— Вот, мать честная! — удивленно сказал Акимка.

Ему приятно было, что в него стреляли. В него, Акима Розова. Об этом можно потом рассказывать всю жизнь.

— Ах, они!..— вдруг громко, на всю улицу, закричал молоденький солдат.— Они этак, так их... А!

И, ругаясь страшными словами, он начал торопливо стрелять по улице: трах... трах... трах...

Два других солдата подскочили к нему, и один с колена, а другой стоя, с азартом, будто по наступающему неприятелю, стреляли вдоль улицы.

Акимка весь загорелся. Он выскочил из-за угла на самую улицу и, стоя открыто, стрелял в дальние дома. Никого нигде не было видно, но и солдаты, и Акимка, и пятеро других рабочих, прибежавших к углу, все сосредоточенно стреляли. Стрельба продолжалась минуты две. От выстрелов у него заныло плечо. Ладонь правой руки покраснела, натертая шишечкой затвора. А пока отсюда стреляли, в Охотном было тихо.

— А может быть, они ушли оттуда? — спросил Акимка.

— Какой ушли! Там. Сейчас вот в угольный дом стреляют.

— А там наши?

— Ну да. Сидят наши.

И вдруг, как бы подтверждая этот ответ, из окон угольного красного дома затрещали частые выстрелы.

— Вишь? Это наши,— подтвердил солдат.

Из Охотного донесся крик. Солдаты прислушались. Крик опять повторился.

— Ранили кого-то,— сказал рабочий с рыжим шарфом.

— Должно, ранили. Кричит. Не хочет умирать.

— Юнкеря, должно.

— Видать по всему, что юнкеря. Кричит, как резаная свинья,— сказал юркий солдат и нехорошо засмеялся.

Он заискивающе посмотрел на всех, словно искал сочувствия.

А все промолчали.

— Стой-ка, о чем кричат?

За углом кричали надрывно. Все стали слушать, вытянув шею, но ничего нельзя было разобрать. Акимка опять вышел из-за угла, присмотрелся и, подняв винтовку, стал стрелять. Теперь уже стрелял спокойно, целясь.

— Бу-ух! — вдруг ахнуло за домами, и сразу резко свистнуло где-то около.

Акимка присел от неожиданности. Он увидел, как обвалился, будто плеснулся на мостовую, угол красного дома. Это ему показалось так страшно, что он, не помня себя, подскочил и бросился бежать от угла по переулку. Но никто за ним не побежал. Просто прижались к стене под ее защиту. И приготовили винтовки стрелять. Акимка приостановился.

— Из пушек бьют! — крикнули с противоположного угла.— Держись, товарищи!

— Бу-ух! — опять ахнул выстрел.

Все вздрогнули, однако оправились быстро, и, словно второй выстрел успокоил, все подошли к углу, сгрудились. Акимка, красный от стыда, тоже подошел. Ему было очень

стыдно за свой испуг. Винтовочные выстрелы в Охотном загремели резко и часто.

— Наступают! Идут!..— крикнул кто-то из окон.

Вот из-за дома прямо на мостовую выбежали люди в серых и синих шинелях и побежали сюда, стреляя вдоль улицы и в тот угол, за которым прятался Акимка.

«Вот они!» — подумал Акимка. Он задохнулся от волнения.

Солдаты, стоявшие рядом, закричали:

— Идут! Идут!..

Вдруг в тишине ухо поймало глухое шипенье и фырк.

— Стой, ребята, кажись, автомобиль! — встрепенулся юркий солдат и, взяв винтовку наперевес, поспешно подошел к самому углу и украдкой выглянул туда, к Охотному.

Все стали прислушиваться. Шум становился яснее.

— Верно: автомобиль. А ну-ка, поглядим...

И все сразу оживились, сгрудились на самом углу, приготовили винтовки.

Из-за угла Охотного вышел грузовой автомобиль, на котором, стоя и сидя, ехали вооруженные люди в синих и серых шинелях. Винтовки беспорядочно торчали во все стороны.

Акимка, рабочие и солдаты торопливо, наседая один на другого, прицелились, залпом выстрелили в него. Автомобиль дернулся и остановился; из машины брызнула белая струя бензина; на нем судорожно заметались люди.

— А-а!..— торжествующе заревел голос рядом с Акимкой.

И рев толкнул всех. Солдаты и рабочие выскочили на мостовую и, стоя здесь кучками, не думая об опасности, начали стрелять по автомобилю. Из-за соседнего угла прибежали еще солдаты и рабочие. Все стреляли с судорожным азартом. Акимка видел, как там юнкера клубками падали на мостовую, на дно кузова автомобиля, судорожно метались, стараясь спрятаться за колеса и за борта; видел, как летели щепки, отбитые от деревянных бортов автомобиля, и острая неиспытанная радость душила его.

— Бей их! Лупи! — орали здесь около него.

— Бей! — орал Акимка, уже не сознавая и не чувствуя себя, и стрелял без передышки, едва успевая заряжать.

Прошла, может быть, минута, автомобиль стоял разбитый, и никто уже не шевелился ни на нем, ни около него.

— Ого-го!..— торжествовали здесь.— Это здорово! Ни один не ушел!

Но огневое возбуждение схлынуло. И все смотрели, ждали, что будет дальше. Вдруг из-за дальнего угла вышла девушка в кожаной куртке — на рукаве рдеет крест, голова повязана белой косынкой. Она решительно подошла к автомобилю. Рабочий с рыжим шарфом вскинул винтовку.

— Ты! Что ты, дурья голова? — крикнул на него солдат.

Рабочий оглянулся, но продолжал держать винтовку у плеча.

— Не мешай. Это буржуйка, я ей...

Солдат широко шагнул и схватил рукой за винтовку рабочего:

— Дурак, разве не видишь? Сестра это.

— Нешто можно стрелять? Аль мы с бабами вышли воевать? — загалдели другие.— Очумел, что ль, ты?

— Знаем мы этих сестер!..— начал было рабочий.

Но все вдруг накинулись на него:

— Иди прочь!

— Дай ему в шею, он и не будет...

— Глядите, глядите... вот смелая-то!

Девушка обходила вокруг автомобиля, нагибалась к колесам, где виднелись бесформенные кучи — убитые,— будто мешки. Она ходила от одной кучи к другой, трогала их рукою и молчала.

А здесь, затаив дыхание, напряженно смотрели на нее рабочие, солдаты, Акимка. Вот девушка что-то крикнула, махнула рукой. Из-за угла плывущим шагом вышли двое солдат с повязками на рукавах — к автомобилю. Над одной кучкой наклонились, потом один подставил спину, другой поднял неуклюжий мешок в шинели — внизу болтались сапоги,— положил первому на спину. Так начали они носить убитых.

Поднимали их с земли, вытаскивали из автомобиля, клали на спину и, сгибаясь, тащили за угол. И когда там поднимали труп, здесь радовались:

— Несут! Еще несут! Это вот та-ак, это вот по-нашему!

— Гляди, гляди — это юнкер.

— Ого, а это офицер.

— Ка-ко-ой длин-ный!

— Восьмого понесли!

— Я говорил: за одного нашего десять ихних.

Акимка приплясывал. Вот порасскажет теперь там, дома-то! Вот унесли последний труп, и возбуждение погасло. Автомобиль стоял как раз на перекрестке — разбитый.

Тррах!

Это на дальнем углу выстрелили. И сразу здесь на всех лицах мелькнули упорство и напряженность. Все торопливо защелкали затворами, задвигались. К углу подошел солдат с черной острой бородкой. Он сказал отрывисто:

— Сейчас наступление, товарищи. Готовься.

«Наступление,— повторил про себя Акимка,— наступление!»

Под ложечкой у него задрожало. Он заметался туда-сюда, искал места, где бы встать, так как думал, что наступление — обязательно идти рядами.

— Наши обходят дворами. Как начнется стрельба, мы...

Солдат не договорил: на углу в Охотном ряду сразу закипела стрельба. Солдат метнулся, крикнул: «За мной!» и, не оглядываясь, побежал тротуаром к Охотному. Акимка заревел: «Ура-а-а!» — и за ним. И враз перегнал. Один — впереди всех, сломя голову бежал, а навстречу ему неслось горячее — может быть воздух, может быть пули,— и ветер визжал в ушах.

Остановился он только на углу Охотного, у красного дома, и видел, как вниз по Моховой бежали синие и серые шинели, и три раза успел выстрелить им вслед. Взволнованный и торжествующий, он взобрался на крыльцо охотнорядской часовни, чтобы оттуда лучше и подальше видеть. Охотный ряд, Театральная площадь и улицы — все было пусто. Из-за лавочек начали выползать люди — больше мальчишки — и темной массой затолпились на углах. Они с любопытством, точно на диковинку, смотрели на солдат и рабочих, рассматривали расстрелянный и залитый кровью автомобиль, стоявший на перекрестке. Мальчишки отдирали щепки от бортов, собирали гильзы патронов. Потом толпа смешалась с вооруженными солдатами и рабочими. Три мальчугана, лет по десяти, остановились перед Акимкой и с завистью смотрели на него.

— Дай пострелять,— попросил один.

Акимку жестоко оскорбила такая просьба.

— Уйди! — грозно крикнул он на мальчугана и, прислонившись к каменному парапету часовни и держа винтовку наперевес, решительно и сердито закричал: — Частные которые, расходись! Стрелять буду! — И выстрелил вверх.

Толпа шарахнулась.

— Расходись! Расходись!

Солдаты и рабочие собрались у часовни и, мирно переговариваясь, стояли, курили, забыв об опасности. И опять, словно тараканы сквозь щели, к ним подошли, один по одному, мальчишки из-за охотнорядских лавок, пришло

несколько мужчин, и кругом зачернела толпа. Мальчуганы шныряли в толпе, собирали расстрелянные гильзы. Стало покойнее. Акимка с вызывающим видом обошел вокруг часовни, остановился опять на крыльце.

Стрельба шла около университета и у Кремля.

— Идут юнкера! — вдруг резко крикнул из-за часовни детский голос.

И в тот же момент кругом часовни и на улице грянули частые выстрелы. Толпа бросилась врассыпную. Мальчишки падали на землю, бежали, на четвереньках ползли к лавкам. Дрожа всем телом, Акимка попытался, приседая, пробежать к углу Тверской, но едва выбежал из-за часовни, как попал под выстрелы. Он увидел, что из ворот соседних домов поодиночке и группами бегут юнкера с винтовками наперевес и что на всех соседних крышах виднеются фигуры людей с винтовками. На бегу юнкера в упор стреляли в солдат и рабочих. У самого угла часовни, на грязных, покрытых осенней слякотью плитах тротуара, уже лежало несколько человек, судорожно корчившихся и кричавших, а рядом с ними валялись брошенные винтовки. Несколько солдат плотно прижались к стенам часовни и стреляли в юнкеров. Акимка скакнул к солдату, что стоял с края, бессознательно прижался к его боку, словно хотел спрятаться за него.

— Бей их! — исступленно крикнул солдат.— Бей!

Он прицелился, выстрелил в юнкера. Юнкер упал. Этот бешеный крик, этот выстрел словно электрическим током пронизали Акимку.

— Бей их! — так же бешено заорал он.

Акимка чуть отодвинулся от солдата, вскинул винтовку, выстрелил прямо в цепь юнкеров. И снова двинул затвором, вогнал патрон, выстрелил. Все помчалось в каком-то диком вихре. Выстрелы гремели оглушающе. Кто-то кричал исступленно. Кто-то ругался. Юнкера падали... один, другой, третий... Их цепь сразу поредела. Юнкера не ждали нападения из-за часовни. На момент они приостановились. Часть их бросилась сюда, к часовне. Бегут! Бегут! Ближе, ближе... Бешеные лица, злые треугольные глаза... Выстрелы затрещали ливнем. Два солдата, как подброшенные, кинулись навстречу юнкерам со штыками наперевес. Вот добежали, сцепились и кучами упали на мостовую. Акимка выскочил на мостовую и, припав на колено, стрелял в юнкеров.

Вдруг позади него раздались выстрелы, топот множества ног, и грянул крик:

— Урра! Бей их!

Акимка оглянулся. Из-за угла гостиницы «Националь» плотной массой бежали солдаты и рабочие, стреляя на бегу. В момент они очутились рядом с Акимкой... вот у часовни... вот ударили в штыки. Цепь юнкеров разорвалась, рассыпалась. Часть их помчалась вниз по Моховой, часть назад, в ворота углового дома. Крыши домов сразу опустели, словно там пронесся сметающий ветер и умчал юнкеров.

— А-а-а-а! — сквозь гром выстрелов послышался торжествующий, неумолчный крик.— Наша взя-ла!..

И, подняв высоко над головой винтовку, Акимка заорал во всю силу:

— Уррра! Наша взяла! Наша взя-ла-а-а!

...Тридцать четыре года прошло с тех памятных огненных дней. В великой советской стране укрепился социалистический строй, ради торжества которого народ поднял восстание.

Поднятый и спаянный великими идеями Ленина — народ победил в незабываемые дни Октября, победил потом всех контрреволюционеров, интервентов, фашистов. И всегда победит, сколько бы врагов ни встретилось на его пути.

1917—1951

Лидия Сейфуллина

(1889—1954)

ПЕРЕГНОЙ

ПОВЕСТВОВАНИЕ

1

Про Ленина слухи разные ходили. Из немцев. Из русских, только немцами нанятый и в запечатанном вагоне в Россию доставленный. Для смуты. Бывший старшина волостной Жиганов очень этим человеком интересовался. Всегда из города новый слух привозил. Вчерашний день за полночь вернулся. А не утерпел: в земскую библиотеку в окно постучал. Испуганно к окошку от стола щуплый, низкорослый библиотекарь Сергей Петрович метнулся. С газетами все засиживался.

— Кто там? Что такое?

Жиганов вплотную к стеклу черную бороду свою придавил и сквозь двойную раму зычно крикнул:

— Сбежал! Не пужайтесь. Благополучно вам вечеровать! Из городу сейчас. Сбежал!

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Кто сбежал?

— Ленин. Из банков все забрал. Вчистую. И скрылся. Погоня послана. Завтра все расскажу!

— Зайдите, Алексей Иванович. Сейчас открою.

— Неколи. Дома ждут. Завтра все расскажу!

— Газеты привезли?

— Привез. Только старые, в них еще не пропечатано. По телеграмме... Ну, ты, большевицка холера, т-пр-у!

И в сенях уж сам с собой проговорил:

— Не стоится! До дому охота, жрать охота! Сказано — скотина!

А назавтра радость сникла. Обманули в городе: утром какой-то с бельмом на глазу, с «мандатой» приехал и непонятные слова на сходке читал: «Совнарком — исполкомам всех совдепов». Не сбежал Ленин. Он на этаком языке разговаривает.

Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и прозвали: Небесновка. Все сектанты для чтения Писания священного грамоте обучены. От Тамбовки, хоть одно село Тамбовско-Небесновское, столбом с доской отгородились. И доска для грамотных. Белым по черному прописано: Небесновка — мужеского пола 495 человек, женского 581. Под самой доской почти крайний дом тамбовский, а народ разный. В Небесновке почище. В Тамбовке тоже кто пообразованней и помоложе о Ленине осведомлен, а бабы да старики про большевиков слыхали одно: войну кончают. Откуда большевики — в точку не смотрели. Короткий народ. Не дохватывают. Старшина Жиганов из Небесновки был. Солдатье тамбовское отменило его от должности. А сейчас не разбери-бери какое правленье. Солдат Софрон верховодит. На сходке к Жиганову прицепился:

— Эй ты, ботало молоканско! Каки слухи про нову власть распускашь?

Немалого роста Софрон и плечистый, а жигановские глаза на него сверху черным блеском дразнятся. На голову выше Жиганов. И неробкий, но сметливый. Зря в драку с дураком не полезет.

— Чего, как петух на куру, наскакиваешь? Что в городе слыхал, то и рассказал. Мне брехали, и я брехал. По чем купил, по том и продаю.

Мужики уж дышат на них, сгрудились. Приезжий с мандатом чай пить ушел. Сход не расходился. Собрать из домов трудно, а как соберутся деревенские — не разгонишь.

Туго мозги поворачиваются. Пока все выспросят, много часов пройдет. За Жиганова наставник сектантский Кочеров вступился:

— Гражданин Софрон Артамонович, нехорошо этак на морду налезать! Алексей Иваныч — человек с интересом. Узнал в городу — сообщение предоставил. А ежели заблуждение вышло...

Софрон человек без резона. От тихой вразумительной речи Кочерова взбеленился, заорал зычно на весь большой класс. В школе все сходы собирались.

— Товарищи! Граждане! Небесновка вся — кулаки! Сладко поют, им не верьте. Сейчас я вам слово скажу! Как я сам председатель этого митингу, слово скажу!

И сразу за стол, откуда речи говорились. Солдаты отпускные к нему подались. Солдатки и рванье из-за оврага, где бедность осела, тоже за ними. Небесновские за купцом из Тамбовки Сычуговым было к дверям, да шепот жигановский им быстро передан был:

— Не расходитесь! Кочеров Софрону отчитку делать будет!

Кудрявый рыжий волос Софронов всегда торчком над головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, и нет в ней степенности. Клочковатая, во все стороны. И в глазах строгости нет. Одна синь, в гневе темнеющая, но без свинца. От того нестрашная.

— Товарищи! Богатеи небесновски нас сомущают. Мы на фронту кровь проливали, они, которы за богом прятались! Вера, дескать, не дозволят на войну идти! А сейчас им опять нашу кровь подавай! Котора власть за войну, энту им надо! Нашу не надо.

Гулом сход отозвался:

— Правильно! За богом-то сидючи брюхо нагуляли!

— И наши на войне были! Одни добротолюбовцы отказывались!

— Мы каторги не боялись, на войну не шли!

— Теплоухов только-только с каторги вернулся...

— Дело говори! Это все слыхали!

— Теплоухов у них в каторге! А у наших руки-ноги оторваты! Это тебе как?

— Ни за што почиташь?

— Не шли бы и вы!

— Ах ты, пузо наливное! Земли-то в вечну награбастали! На семьи хватит, и на каторгу можно...

— Чего разговаривать! Бей их, толстомордых!

— Тише! Слова дайте сказать!

— Слабода слова...

— Говори, Софрон!

— Нечего говорить! Все слыхали!

— Пролетарии, которы пролетают! Старались бы, так и у вас в вечну...

Шум разрастался. Голоса свирепели.

Во всю грудь Софрон, чтоб перекричать:

— Товарищи! Апосля посчитамся! Этак не слыхать! По череду все скажем.

Жиганов своих успокаивал:

— Помолчить! Помолчить! Кочеров ему завертку сделат!

Стихли. В глухом, рассерженном, но затихающем ворчании ясный густой голос Софрона заиграл:

— Товарищи! Вон энти ободранные, заовражные... Энти нам теперь товарищи! Мы то есть вам товарищи! А небесновски мужики богатые. Им все равно, чья земля. Им все равно, коли нас опять в окопы. Дарданеллов им надо! Вот какие они! Они вас сомущают — все от бога. От Писания. Им ладно на бога-то уповать! Богатому легче войти в царство небесное. На земле жиром наливаются, а помрут...

Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:

— Клеплешь на Священное писание! Там сказано: бедному легче в рай...

Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Яростно, громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу кричал:

— Недосмотр в Писанье вышел! Богатый человек богу угоден! Богатый мужик чистый, обходительный. С чего я псом кидаться стану, когда кажный передо мной шапку ломает? А бедному всяк по загривку. От этого в ем завсегда злость. Обязательно! Богатый с господами за ручку, всему обучен. А бедный-то и молитвы по-матерному вывернет, потому ничего не понимат! В Писанье сказано: не укради. Обязательно украдешь, как трескать нечего! В Писанье опять же: не убий. Обязательно убьешь!..

Взревели небесновцы:

— Эт-та хорошо! Значит, крадь, убивай!

— Вот оно, ново-то ученье!

— По словам человека узнают!

— Слыхали, каки большевики-те!

— Истинно, острожники у них коноводы!

Заовражные свое:

— Заткни хайло, толстопузый!

— Кого убили? Кого нашински убили?

— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!

Старуха Митрофанова поняла: спор на веру перешел. Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:

— В православной церкви святы дары, а в ихнем молоканском чо?

В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели, засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую музыку стихийно взметнувшегося рева.

Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом табурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. Затихли было, но прорывался надрывный выкрик Редькина.

— Наша власть! Будя! Они себя пообихаживали!

И опять стон, рычанье толпы, не привыкшей говорить, знавшей только вой и дикий гомон. Не стояли на месте. Надвигались друг на друга, грозили кулаками, толкали, теснили, давили. Близилось побоище.

Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый кулак сильной рукой и, выхватив у Софрона табурет, застучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли. Софрон своих унимал. Опять глухое стихающее рычанье. Выделился мягкий, ласковый, приятный басок Кочерова:

— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку надо миром и любовью.

Была в мягком голосе привычная властность, уверенность начетчика. Укротила. Один Редькин плюнул и нехорошо выругался в ответ. Остальные замолчали.

— В гневе у человека глаза не видят, уши не слышат. Зачем так-то? Зачем брат Софрон злобе дал себя оседлать? За веру свою от старого правительства большое наказание мы принимали. Из России сюда спасать свою веру унесли. В чужую холодную сторону пешком с семействами шли. В вечно владенье землю купили. А как? Этого вы, братья, не видали? Миром купили, всем миром! Не только что по́том, кровью наша землица полита. Да, да! Как старо правительство наших на каторгу гнало, вы тогда нас жалели. На войну у нас добротолюбовцы только не шли. А много ли их у нас? Мы, евангелические христиане, шли. У меня сын на военной службе. Мы с вами тяготу несем.

Правду говорил Кочеров. Голос, будто священным елеем смазанный, был ласков, проникновенен, умиротворял. Толпа сникла и сжалась. Только Софрон крякнул, да Редькин больным звенящим выкриком запротестовал:

— Книжники! На Писаньи насобачились...

На него прицыкнули, и он смолк.

Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли успокоительные больному подносил.

— Насчет большевицкого ученья мы не против. Войны мы не хотим, как в Писании сказано — не убий. Бедного человека, по Писанию, мы также подымать должны. Но

ученье человеческое — не божье. Оно всегда с собой муть грехов наших несет. Отобрать, да отдать — обида и зло. Нашу, к слову, землю как отбирать. Мы не подарком ее взяли. Все это надо обсудить в мире, в тишине, в спокойствии. Я поинтересовался насчет большевицкого ученья, в город съездил. Разузнал, что главный их учитель был Карла Марксов. Ха-а-ра-шо. Был он человек нерусский, записал по-иностранному свое ученье. Вот узнать бы досконально подлинность Карлом Марксовым прописанного. Русский народ, он у нас скоро уверяющий. Как нам подали, так мы и глотаем. Разбору нету у нас в привычке. Насчет образованья, касательно иностранных языков, слаб. Если к иностранному несумнительно допустить — Ленин чего приписал, как узнать? Надо иностранные языки уразуметь и Карло Марксово писание с русским сверить. Вот тогда можно: пролетарии всех стран! В таком деле, как политика, без доскональности невозможно. На уразумленье время надо, верных людей надо, тишину и мир надо. А так, очертя голову, в новый хомут лезть...

Болью подлинной вытолкнуло из тишины свистящий выкрик Редькина:

— Заливат! Товарищи, глаза вам молоканский начетчик отводит.

Сразу Кочерова оборвал. Запнулся на слове от неожиданности.

Софрон крепко, зло и властно крикнул:

— Будя! Напустил туману! Мы едак не умеем! Товарищи, за землю доржится! В ее вцепился, нас обхаживат! Будя!

Опять многоголосый крик:

— Верно! Правильно! Обхаживат! Заткни глотку!

— Охальники! От слову доброго отвыкли!

— Пущай говорит Ефим Кочеров!

— Правильно изъяснял!

— Дербалызни его по затылку-то, забудет, как изъяснять!

— Софрон, твое слово! Ты по-нашенски!

Но на стол Редькин забрался.

Худой, нескладный, с воспаленным взглядом злых черных глаз, с яркими пятнами на скулах, он бил себя кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:

— У меня девять ртов! Мои ребята, хучь малые, своими бы зубами землю выборонили. А игде она? Игде у мене земля? Ну, игде? Мово брата на войне убили. А игде у его семейства земля? А этот брат Андрей, вам известно,

в сектанты передался. Кочеров его накормил? Землю дал? Как не так! В работниках гнулся. Сын у Кочерова взят! Знам! В портных сидит, в спокое! Ему, Кочерову-то Ефиму, сколь добра привез, как на побывке был. А он нам заливат! Кабы у мене достаток!

Выкрикнул, закашлялся, большой плевок крови в руку выхаркнул, махнул рукой и слез с трудом со стола.

Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побелело, глаза будто чернью подернулись, и в первый раз строгим взгляд стал.

— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не начетчики, не умем. Айда, вот что сделам: записывайся всем миром в большевицку партию. Больше нам делать нечо! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай.

Заколыхались, встрепенулись, закричали вразброд.

— Вот дак командер!

— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью!

— Каин тоже меченый!

— Записываться! Правильно!

— Записываться! Записываться!

Софрон старался перекричать всех:

— Скопом, миром за себя постоим! Они нас одурить хочут! Эй, беднота, заовражнински, двигайся! Которы не запишутся, нет им земли!

— Правильно! Не хотят с народом, как дурну траву из поля вон!

— Айда, вываливай, которы не наши!

— Митроха, записывай!

Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха, закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед ним — лист серой бумаги.

Но крикнул библиотекарь:

— Товарищи граждане! Слова прошу!

Все время бурного схода он простоял в кучке у окна. Там были учительницы, священник и он. Все они давно шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глубине класса не стих, но у стола замолчали.

— Так, граждане, нельзя! В политическую партию так не вступают!

Софрон вцепился ему в узкое плечо.

— Ты с нами не запишешься? Говори, ты не согласен?

Библиотекарь голову в плечи втянул, еще меньше стал, но ответил твердо:

— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!

— А, так. Ладно. Не понимам? А эндаких, понимающих, нам не надо! Пшел вон к своим богачам!

Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его сзади за воротник и пинком ноги толкнул в толпу. Библиотекарь не упал только потому, что ткнулся головой в грудь рослого старика. Повернув к Софрону бледное, перекошенное обидой лицо, он взвизгнул по-детски:

— Насильники! Тупая сволочь!

Заовражинские на него кинулись, но стеной плотной закрыли его небесновцы. И Софрон новым криком остановил:

— Опосля сосчитамся! Подходи записываться! Хто не запишется, сосчитамся. Узнам, которы наши!

Небесновцы завопили. Но Митроха уже записывал:

— Крученых Павел с семейством...

У стола теснились желавшие записаться.

Кочеров рукой махнул и пошел к выходу. Небесновцы почти все за ним вышли. Осталось только пятеро.

У стола гулом стояло:

— Софрон, а Софрон, бабу отдельно записывать ай с собой?

— Бабов, для счету, отдельно. Теперь для их права вышли! Ребятишек не записывай.

— Ой! А как на их земли не дадут?

Солдатка Ульяна к Софрону кинулась:

— Каки права на баб вышли?

В толпе засмеялись. Митроха из-за стола звонко крикнул:

— На мужиках сверху лежать. Айда, записывайся!

Взъерошенный, как нахохлившийся воробей, низенький Артамон Пегих солдатку оттолкнул.

— Записали, и не таранти! Сказано, для счету!

Оживший Софрон будто вырос. Глазами опять радостно сиял и, поворачиваясь во все стороны, объяснения давал.

— Баба, она, дивствительно, корова! А промежду прочим — человек. Теперь так полагается, ее голос примать.

Через два часа Софрон передавал на въезжей квартире оратору из города лист.

— Вот тут, сто пятьдесят восемь человек записались. В большевики. Передайте список, а нам документ пущай вышлют, что есть мы теперь большевицка партия.

У того от радости даже бельмо на глазу будто засияло.

— Да как это так? Вот так успех! Поразительно! Что значит вовремя приехать. Спасибо, товарищ! С радостью передам! Скоро еще приеду. Вы, товарищ, фронтовик?

Софрон охотно и радостно рассказал о своей солдатчине, о ранении, об отпуске домой, о том, как в армии о большевиках узнал. Ему хотелось говорить о себе подробно и долго, но приезжий оратор засуетился, собираться стал, и Софрон вышел.

Хрустящий снег под ногой, далекое, молчаливое, будто застывшее осужденьем беспокойной земле небо, отголоски разговоров еще не заснувшей улицы, обрывки частушки — все будоражило Софрона, поднимало новое чувство торжества и тревоги. Будто на войне отряд вывел.

По сделанному им распоряжению, в этот час подъехал Артамон Пегих к библиотеке, разбудил библиотекаря и объяснил:

— Укладайся! В город тебе сейчас повезу.

— Как в город? Зачем?

— Сход приказал. Нам эндакого не надо! Айда, укладайся.

— Да я не хочу ехать! Это насилье!

— Не поедешь, Софрона разбужу. Приказано.

Отплевываясь и ругаясь, библиотекарь начал связывать свои вещи. Обида жгла лицо румянцем. Софрон, пьянчужка, всеми презираемый в былые дни! Он один с ним возился. Отмечал, ценил его тягу к книге, а теперь вернулся с фронта командиром! Вынырнул новый, темный, злой. Другим хмелем хмельной. Д-да! Пожалуй, правда, пропала Россия.

Когда в последний раз вошел в библиотеку, чтобы посмотреть, не забыл ли чего, вспомнил:

— А ключи кому?

— Софрон сказал, ему завезти.

— Ну, ладно. Ему, так ему! Поедем.

А Софрон стоял уже у подводы, около библиотеки. Когда подошел библиотекарь, он протянул ему зажатую в кулак руку.

— На-кось.

— Что это такое? А?

— Трешница! Тебе от меня. Так что много довольны. Никогда не обижал. Возьми-кось, там в городу пригодится!

Из-под нахохленных рыжих бровей застенчиво блеснувший свет и мягкую пугливую улыбку вместе с трешницей принял, с екнувшим сердцем, библиотекарь. Не сумел отказаться.

«На трех китах стоит земля, говорили старики. Одного, видно, вытащили из-под нее. Зыбкая стала. С июля года тысяча девятьсот четырнадцатого. Не стало твердости и нерушимости ни в чем. У земли учились жить. Она закон поставила человеку: все живое должно принести плод. А у девок румянец желтизной отдавать стал. Твердели, теряли молодую хрупкость, дожидаясь мужа. Жены солдатские ходили без плода, нагульных ребят вытравляли у них равнодушно жестокие бабки-повитухи. Оттого чаще маялись скрытыми бабьими своими болями. Оттого в работе сдавали. Рыхлели. Оттого от тоскующего в бесплодии чрева рождались похоть и грех. Деревенские бабы и девки, как городские, от закона земли оторванные стали. Грех для греха, не для деторождения, приманивать начал. Больше покупали наряды. Приучились к мылу духовому, возили из городу пудру, дешевые духи и безобразные медяшки-брошки. Пошили, вместо шуб широких, короткие «маринетки», из-под платка пухового клок волос взбитых выставляли.

Денег у деревни много стало. Продала сыновей. Откуп получала. Пособия семьям солдатским на уплату за приманки на грех шли. Семейные мужики на блуд с чужими бабами, с девками льстились. Оттого свой род хилел. Слабей оплодотворялась и земля. Не хватало рук. По накатанной за годы войны дороге из города катились в деревню его пороки, дурная хворь и беспокойные, будоражливые мысли. А с году девятьсот семнадцатого город деревню вертуном завертел. Новое, новое, новое. Слова незнакомые гвоздили вялую, годами жившую своим обиходным мысль. Порядки, новизной пугавшие, налетали неустанно в приказах. Все старое на слом обрекали. И обо всем этом надо было думать. Удар за ударом, и все в башку, в башку, в башку! Тряси мозгами деревня! Ошарашилась она, шалая, ходуном заходила, за поводырей хваталась сослепу. Не стало в ней крепкой приверженности к своему исконному, деревенскому. Была жизнь подневольная, трудная, но истовая и мерная, многими поколениями позади утвержденная. Когда разрывалось тихое течение дней драками, боями на улицах, в пьяном угаре, пожарами, смертями, то и самые тревоги эти были старыми, понятными. Хмель и драка на праздниках во всем буйстве и дикости их были привычны и нестрашны. Играет ведь река в половодье, грозит и крушит, а потом уляжет-

ся, спокойная, мирная поилица. Теперь не то. Самую страшную стихию — кровь человеческую — разбудили, чем и когда ее утихомиришь?»

Все это передумал не раз и не два, много раз, умный широколобый Кочеров. И только в этих думах узнал, что бывает и разумному в жизни препона. Не осилишь! А познав бессилие, познал и сам непреоборимую злобу, бешеной хваткой терзающую человека. Глядеть не мог на Софрона: на другую сторону улицы переходил, когда встречался. Один раз Софрон приметил, что избегает его Кочеров. Оскалил белые здоровые зубы и заорал на всю улицу:

— Эй, молоканский поп! Чо в землю буркалы-то упираешь? С небом, видно, разлучку сделал? Правильно! Под ногами-то говно, а бывает и золото.

Нехорошо, мутно Кочеров на Софрона взглянул, ответил без крику, с достоинством. Только голос не был по-всегдашнему ровен. Осекался.

— Остановите ваши неприличия, гражданин Софрон Артамонович! Вы теперь на виду, не подобает по-прежнему озоровать. Как бывалыча в пьяном виде.

Весь яд, затаенный в намеке на прошлое Софроново, выцедил и, взбодрив голову, прошел, плотный, степенный и видом благожелательным, всякому приятный. Только подоплека рубашки горячей стала. Сердце в гневе сразу всего разогрело. Заходили гневные мысли в голове:

«Неразумные слова, как лай бестолковый, собачий. Прошел спокойно и не слыхал! Кабы только слова! Нет, ведь власть таким вот теперь дана, горлопанам. Самая что ни на есть дурнота наверху, куражится. Пьянчуга Софрон. Земли у него не хватало! Какой есть клок, и тот ребятишки старшие да бабы на срам всему селу засевали. А он, пьяный, по дворам куражился или спал под забором. Никогда старанья крестьянского не имел. Чужаком был. Савоська-кузнец — конокрад меченый. Башка боком приросла. Шею повредили, когда всем селом за чужих коней били. И живому-то не быть бы, кабы вот не я да другие небесновцы. От греха отвели, добить и не дали. А теперь он небесновцам за это отплатил! В молитвенный дом евангелических христиан пришел, всех изматерил, самое стыдное показал и про бога, в мыслях нельзя повторить, как выразился! Редькин, у которого внутри все сгнило, потому что всю силищу растаскал по новым местам: все искал, где лучше. Митроха-писаренок, с речью всегда похабной,— срамник. И другие-то: батрачье, измотанное по чужим дворам. Все корявые,

хилые, дурашные, самая шваль. Затерялись среди них трое богатых солдат небесновских. Не слыхать. Софроновы оборванцы над здоровым, хозяйственным, правильным за начальство поставлены. И там-то, в столицах, тоже, по газетам видать, в управителях половины русских нет. Евреев насоприглашали, оттого что крику в них, цепкости больше. Э-эх, мать-Россия! Как испоганили тебя татары, так устою в русской крови и не стало. Все под чужаков прешь, на бунт нарываешься!»

Не видел, как и домой в думах дошел. А дома опять новость. Красивая, рослая жена, в сорок лет молодым румянцем приманчивая, в слезах его на дворе встретила.

— Приказ тебе из волости от Софрону... Ты, Жиганов, Глебов да еще каки-то, уж не дослушала, в десятски наряжены. Айдате по дворам народ на сходку сзывать.

Сразу понял: для насмешки. Всегда в десятских самая рвань ходила. Мальчишек из школы тоже наряжали. А теперь Софрон измывается: самых уважаемых, богатых из Небесновки выбрал.

— Кто приказ передал?

— Артамон Пегих. Да в избе он. Поди спроси сам.

Оттого, что на стуле и не в кухне, а в горнице сидел и дымил вонючей махоркой взъерошенный, будто год нечесанный, Артамон Пегих, горница хуже стала. Золотые буквы изречений евангельских и наставлений учителей, что на стенах в рамках под стеклами висели вместо икон, казалось, потускнели. На крашеном лоснящемся полу от огромных заплатанных валенок лепешки талого снега и грязь. Занавески городские и вязаные скатерти на столах в дыму потонули. Сурово сдвинул Кочеров брови, снимая шапку.

— Брат Артамон, табачное зелие почитаю для человека вредным и богу неугодным. Пристав, когда заезжал, тут не куривал. Упреждаю вас обстоятельно: прекратите табакокурение!

Артамон шмыгнул носом, плюнул на папироску и кинул на пол.

— Что же, кады вера ваша молоканска така! Брошу. А вот как вы полагаете, иконов не надо, а эти вот, в рамках, этта почему? Опять же табаку не надо, а с бабой спишь? В ей греху-то боле. Староверы, энти которы...

— Не время, брат Артамон, нам сейчас об вере разговоры рассуждать! Свою-то забыли вы. Како дело до чужой! За делом за каким ко мне, ай как?

— Ы-ы-х ты, какой спесивый! Не вашего, дескать, уму дело!

Вдруг взъерошился и громким звенящим голосом на всю комнату:

— Врешь, нашего! Под задницей-то у вас сидели, свету не видали. Теперь обвязан ты все рассказать. Обвязан! И я желаю знать, чо к чему. Рассказывай про свою веру!

— Не кричи, брат Артамон! Господу злоба неугодна, и я в грех с тобой входить не стану. Зачем прислан?

Сам прозеленел весь и пальцы в кулак, а держится, не кидается. Только в глазах уже сладости нет. Кровью налились.

Артамон сплюнул.

— Нужон ты мне с разговорами! Так я, поучить. За брюхом за твоим прислан, вот зачем. Иди-ка, потряси его! С батожком под окнами походи: на митингу, мол, товарищи. Вот зачем!

— Софронова выдумка?

Дух с хрипом перевел. Артамон удивленно-восторженно головой затряс.

— Вот чо, аж вздохом подавился. Ну, ну... Во каки! Срамотно мир извещать, под окошками ходить. А мы ходим, ничо. Много спеси, много у богатого! Пойдешь ли, чо ли? Жиганов не пошел. В исполком уволокли. В холодной сидит за ослушание. Тебе как понимать? Тоже в холодну?

Все забыл Кочеров. Хватил стулом об пол так, что разлетелся на части.

— Пшел вон, пакость!

Артамон от неожиданности мигом в дверь, согнувшись, выкатился. Но оповещать о сходке Кочеров пошел. Степенной обычной своей походкой шел по улице, только на лице смиренье и страданье изобразил. Медлительно, кротко батожком в окна постукивал.

— Граждане! Братья! На сход пожалуйте.

За ним по всей улице шепот смущенный и возмущенный:

— Кочеров под окнами ходит!

— Ну, Софрон! Экого растряс!

— Ат, халиганы! Измываются!

— Христос терпел и нам велел.

Опостылели сходы, но шли. Опасались дома оставаться. Ждали решенья насчет земли, хозяйства. Но приходили уже к распре готовые. Каждый своим еще дома возбуждался. И до начала схода стоял гул спора, препирательств. Нередко были драки. Сегодня взволновало сообщенье об

аресте Жиганова. Толпились в сенях около запертой на замок клетушки с оконцем. Под замком сидел Жиганов. Около двери молодой парень с винтовкой стоял. Небесновцы старались словом перекинуться. В дыру оконца кричали:

— Алексей Иваныч, потерпи!

— Одежу-то баба прислала ли?

Парень-караульный отгонял:

— Не подходь к арестованному! Нельзя! Подале! Подале!

Редькин мимо прошел, лицо улыбкой непривычной перекосил:

— Других долго саживал. Сам, старшина, посиди!

Сход начался по новому порядку, который Софрон с солдатами установил. Чисто молебен, сходки начали. Пеньем... Запели «Вставай, проклятьем заклейменный». Шапки все поснимали, но пели только Софрон, солдаты отпускные да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сходах терлись. И самой большой угрозой старикам было их неверное, ломкое, но всегда радостное пенье... Мужики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо. На селе зубоскалы дразнятся:

— Как есть чертова обедня! «Проклятому» молитву поют!

Небесновцы все светские песни бесовским игрищем считали. Пели только свои псалмы на голос песенный. Оттого их хмурое молчание было привычным.

Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри в глаза бьют свет и ласка. Оттого зорок и чуток. Как спели, без ругани, по-доброму сказал:

— Пошто стеснились, старики? Голосу в песню не даете?

Отозвался смущенно Артамон Пегих.

— Ладно уж! Свое отпели. Молодых послухам!

Софрон весь в его сторону подался, трепетный и радостный:

— Товарищ Артамон Петрович, как мы партейные, понимать должны. Песня эта для пролетарию складена. Интернационал значит: всякий, который неимущий, жид ли, хрестьянин — все вместях. Понимашь? И как раньше нас проклятым обзывали, мы им для ответу! Покажем, дескать, каки мы прокляты! Понимашь?

Прямо в рот Артамону лез, старался. А тот подальше подался и совсем сникшим голосом сказал:

— Сумнительно. Слово черное, а промежду прочим дозволям! Все одно уж...

Фронтовик Семен Головин вступился.

— А что касательно слову интернационал... Это слово большевицкое. Большевицкий язык трудный, но ежели в корень дела взглянуть, обстоятельный. Хлесткий!

Артамон Пегих деловито, без улыбки, подтвердил:

— Куды хлеще.

Небесновцы засмеялись. Но Кочеров, мучась нетерпением, не выдержал, крикнул из толпы:

— Довольно бы, братья, обученья-то этого! Дела разобрать надо. Зачем скликали народ!

Толпа задвигалась, загудела:

— Дело... Дело изъясняй.

Всегда мучимый болью и злостью, Редькин надрывно прокричал:

— А это не дело? Слова городски надо знать! Штоб не омманули.

И крик его был близок и понятен многим из софроновской партии. Приняли гнет новизны. Отшиблись от своих учителей-стариков. Городу передались, а исконного недоверья к нему еще не изжили.

Вдруг толпа закачалась, раздвинулась в удивлении.

Пятнадцать человек фронтовиков и молодых безусых парней с винтовками за плечами пробирались к столу. Сразу тихо стало. И четко, торжественно прозвучали слова Софрона:

— Революционна охрана!

Минутное жуткое молчание толпы подчеркнуло для всех: наступает новый час. Борьба здесь вот, в своей деревне. Оттого твердый, спокойный голос Софронов отозвался, как бранный клич:

— Вся земля в волости общая. Мир — хозяин. Отдельных хозяев нету. Разобьем на участки. Всех людей в нашей Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Интернациональной, волости тоже разобьем на коммуны. Каждой коммуне по участку. Миром сеять и убирать. Кто в коммуны не желат, пущай на печи лежит. Ни хлебу, ни сена не дадим!

Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, потом дрогнувший голос Артамона:

— А машины как?

В годы войны по всем деревням затосковали по машине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее помощью. Наслушались от военнопленных о царствах, где машины кормят и спине передышку дают. Но купить их могли только многоземельные, сильные. Разом подхватили Артамонов вопрос:

— Машины... Машины как? Машины?

— Из городу дадут?

Софрон опять твердо и победно:

— Приказ есь. Все машины у хозяев реквизированы! Мало ль у нас богатеев! По коммунам разделим.

Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Неподвижные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась. Будто спрятаться хотели. Только Кочеров, забыв всякую осторожность, не своим, резким, крикливым, голосом прямо с места заговорил:

— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю покупали. Последнюю лапотину за ее отдавали! У господ отбирать ладно. А мы как трудящие? Над трудящими изгиляетесь? Свово брата-мужика зорите? Небесновцы допрежь вас коммуной жили! Сообча землю покупали. Всей Небесновской обчиной. Грабители вы, а не устроители! Свово брата-мужика!

Закричал многоголосый зверь.

— Верно говорит!

— Не дадим!

— Пóтом, кровью наживали!

Разобрать слов уже нельзя стало. Все слилось в одно грозное: а-а-а-а! Но торжествующий крик Софронов все услышали:

— Силой отберем!

Если б не «революционная охрана», разорвали бы Софрона. Двинулись небесновцы к столу, а парни ружья на изготовку, сзади заовражинские и тамбовские мужики с грозным ревом. Кочеров зубами заскрипел, но понял: да, сегодня сила Софронова. Гурьбой, будто сговорившись, многоземельные повалили к выходу. Оставшимся в школе Софрон горячо объяснял:

— Брешут небесновцы, что их неправильно. «И у нас тоже коммуна». Брешут. Что ни дом, то разна секста. Бога-то свово на клочки разорвали. Добротолюбовцы, субботники, баптисты, евангельски хрестьяне. Грызутся, как собаки. Теперь заодно, как за свой кус испугались. «Землю всем обчеством покупали!» А разделили как? Кто сколь

денег дал! Маломочны, так и есть маломочны! А у Жиганова четыреста десятин. У Кочерова триста пятьдесят. «Трудящие». Пузо-то не больно натрудили! Все работниками! Кочеров-то за попа галдит да портняжит — и не нюхат землю-то! Жиганов на нас сидел! Пертрясем! Всех пертрясем! Нашего дню дождались!

Среди оставшихся была половина Небесновки. В первый раз властное требованье земли и хлеба слило вместе «православных» и «молокан».

Расходились опять за полночь. Софрон дольше всех в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый фронтовик остерегал:

— Изобьют на улице!

Но Софрон успокоил:

— Седни не тронут! Напужались!

А сам в нетерпенье крутился по классу, ждал, когда уйдут. Как надеялся, так и вышло. Ушли все, и открылась дверь в коридоре. Выглянуло тонкое белое личико.

— Разошлись!

— Ушли, Антонида Николаевна! А вы чо не спите?

И в дрогнувшем голосе Софроновом большая благоговейная радость. Непрошено, нежданно вошла в душу чистенькая барышня из города. Учительница. Как в исполкоме главным заделался, захаживать по делам стала. Разговор о деле, а улыбка такая домашняя, греющая. И потянулся на нее. Сгасал только на миг, когда мысль приходила: как все бабы. На почет льстится. Бегали раньше учительницы к старшине и станового привечали. Эта к новому начальству под крыло. Знал, а совладать с собой не мог. Каждому человеку праздника хочется. Бабы деревенские, с жирными тягучими голосами, с красными загрубелыми руками и грубыми тяжелыми словами — будни. Привычные, постоянные, надоевшие будни. И жена Дарья, рожающая, кормящая, на своей широкой спине выносящая всю работу по крестьянскому хозяйству, не нужна сейчас, в эти новые, торжественные дни. Раньше, когда читал книги, очень любил Софрон писателя Дюма. Так непохоже было все в его книгах на Софронову жизнь. Оттого прекрасно и недосягаемо. А рассказы о крестьянах и рабочих читал только для того, чтобы уважить библиотекаря, Сергея Петровича. Ни к чему, казалось, пальцами в своем гное ковырять. И признавал эти книги необходимыми только для богатых. «Им черного хлебушка охота, белый надоел. А нам беленького хоть кусочек. Заместо пряника к празднику!» Таким пряником празд-

ничным, никогда не пробованным, была Антонина Николаевна. Раньше водку пил, чтобы в пьяных мечтах не видеть настоящего. Теперь буйным хмелем допьяна напоила революция. Водки не надо стало. Но мечта во хмелю одолевала: все праздничное, неизведанное теперь будет. Был Софрон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой, а новой, встряхнутой, ищущей. Оттого над ним мечта большую силу возымела. Жиганову, Кочерову и на них похожим нужна была здоровая, широкозадая баба для продолжения рода, иногда для блуда. Софрон от книги заразу любви воспринял. Антонина Николаевна для него дурманным, расслабляющим соблазном пришла. Не мог с собой совладать. Тянулся к ней.

— Ну, что же, посидим здесь. Поговорим немного. Сторожа уж спят?

— Не видать что-то. Стало, спят.

Легкая, вспрыгнула на стол и ножками тоненькими, но крепкими, в тугих черных чулках, заболтала.

Думал, до боли в сердце, нежно:

«Пташечка... Касатушка...»

Сказать не мог бы вслух. Мял в руках папаху. Стоял среди класса смешной, взъерошенный, с растерянной улыбкой, сразу глуповатым сделавшей лицо. И то, что к себе в комнату не пускала, остерегалась, и то, что близко не подходила, только глазами ласку посылала, не сердило, а умиляло.

«Беляночка... Голубушка...»

А она скрыла легкой гримаской позевоту и спросила:

— Ну, как приняли новость? Кричали очень. А я за вас боялась.

Ведь все понимает, хоть женского полу! Слова такие легкие, к месту всегда. Так охота говорить с ней. Все бы рассказал, а язык во рту как бревно. Слова неудачные вылезают, нескладные. И еще комкает их огромная нежность.

А она одобряла.

— Вы совершенно правильно рассуждали, земля не может быть чьей-нибудь собственностью.

Поднимала для внушительности круглые тонкие бровки. Говорила залетевшие в уши чужие слова, но так уверенно и свободно. Будто свое, передуманное.

А дома толстая, неповоротливая Дарья будет лениво почесывать поясницу, скрести пальцами в свалявшихся косах и сонно тянуть:

— Светат, никак... К стенке лягешь ли чо ли?

Антонину Николаевну занимала и услаждала власть над новым волостным воеводой. Искушенная городскими, пакостными, без обладания, шалостями с гимназистами и офицерами, она видела, как мает и корежит мужика взбунтовавшаяся кровь. Понимала, что в узде держит только благоговейная вера в особую чистоту ее. Это было ново, смешно и радостно. Ножками играла, возбуждала, а кротким, чистым голосом и взглядом невинным предостерегала. Жутко было при мысли — чем кончится? Поцеловать бы не могла! В интимности, наверное, отталкивающе груб. Нескладный рассказ Софронов оборвался. Почуяла: опасно затягивать частые паузы в их разговорах наедине. Спрыгнула со стола.

— Поздно уж. Вы утомились сегодня.

Под окном на улице заскрипел под ногами снег. Кто-то осторожно карабкался на подоконник. Насторожилась и лицо сделала строгое, а сама пугливо поежилась.

— Подглядывают. Нехорошо говорить будут! Заходите завтра днем чай пить. Сама вам песочники состряпаю!

И ручку издали протянула! Э-эх! Какая сила в бабе бывает!

Зацеловал бы, а боится. Глядит, как на солнышко. Только взглядом всю выпил и руку до боли сжал. Каждый день видятся. И всегда вот так: в сторонке держит.

Когда вышел, видел: от крыльца метнулись к амбару две черные фигуры... Насторожился, вынул из кармана револьвер и выстрелил вверх. Испугало только тревожное «ах» за дверью. Крикнул туда молодо, радостно:

— Не сумлевайтесь!

И пошел по мертвой белой улице, которую будили, но не оживляли шалые взвизги собачьего лая. Два ряда темных, живое дыхание затаивших домов были печальны и предостерегали, как угроза. А душа не боялась, ликовала.

Оттого, что рука была настороже у револьвера, оттого, что в своей деревне в первый раз шел с опаской, росла и ширилась горделивая смелость. Оттого, что думал о желанной беленькой, по-весеннему шумело в голове.

А дома скверно стало. Вонь какая! Почиститься надо. Прибраться. Жирное тело Дарьино, рядом на кровати, будило тошнотную тоску, но притянул его резко к себе, охваченный нечистым, злым, отраженным желанием.

Совсем мало спать стал Софрон. Такая радостная бурливая полоса пришла, что страшно спать. Неохота спать. Жизнь расцветилась, заиграла перед тридцатилетним. Стал как парень молодой. Все хватай, лови, тормошись! В городе забирал дерзкие приказы. Узнавал короткие, тревожные и смятенные, как набат, слова.

В селе кричал: наша власть! Смотрел, упоенный, торжествующий, как учатся сгибаться перед низко в жизни поставленными непривычные к поклону спины. Любовался, как заходила бестолковая, рваная рать «маломочных» в грозном беспокойстве. Но в торжестве, для самого незаметно, впивал яд командирства. Не замечал, как в словах, в распоряжениях, в снисходительных шутках со своими маломощными похож становился на старшину Жиганова.

Для Антонины Николаевны мужицкую одежду на городскую сменил.

Словца городские обходительные усвоил. В городе Софрона уж выделяли. Одну его речь даже в газете, подправив и сгладив, напечатали. Газету Антонине Николаевне трепетно подсунул. Думал, обрадуется. Но она только ласково протянула:

— Ах, ваша речь здесь. Очень интересно! Вечером почитаю.

И больше о газете ни слова. Неужели забыла? Ведь для Софрона эта газета как грамота жалованная. По ночам просыпался, огонь зажигал, ее перечитывал. И казались напечатанные слова большими, крепкими. Читал их вслух оглушительным шепотом. Вырастал будто, в них вслушиваясь. Неужели забыла?

Из именья господина Покровского уездный Совет передал Интернациональной волости большую библиотеку и часть обстановки барского дома, которую не успели разворовать, растащить.

Софрон сам сопровождал от завода до села воза с книгами и мебелью. Всю обстановку в библиотеку приказал доставить. Новый дом для библиотеки определил. Верх в доме Жиганова. Дом большой, двухэтажный был. Жиганова в нижний этаж выселил. Жиганов не сопротивлялся, но в неделю одежда на нем обвисла и взгляд волчий стал. Обида прожгла. Сам Софрон установкой шкафов и мебели руководил. Надеялся Антонину Николаевну в библиотекарши определить. Смотреть сбежались со

всего села. Даже хмурые небесновцы пожаловали. Потное лицо Софрона сияло, глаза искрились, когда помогал по лестнице пианино втаскивать.

— Заиграм теперь на городской музыке! А тя-желенная, почеши ее черт! Товарищ Кочеров, подпоешь под музыку?

У Кочерова в лице давно уж румянцу не стало. А тут скраснел и сердито пробурчал:

— Не по нам плясы, гармони да матани городски. Это вы уж для всей волости, Софрон Артамоныч, первый гармонист. Забавляйтесь.

Софрон намек понял, но только сплюнул. Не огрызнулся. Когда пианино втащили, Митрюха-писаренок сразу пальцем попробовал.

Потом ладное что-то подобрал. Кочеров вздохнул.

— Все бесовски утехи. Гвоздей бы лучше на деревню дали.

Когда стали разбирать картины, Софрон сам смутился. Голых баб много.

Артамон Пегих пальцем в одну ткнул:

— Все как есть! Соблазн. Это для господского распалу, а нам ни к чему. У своей бабы видали.

Небесновцы плевались. Софрон распорядился:

— Сожечь!

Митрюха-писаренок спохабничал:

— Знамо дело — куды нарисовану-то...

Кочеров вздохнул:

— Сжигай не сжигай, все одно разблудился народ!

Книжки были в дорогих красивых переплетах. Долго гладили и щупали их тугими негнущимися пальцами. Такие в руках держали первый раз.

Артамон Пегих опять головой покачал:

— Не для мужицких рук. Засусолим! А чтение-то како в их?

Кочеров открыл том Пушкина на «Русалке». В глаза бросилась картина — опять голые. Сердито бросил на стол книжку.

— Непристойность одна!

Но Митроха-писаренок живо со стола подхватил.

— Э... Лександр Сергеич Пушкин! В школе слыхали.— И уткнулся в книжку. Потом вдруг закричал: — А занятно про самозванца тут!

Зачитал вслух. Скоро могучий хохот бородатых, пожилых мужиков покрыл чтение Митрохи. Очень понравилась сцена в корчме. Небесновцы ворчали, но подвигались

поближе, будто ненароком. Хотелось слушать. Кочеров возмутился.

— Братья, светско чтенье для греха, для пустой забавы! Одна для нас книга — Библия. Можно когда и для пользительных сведений что почитать. А эту забаву прекратить бы. Не по нам!

Софрон торопливо стал перебирать книги.

— Всякие есть, всякие. Вот тут и по землепашеству есть. А энту тоже сожечь!

Артамон Пегих спросил:

— А про божественно есть што? Про божественно люблю.

Кочеров зло и презрительно хихикнул:

— В большевицку партию записался, а про божественно запросил. Они про бога-то как сказывают?

Неожиданно от стола лохматую седую голову поднял Иван Лутохин, небесновский сектант. Пророком звали. Всегда по Священному писанию предсказания делал. Глухо и торжественно его голос зазвучал:

— По Библии, по священной книге нашей, большевики поступают. В руках бога все поступки их и по бога велению. Написано у пророка Исаии: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не останется места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей... И будут пастись овцы по своей воле, чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых».

Как все сектанты, целые страницы Библии знал наизусть.

Кочеров, как громом оглушенный, выкатил глаза и руками в стороны развел, будто увидал свои руки пустыми, а свое оружие в руках врага. Потом опомнился и яростно рявкнул:

— Ложь! Суесловие! Осуждат Священно писанье поступки, дела и слова ваши. Осуждат. Гибель им предрешат. Сказано про конец, про ваш, у того пророка Исаии: «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным». Это про вас сказано! Про слова большевицки. Разнесет вас господь...

Но была ярость Кочерова больше от гордыни, чем от боли. Потому горели одни слова Ивана Лутохина, а кочеровские сказались и сгасли. Артамон Пегих тоже с дрожью в голосе в спор вступил:

— Большевики по-божески хочут!

И многие из софроновской партии сбились у стола, торжествуя. Рушить старое хотели, но привычно обогрело небесное покровительство. Вековым пластом темная вера насела. И как от стены глухой, Софроновы слова, в городу заученные, отлетали.

— Попы на нашей темноте наживались! Правильно поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой».

Артамон Пегих головой затряс.

— Про бога выхерить из песни! Не желам без богу!

Фронтовики загалдели. Семен Головин махал руками, буйно кричал:

— А нам твово богу не надо! Кому помогал? Богородица в девках родила.

Увесистым, сильным ударом отшиб его к стене плечистый, сумрачный сектант. Головин с наскоку на него и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Ворочались на полу трое пыхтящим клубком. Ревом нестройным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала забежавшая на шум снизу баба:

— Задушили! Стриганова задушили!

Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жиганова. Скоро мужицкая рукопашная крушила вовсю. Стекла от шума звенели. Ломали стулья. Топтали тяжелыми сапогами дорогие переплеты упавших книг. И в драке кричали дико и зычно про веру, про бога. Прибежали бабы за своими мужиками, царапались, ловили за ноги, пронзительно визжали. Только когда избитому, в разорванной одежде Софрону удалось выбраться к двери, он послал верхового за охраной.

Сцепившихся в драке разливали водой, били прикладами и выгоняли из библиотеки. Семену Головину отшибли что-то внутри. Остался лежать на полу большой, замокший. По серому усу из поблекших губ текла тонкой струйкой кровь. А на лице ни страха, ни боли. Удивленье застыло.

Тонко, с причитаньем бабьим, проголосным, у ног его плакала жена.

Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Софрону:

— Вот эдак и тебя разутюжат.

Кочеров печально покачал головой:

— Темнота!

И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-городскому сшитого френча, с налитыми кровью глазами дико,

похабно ругался, размахивал руками. Зол был на себя, что револьвера не взял.

— Не приучился еще ходить с ним. Тоже, солдат!

Наутро приехал из другого села фельдшер, написал удостоверение о смерти Семена Головина. В тот же день хоронили. Богатые, почетные жители галдели.

— Хоронить без погребения! Богохульник!

Но старик Головин в ногах валялся:

— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына до бога!

Смилостивились. Послали за попом. Старенький, совсем в селе неслышный иеромонах, вместо сбежавшего попа, был дня за два только до побоища в село прислан.

Он отпел богохульника. Когда гроб несли на кладбище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами навстречу ехали.

Лошадь остановил Артамон, шапку снял и, кивнув на покойника, спокойно и ласково сказал:

— Домой поехал.

И в мудром взгляде его, проводившем гроб, не было ни жалости, ни страха.

Впитал за долгие годы единой с природой жизни: «Земля еси и в землю отыдеши».

Жена Семена Головина на кладбище дико, заунывно причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела старую одежду и сказала свекру:

— Айда ли, чо ли, в хлеву убирать.

И ни одной самой мелкой работы насущной в этот день не забыла, не перепутала. А вечером пришла к Софрону спрашивать:

— За мужика выдадут како способие, аль как?

Была за Семена из небесновских отбившихся взята. Грамоте сектантами обучена, считать хорошо могла и хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Софроном торговалась. Только ночью, все управив, в глухой и темной тоске залила едкими слезами грязную, засаленную подушку. Молодой мужик-то был и желанный. Опять же дети остались.

От Небесновки выборные к Софрону приходили:

— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина затаить. Для богу старались! Ненароком до смерти-то!

Но Софрон распалился из-за того, что его всего синяками украсили.

— Дело требует на людях быть, а куды с такой мордой выйдешь? И френчу новехоньку раздерюжили.

Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начавшего драку, и еще трех мужиков небесновских в город в тюрьму.

Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за устройство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили на стенку портреты, печатную надпись «Курить воспрещается».

Внизу под этими словами Софрон рукописью подписал: «так же и плювать на пол». Прямо против выхода повесили большой плакат: великан-солдат разинул рот и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стеклянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на мебели:

— Рубли по три поди за аршин при царе плочено.

Дарья Софронова тоже убирать в библиотеке пришла.

Поняла баба, как муж начальником стал. Все молчит больше.

Бабы распаляли, про учительницу говорили. Губы подожмет и молчит. Строгая. А, видать, мается. Глаза в черных кругах, и старанья в одежде нет. Долго книги смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчитывала. Потом вдруг сказала:

— Попалить бы их.

— Кого?

— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них беспокоится.

И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сторонкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новенькие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна, лебедкой, свободно, по-господски расселась.

Белый платочек пуховой и нежный румянец на лице в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Остановилась, кинуться хотела, закричать режущим бабьим визгом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила. Круто повернула и почти бегом до дому добежала.

Дома гнев на младшего сынишку излила. До синяков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голосила:

— О... о... о... и... и... и... Смертынька-а моя... О... и... м-а-а-м-ы-ы-нь-ка-а...

А в библиотеке Софрон перед барышней старался: заглавия книг в шкафах читал, указывал, что все по-городскому.

— Здеся читальня и завроде клуба. Здеся вот книжки получать, а там дале для библиотекарши комнатка. Полюбопытствуйте посмотреть!

И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол под белой кисеей, дорогие флаконы с духами. Кровать с блестящими шариками под атласным господским одеялом с двумя подушками, обшитыми кружевом. Дорогой, маленький, как игрушка, письменный стол на отлет от стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол круглый, с белой скатертью. Все из дома господина Покровского.

Сияя радостной голубизной глаз, Софрон пояснял:

— Нарочно в городу у барышни одной досмотрел, как расставляют и что для барышнев полагается.

— Очень милая, очень милая комнатка. У вас вкус есть, Софрон Артамоныч.

Эх, теперь бы облапил! Сейчас бы посмел, глядит как задорливо. Да бабы мешают. В дверь гурьбой, как овцы бестолковы, суются. И Антонина Николаевна застеснялась, опять в библиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось. Артамон Пегих допрашивал:

— Этта самый Ленин и есть?

Софрон гордо, как своего знакомого, представил:

— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Артамон голову набок, губами пожевал:

— Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазом хитер. Волосьев только на голове мало.

Софрон заступился:

— Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет!

— Знами, их дело — не нашинско. Волосья ни к чему. Таскать за их некому. А форму-то для его не установили еще?

— Каку форму?

— Ну, обнаковенно, царску. С пуговицами там, с медалями, с аполетами. Эдак-то, в пинжаку не личит. Для Россеи срамота: не одела, мол, свово-то!

Софрон засмеялся и к Антонине Николаевне повернулся:

— Необразованность наша! Все на старо воротит.

Антонина Николаевна по-умному брови собрала и наставительно сказала:

— Новое правительство — из рабочих и крестьян, потому и в одежде не хочет роскоши.

Артамон Пегих, приподняв клочковатые седые брови, зорко осмотрел ее с ног до головы, губами пожевал, но ничего не сказал. К портрету Троцкого повернулся:

— Этот ничо из себе, бравый! И шапка господска. Случаем не из жидов?

Софрон грозно прицыркнул:

— Ну, ты! Теперича жидам отмена вышла. Есь евреи, такой же человек, как мы. Почитай вон у Максима Горького, как над ими при царе-то измывались.

Артамон Пегих губами пожевал:

— Горького-то всем хватило тады. Все испили, зато теперь и в большевики записались. Сладкого-то мало ели. А я не для укору, у нас в Небесновке свои субботники есть. Парень бравый!

На столе, в рамке красного дерева, стояла кабинетного размера карточка Луначарского. Но подписи на ней не было. Антонина Николаевна и то не знала. Спросила:

— А это кто?

Софрон смутился.

— Кажется, по земельному делу комиссар. Чтой-то я запамятовал.

Артамон Пегих успокоил:

— Должно, сродственник Ленину какой.

Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше читали через стекло названья книг. Кочеров пустой передний угол заметил и одобрил:

— Икону не навесили, это правильно! Всякому вхоже. Мы вот, к слову, икон не соблюдаем, башкирин тоже в нашей волости водится. Эдак-то для всех равно.

Артамон Пегих вздохнул.

— Да уж чо весить-то? И православны-то отбились! Тады за веру поругались да человека укомплектовали. Не примат нас теперь икона-то. Ы-хы-хы!

Бабы у плакатов сгрудились. Ульяна-солдатка сочувственно сказала:

— Милай, в роте-то все прочернело, как орет. Чо это он?

Но никто ей не ответил. Софрон властно объявил:

— Ну, буде покамесь глазеть, граждане. Завтра часы установим, когда за книжками ходить, тогда пожалуйте. А сейчас закрыть пока надо.

Артамон Пегих затылок почесал:

— Ладно. А по часам-то уж небесновски пущай ходют. У их есь. А мы по брюху: до обеду да опосля до ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!

За Артамоном пошли и остальные. Кочеров на Антонину Николаевну, уходя, искоса взглянул.

На крепкие крючки Софрон дверь закинул и к Антонине Николаевне взбудораженный, радостный вернулся. А она опять тихонькая, строгая за столом стала. Как подойти?

— Дак вот, Антонида Николаевна, для вас расстарался! Получайте, хозяйствуйте!

Она тревожно в окно выглянула и улыбнулась Софрону. Но бегло, испуганно.

— Это вы про что?

— В библиотекарши вас определям! Для вас старался! Седни и переехать... А?

Голос мужским горячим нетерпением дрогнул. К ней за стол пошел. А она боялась, ежилась... Но комнатка уж очень хороша! Протянула ему руки. Как перышко на руки поднял.

— Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч... Куда?.. Девушка я...

— Баба будешь!.. Лапушка!..

Нес и давил лицо губами раскаленными. Будто отпечатать поцелуи мужицкие хотел. Но в дверь выходную забили настойчиво, часто. Антонина Николаевна с силой уперлась руками в грудь.

— Пустите... Ради бога!

Даже губы побелели! Какого черта принесло? Рвется Антонина Николаевна, ногами бьет, а в дверь стук все сильней и тревожней. Не донес, выпустил. И злой, багровый, взлохмаченный к двери кинулся.

— Кто там?

За дверью голос Дарьи, властный и дерзкий:

— Открой!

Антонина Николаевна тоненько, по-заячьи, взвизгнула сзади и в дальнюю комнату кинулась. Софрон сразу опамятовался: внизу стук услышат. Торопливо откинул крючки. Дарья вошла бесстрашно, лицом и грудью вперед. Софрон отступил. Не то испугался, не то растерялся. Дарья сама оба крюка опять накинула.

— Всей волости начальник, а ум-то видно, в ж... ушел! Средь бела дня это дело завел. Где б... то?

Голос у Дарьи оборвался, лицо пятнами пошло, а в плечах дрожь, в глазах — мука.

— Дарья! Убью!

— Не маши кулаками-то! Неколи. Небесновцы сговорились тебя за блудом поймать. Солдатка Кочеровска выболтала... Страм, страм какой! Прибегла я...

И голос оборвался.

— Придут, дак жена тут! Лучше сама топором зарублю!

Диким выкриком последние слова сорвались.

Софрон в разум пришел. Отвела баба беду. Не простили бы битому за блуд! Главный в волости — и за такое дело битый. А то и убили бы сами. Сразу стихшим голосом сказал:

— Жена, как же теперь?

У той лицо злоба скосила:

— Пакостить умеешь, а концы хоронить учить надо?

И властно к дальней комнате пошла.

— Барышня, госпожа! Айда суда. Бить не буду. Опосля рассчитаюсь. Иди сюда, сволочь!

И за руку Антонину Николаевну вытащила. У той от испуга слезы высохли. А волосы и юбку с кофтой уж поправить успела.

— Придут, виду не кажи, Софрон...

А в дверь застучали. Дарья кивнула на дверь.

— Открой.

Софрон откинул крючки. Первым вошел Артамон Пегих. За ним Кочеров и еще четверо. Три мужика небесновских, три тамбовских, а на лестнице бабий бестолковый гомон. Учительница городская — штучка тонкая. Сразу подбодрилась. Как ни в чем не бывало на вошедших глянула, Дарья глаза в землю, а тоже спокойная. Разом увидал Кочеров, что сорвалось.

— Прощенья просим, Софрон Артамоныч. Слыхали, что вы здесь еще, насчет газеты зашли. Спор у нас вышел.

Артамон Пегих простодушно заявил:

— Кака газета! Сказали, с учительшей в новом помещенье грехом занимашься. Старики обиделись. Поучить хотели: блуди, да место и время знай. А, промежду прочим, и нехорошо.

Антонина Николаевна тоненько охнула и руками всплеснула. Дарья грубо и спокойно заявила:

— Брешут все из ненависти небесновски. Софрон мне приказал прийтить, как все уйдут. С учительшей, говорит, чайком побалуешься на новоселье.

Артамон сердито в ответ буркнул:

— Како новоселье! Не дозволям здесь учительнишу! Мужчину надо, из городу. Эдака чо разъяснит?

Софрон поспешно подтвердил:

— Знамо, попросим из города.

Антонина Николаевна все порывалась сказать что-нибудь и слов не могла найти. Вся пунцовая у шкафа стояла.

Кочеров задумчиво бороду погладил и сказал:

— Ну, нам здесь делать нечего. Мир прислал, не своей волей пришли. Айда-те, граждане!

У Софрона все кипело внутри, но Дарья смущала. Сдержанно и спокойно ответил:

— Не след старикам бабью брехню слушать. Необразованность одна!

Мужики вышли. Задержался только Артамон.

— Ты, Софрон, башковитый. А, промежду прочим, остерегайся. Дыму без огня не бывает.

Потом ясно, умно на Дарью взглянул и улыбнулся:

— Баба-то у тебя разумная. Не в пример прочим! И ушел.

Как остались одни, Дарья опять властно сказала:

— Айда, барышня, одевайся да уходи. А то кипит, сгребу! Спарились, ай не успели?

Антонина Николаевна опять заплакала.

— Господи, как вам не стыдно! Где моя шубка?

Софрон угрюмо сказал:

— Помолчи, Дарья, ничо не было...

Его тянуло к плачущей Антонине Николаевне, но боялся дикости Дарьиной. Потому тяжело дышал и смотрел, будто безучастно, как надевала шубку учительница. Только, когда к двери пошла, сказал просительно, робко:

— Антонида Николаевна, лошадь на дворе. Мальчонка жигановский отвезет.

Учительница поняла, что так лучше будет, кивнула в ответ головой и вышла. Дарья проводила ее загоревшимся злобным взглядом.

— Ну, айда домой, Софрон. Только вот тебе мое слово: зарублю, если еще! Ты думаешь, я кого пожалела? Детей своих пожалела! Как был ты пьянчуга распоследняя, под забором тебе подымала, сколь раз молилась: умер бы, господи... Жалеть бы не стала. Люди бы не надсмехались. И на детях покор: пьянчужкины, Софроновы. А как выправился ты, детей никто не шпынят. А кто кольнет, так из зависти. Из-за детей себя скрутила! Помни, Софрон, еще не стерплю. Зарублю.

Встретились глазами, и не Дарья, Софрон свои в сторону отвел. Отвердела баба: зубы стиснула и в глазах черных — упорство.

Всегда так размышлял Софрон: «Баба — народ подлеющий: потому в ей дух на острастке только живет».

А сейчас острастки не находил, сам оробел и поверил: «И весьма просто, эдака зарубит».

Ночью, когда помирились и обмякла баба от ласки мужнинской, обнимая, все-таки подтвердила:

— А разговору нашего не забывай.

4

Баба в жизни всегда препона. Одолела Софрона Антонина Николаевна. Лезет в душу ежечасно и мешает в делах. От разлуки еще больше распалился. В школе видались часто. Только все на людях. Старался книгами заняться. Напрасно бился. И к библиотеке охладел. Из города ответили: прислать в библиотекари некого. Образованный народ к большевикам на работу идти не хочет. Советовали из своих кого-нибудь приспособить. Из мужиков некого. Всех позанимал новый порядок. Председателей и секретарей много потребовал. Артамон Пегих недаром жаловался:

— Куда ни плюнь, на председателя попадешь!

И все на грамотных спрос. А в селе они наперечет. В сельской школе почти все обучались, да позабывали ученье. Один раз пришла к Софрону жена Семена Головина, прошение принесла о пособии, которое Софрон за мужа обещал, да выдать позабыл. Все слова в прошении к месту были подобраны, и буквы читать можно, вполне разберешь.

— Кто писал прошение тебе?

— А кто будет? Я сама. Начетчики-те нашинские, спасибо, с малолетства обучили. Все письма мужу на службу сама писала.

— Ну, ладно, будешь у нас по книжной части. Жалованье получишь, вот тебе и способье.

И назначил Головиху библиотекаршей. Комнату, для Антонины Николаевны приготовленную, заперли. Открывали только на случай приезда городских, а Головиха приходила с утра, свекра и ребятишек двух малолетних накормив. Сидела до полудня, потом опять домой шла, кончала с обедом и до вечера опять в библиотеке.

Обязанности свои она выполняла старательно. Сказал ей Софрон, что надо в тетрадку выданные на дом книги

записывать. Так и делала. И неровным, но разборчивым почерком записывала в тетради:

«Качиров молоканский поп узял откуда появились люди на земле».

«Дед Евстроп узял без заглавию».

Книги давать на дом очень не любила, выбирала только старенькие и без картинок:

— Наляпате еще что на книжку! Не трогай — пущай стоит! Вот эту можно.

Два раза в неделю мыла в библиотеке полы и в эти дни посетителей не пускала.

— Пущай обсохнет! Завтре придете.

Сама очень любила смотреть картинки в иллюстрированных журналах. Читала мало — некогда. Больше, сидя в библиотеке, занималась починкой и вязаньем крючком кружев на продажу и узорчатых чулок, которые в моду в деревне вошли. Очень боялась ребятишек и парней. Орлицей кидалась за ними к книжному шкафу.

— Упрут чо, и не опомнишься!

Но отучить их от библиотеки не могла. Они были самыми частыми посетителями. Барабанили на пианино, смотрели картинки и читали книжки. Мужики занимались больше газетами. Заовражинские приходили слушать. Кто-нибудь из небесновцев читал обычно газету вслух. Головиху скоро одобрять начали. Баба разумная, со всеми соглашается. Начнет Кочеров говорить, что оттого неустройство у нас, что бога забыли и божьего слова не знают, Головиха вздохнет и поддакнет.

— Совсем народ спутился! А без богу как?

Говорит Софрон, что попы обман делали, народ обирали, тоже головой кивнет:

— Сказано, у попа глаза завидущи, руки загребущи.

Когда «Интернационал» пели, она подпевала. В церковь ходила по праздникам нередко. Уважительностью своей всем угождала. Платье и при муже носила по городскому образцу, только кофточку навыпуск. Теперь голову стала держать и в комнате непокрытой, а волос не взбивала. Добро библиотечное зорко хранила. Это тоже ценили мужики.

— Домовитая баба попалась!

В городе как-то вспомнили про библиотеку. Софрона запросили: много ли книг из именья господина Покровского доставлено? Софрон сообщил: три тысячи. Ахнули и написали, что пришлют из города знающего человека книги просмотреть и порядок в библиотеке устроить.

Бурливые, беспокойные дни череду свою вели. Потеплело дыхание ветра. Осели, побурели снега. Из-под них пахнуло на людей волнующей истомой земли, ее весенним желаньем и предчувствием оплодотворения. Чаще беспокоилась в стойлах скотина. Изводились похотливым мяуканьем на крышах коты. Румянцем жарким чаще приливала кровь к щекам девок. Податливей стали на ласку, разомлели и льнули к мужьям бабы. В сумерки вместе с густеющей темнотой надвигалась на молодых сладостная тоска, от которой беспокойным становилось тело. Старики мудрыми, знающими глазами определяли, когда на дворе и в семье будет приплод.

Хватками мучить стало Софрона любовное томление по Антонине Николаевне. Часто, грубо и жадно ласкал жену, но только сумрачней и злей становился после этих ласк. А Дарья стихла. Двигалась плавнее и мягче, бледней лицо стало. Взгляд внутренним, теплым и мягким светом засветился. Ребенка понесла. Ее бояться Софрон перестал. Но Антонина Николаевна сама ловко встреч наедине избегала. Пожелтевший и хмурый, он каждый вечер метался в школе и уходил домой замученный. Всегда у Антонины Николаевны другие учительницы или солдатки.

По-городскому развязные, дерзкие, они больше всего мешали Софрону. В хитром смехе, в скользнувшем намеке они давали понять, что видят тоску Софрона. Он настораживался и уходил.

В один вечер, по-весеннему истомный, Софрон, желтый и усталый, разговаривал с мужиками. Стоял в классе бестолковый, мутящий голову галдеж. Шли перекоры о земле, о весеннем надвигающемся посеве, о том, как распределять засевы озимых, о сделанном учете сельскохозяйственных машин. В школу вошел приезжий в городском меховом пальто нараспашку, в штанах галифе и френче, с красной звездой на черной кожаной фуражке, с пузатым черным кожаным портфелем под мышкой.

В споре его не приметили сразу. Растолкал народ и прямо к Софрону. Спросил скороговоркой:

— Где здесь исполком? Это какое собрание? Ячейка в селе имеется?

Софрон ни на один вопрос ответить не успел, а он уж опять скоро-скоро сыпал словами.

— Здравствуйте, товарищ! Я вас в городе видел, сразу же узнал. Вы, кажется, здесь предволисполкома? Ага, отлично! Поедемте в библиотеку сейчас. Вот мой мандат. Это собрание ячейки? Слышал, слышал, вам удалось сразу

многочисленную организовать. Здравствуйте, товарищи, готовитесь к выборам в Советы? Какие планы у вас земельного распределения? Да, да, знаю, разбились на коммуны! А где здесь меня чаем напоят?

Артамон Пегих даже головой покачал и внимательно в рот приезжего посмотрел. Подумалось ему:

«Чисто машинка кака внутре слова выгонят. Так и сыплет! Рвач ай пустобрех?»

Пока приезжий стрелял без отдыха вопросами и сам отвечал на них, Софрон прочитал мандат и, уловив минуту, объявил собранию:

— Инструктор по просветительной части. Вам желательно библиотеку посмотреть?

— И библиотеку, и в ячейке вашей позаняться. Программу проштудировали? Обратите внимание на вопрос о нашей земельной программе. Я вам сейчас объясню...

Передохнул, потому что Антонина Николаевна вошла. Улыбнулся ей широко и радостно, отчего сразу милым стало курносое, скуластое лицо.

— Здравствуйте, здравствуйте, а я ведь забыл, что вы здесь обретаетесь! Право! Совершенно забыл! Вы ведь помните меня? Ну, да, да! В партию еще не решились записаться? Надо, надо! Интеллигенция саботирует, но у вас здравые суждения. Чаем напоите? Я сейчас вот.

К мужикам повернулся и сразу умным и острым, странно противоречащим беспорядочной говорливости взглядом в лицо Жиганову уперся.

— Вы из крупных хозяев? Сельскохозяйственные машины есть? Это неизбежно, вспять ничего не повернете! Пролетариат сумеет заставить признать его волю.

В полчаса метко, верно выделил из толпы взглядом и вопросами представителей разных толков расколовшейся, смятенной деревни, наговорил много слов, но уже приучил понимать его скороговорку.

Артамон Пегих утвердил:

— Рвач.

Софрон засмотрелся на его подвижное, будто брызжущее мыслью, движением, словами лицо. Даже об Антонине Николаевне забыл. Вспомнил, и заныло привычным, нудным ставшее томление, только когда инструктор сказал:

— Поедемте с нами, товарищ, в библиотеку. Вот мы с предволисполкома... товарищ Конышев, да? Я помню. Фамилии сразу запоминаю. Ну, поехали! Втроем не тесно

в санях? До завтра, товарищи! С сектантами мне очень интересно побеседовать. Небесновка у вас где?

В санях дорогой вдруг притих. И было непонятно Софрону, слышит он его или потонул в своих думах. Лицо в сторону отвернул — не слушает, видно. Но Софрон, путаясь, продолжал рассказ о волостных делах. Кровь жгла, потому что тесно втроем в санях. Плечо и нога Антонины Николаевны через полушубок слышны. Говорить все-таки легче, чем молчать и слушать буйный трепет желанья. Но слова неровные, негладкие выходят.

А инструктор, оказывается, слышал. Выходя у библиотеки из саней, сказал Софрону:

— Вы правы: трудней всего с сектантами. Книжники, каждую букву учтут, а декреты у нас того... Не всегда ясные. Что? Не хватает людей? Город поможет, только и там мало. Товарищ Хлебникова, прыгайте! Приехали!

Головиха закрывать библиотеку собиралась. Препиралась с молодежью, не желавшей уходить. Увидав вошедших, сразу поняла: «Из города начальство».

Поправила кофточку и, приветливо улыбаясь, поклонилась чуть не поясным поклоном.

Инструктор сразу уперся взглядом в плакат, изображавший солдата с разинутым ртом. Заливисто и громко засмеялся:

— Это вы что же, все на заем свободы подписываетесь? Товарищ Конышев, как же это вы проспали? Товарищ Хлебникова, а? Снять, снять! Запоздали. Ах, чудаки! И книжки у вас, верно, так же: на стенах — рядом с Лениным — заем свободы, а в шкафах — вместе с Марксом — Иоанн Кронштадтский. А? Товарищ библиотекарша. А? Не читали книжек-то? Иоанн Кронштадтский есть? Убрать, убрать вместе с плакатами.

Головиха сконфузилась.

— Где их тут все-то углядишь каки! Да новы-те трепать не даю. Стоят, и не видать каки. Так, тряпочкой обмахну...

— Тряпочкой! Большевики, товарищ, народ такой: хотят, чтобы все скоро и первый сорт. Мы срочно сделаем всех грамотными и умелыми. Библиотеки сразу все поставим по последнему слову библиотечной техники. Вы не слыхали про десятичную систему Дьюи? Таблицы Кеттера здесь есть, товарищ Хлебникова?

Головиха вдумчиво повторила:

— Ке-кеттера.

И по привычке согласилась:

— Да, да... Кеттера.

Инструктор взглянул в ее карие ласковые, со всем соглашающиеся, но умные глаза и засмеялся снова.

— Откуда вас товарищ Конышев откопал?

И броским шагом пошел ходить от шкафа к шкафу.

Головиха вдруг испугалась и растерянно-беспомощно всех осмотрела.

Инструктор вытащил из пузатого кожаного портфеля, который все время не выпускал из рук, две беленькие книжечки и стал объяснять всем, как ими пользоваться при приведении в порядок библиотеки.

Головиха, округлив глаза, внимательно смотрела ему в рот. Подростки и два шестнадцатилетних парня сгрудились у пианино. Двенадцатилетний сын Софронов Ванька, случайно взглянув на Головиху, громко фыркнул.

Инструктор оборвал речь и повернулся к нему. Но в этот момент Головиха подошла к инструктору и ласково тронула его за плечо.

— Слышьте, господин... Товарищ то ись. Больно трудна этака грамота. Понять можно... Отчего не понять? Но так што, детная я.

Инструктор смолк и в первый раз не понял:

— Что, что?

— Детная, мол, я... Уж смилуйтесь! Куды тут Кеттер. Одному подотри, другого покорми, третьему рот заткни. Трое их у меня, детей-то... Уберешь да суды айда. А тут тоже, полы два раза в неделю мою. Уж сделайте такую милость, попроще как изъясните.

И в карих глазах такая оторопь и тоска, что у инструктора смех ласковой нотой оборвался.

— Детная, говорите? Ну, ничего, подмогу вам дадим. Все-таки грамотная, а? Нет, товарищ Конышев, ведь это трогательно: «детная»!.. А мы в планах намечали: библиотекарь должен быть универсально образован. Но «детная» — это хорошо. Мобилизуйте учительниц, товарищ Конышев. Библиотеку обязательно привести в порядок! А вы не беспокойтесь, товарищ библиотекарша, очень понятно все изъясним. Привыкнете! Для полов подмогу найдем.

Инструктор долго и ласково с Головихой говорил. На свои вопросы отвечал сам, но она расцвела улыбкой и кивками головы все ответы утверждала. Потом с молодежью занялся. Ванька Софронов поразил его и отца. Требовательно, с дерзкой усмешкой в серых глазах, он

задавал инструктору вопросы о новых порядках, о распределении земли, об отношении города к деревне.

— Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали! На ново войско то и дело: полушубки, валенки, хлеб! У хозяйства дело делать не дают. Все мужики в председателях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет? Войну, сказали, кончам, а еще друг с дружкой схватились.

В дерзости слов, которые бросал срывающимся напряженным голосом, в вызывающей усмешке глаз — смятенная ищущая мысль.

Хотел инструктор отделаться фразой «лес рубят — щепки летят», но, неожиданно для себя, обнял за плечи Ваньку, стал ходить с ним по комнате и посыпал мелкий, но четкий горох своих слов, зазвучавший глубокой полнотой человеческой искренности.

Говорил о том, что пластом тяжелым земля придавила деревню. Была сытее, но темнее, глуше. Миллионы народа жили, как кроты, с тяжелыми мыслями, с упорством мертвых, отживших верований, с тупой покорностью всякой палке. Все условия быта обрекали на продолжение такого существования. Кто приобретал знание, в деревню больше не возвращался. Огромная могила при жизни для миллионов людей: только труд, пьянство, дикие суеверья.

Пока царил прежний порядок, ни школы, ни туманные картины, ни разговоры изменить порядка не могли. Они только толкали к тому, что совершилось. Надо было разрушить систему этого порядка.

— Я не буду тебе рассказывать, что надо для города, а для деревни надо: облегчить труд, освободить человеческие силы для того, чтобы ум работал. Для облегчения труда нужны машины. Везде, где можно освободить тело человека от натуги. Машины делают в городах. Чтобы их сделать так много, как надо, необходимо освободить рабочих от хозяев, устроить хорошо их жизнь. Освободили. А чем кормить? Деревня для своего освобождения должна тянуться?

Он говорил долго и, в общем, несвязно. Когда замолк, Ванька Софронов сразу простым детским голосом вывод сделал:

— Стало, деревню отменят? Привезут суда всяки машины, все по-городскому устроют. Вон чо!

Видно было, что еще не решил, хорошо ли это — отмена деревни. Но глаза его засветились мягким блеском. Он застенчиво улыбнулся, бережно снял руку инструктора со своего плеча и выбежал из библиотеки.

Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего сына своего он два раза бил тяжким мужицким боем, потом старался не замечать. Сквернослов, курильщик, забияка, он не был изувечен мужиками только потому, что отец в силу вошел. Кроме похабной частушки и дерзких ответов, дома от него ничего не слыхали. А сейчас он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора, что, видно, много узнал за это время и передумал. Знал все мужицкие тревоги.

Инструктор взволнованно сказал:

— Д-да. Умный мальчишка! Замечательный молодняк у России.

И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, ответил:

— Да, пожалуй, эдаких никто задницей не придавит! Вырвутся!

Неожиданной волной колыхнулось отцовское удовлетворенное чувство.

— Мой халиган-то. Сын.

— Замечательный мальчишка.

Узнав о приезжем человеке, набрался в библиотеку народ. Антонина Николаевна на пианино играла, а все старательно, долго, на церковный медлительный лад, сближая «Интернационал» с национальной заунывной песней, тянули:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и не герой...

Инструктор уехал к Антонине Николаевне чай пить. Ночлег ему был приготовлен в библиотеке. Когда он вернулся, из библиотеки еще не разошлись. Заговорились, и беседа была необычно мирной.

У Софрона екнуло сердце, когда инструктор вышел с Антониной Николаевной. Но рассеял и отвлек разговор с народом. Говорить ему хотелось. Ожили, двигались и беспокоили мысли. Когда вернулся инструктор, на душе стало совсем легко. Шел домой и гудел:

Кто был ничем, тот станет всем...

Дома прежде всего спросил Дарью:

— Ванька дома?

— Спит.

Ванька спал на полу, у печки, с братьями. Кровать была только одна, супружеская. Софрон посмотрел на разметавшегося во сне сына, усмехнулся и неловко, но бережно поправил азям, которым сын одевался.

Инструктор прожил три дня. На второй, вечером, Софрон, опять был угрюм и лицом темен. Щемила ревнивая тревога.

Целый день Антонина Николаевна и другие учительницы работали в библиотеке с инструктором. И Софрон в этот день видел, как шли они рядышком по улице. Инструктор под локоток Антонину Николаевну поддерживал. А она заливчато смеялась и сияла глазами.

Софрон, мучаясь своей болью, избил ночью Дарью. Проснулся Ванька и кинулся на отца. И кричал отчаянно и звонко:

— Я знаю, с чего тебя корежит! Уходи от нас, а мамку не трогай!

Дарья так была поражена его заступничеством, что плакать перестала. Ванька всегда нехотя, с издевательством с ней разговаривал. Обидой глубокой терзал ее материнское сердце. Софрон махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел во двор. Потом, в одном летнем пиджаке, без шапки, как был, почти бегом двинулся к школе. Тяжелый от револьвера карман бил его по боку. Теперь он его никогда не забывал. В школе было тихо и темно. Софрон стоял долго, продрог и, опустив голову, пошел домой. От ворот круто повернул к библиотеке. Там еще горел свет, и в освещенное окно Софрон увидел инструктора. Он размахивал руками и что-то говорил. Сердце застыло в вопросе: с кем? Но в этот момент хлопнула наверху дверь, и донесся голос Митрохи-писаренка:

— Ладно. Заночую. Сичас до ветру только схожу!

Легким стало тело. Сразу почувствовал Софрон, как продрог и как хочется спать.

Ночью, накануне отъезда инструктора, Софрон опять дежурил у школы. Закутавшись в черный тулуп, прилип к черному сарайчику во дворе школы. В окнах комнаты Антонины Николаевны был огонь, но занавески, пропуская свет, разглядеть, что делается в комнате, мешали. Час или год стоял? Так велика была мука, что о времени забыл. Когда застучали засовом выходной двери, вздрогнул, как от удара.

— Ну, спи!

— Завтра провожать приду!

— Не стоит, рано уеду. А? Да, да, в городе увидимся!

Рванулся было за ним, но одним прыжком очутился на крыльце, у незапертой еще двери. Стояла, стерва, вслед смотрела, хоть и скрылся любезный уж за углом!

— Кто это? А-а!..

Стиснул ей рукой щеки и рот и, подхватив под мышку другой рукой, втащил в ее, недоступную для него в такой час, комнату. Для него недоступную, а для этого, городского... Зубами скрипнул, а глаза и уши, как на охоте, ловили все... Никто в сторожке не зашевелился. Крепко спят. Повалил ее на пол у двери и, прижав коленом рот, запер дверь на крючок.

— Только закричи, сволочь, башку размозжу!

Выхватил револьвер, махнул перед остановившимися, будто окаменевшими от ужаса и удушья глазами и освободил рот. Она с трудом и болью передохнула и встала.

— Только заори, попробуй!

— Не буду, Софрон Артамоныч!..

— «Артамоныч»... Заигрывала, а давалась другому. Показывай, не обсохла еще? Ах ты, шкура, б...

Бурный, прерывистый поток ругательств, самых безобразных, ошеломил ее. Попятилась от него к окну. Но он рванул ее грубо к себе, уронил опять на пол и, разрывая платье, навалился, закрыл собой и широко по полу разметавшимся тулупом.

В скверности и жестокости этого обладания самой едкой обидой, ранящей человеческое, было ощущение: ее тело привычно отвечает:

— А-ы-ы-х!

Встал, плюнул ей прямо в лицо, толкнул ногой и повернулся к двери. Тонкие, белые руки вцепились в него. Вскочила, прижалась телом, сегодня еще так страстно и свято желанным. А сейчас стало противно. Рванулся и заорал, не думая ни о какой осторожности:

— Ну-у!

— Софрон Артамоныч... Софрон... Не говорите никому... Я вас люблю... Я буду вашей... долго... всегда. Не говорите никому... Не сра-а-мите меня...

«И ведь лезет после всего! Только бы людям чистенькой казаться...»

В глазах мука и отвращение, ноги ноют от грубого мужицкого обладания, а губы шепчут:

— Я буду вашей... Не говорите...

— Ах, шкура! Па-а-кость!

Рванулся, выбежал, не помня себя от злобы и отвращенья. Деревенская девка морду бы искусала, а эта барышня... Он-то на них снизу, на беленьких, из своей-то грязи, как на бога. Ах, стерва, стерва!.. Притворялась недотрогой, мужика одуряла. А-а!..

Антонина Николаевна утром рано с инструктором в город уехала. Софрон весь день в кровати пролежал. Голову мутило, думать не давала обида. Перед кем с прахом себя мешал? Все они, городские, такие! Видом обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!

Дарья подходить к нему боялась, детей отгоняла и на них цыкала. Только раз спросила:

— Может, квашеной капусты на голову-то? Поможет.

— Не надо...

Мужики приходили, притворялся спящим. А Дарья с непритворной тревогой говорила:

— Трясучка ай сыпняк.

Ночью, когда Дарья осторожно улеглась рядом, стараясь не толкнуть мужа, он вдруг бережно, любовно притянул ее к себе и прижал губы к белой, набухающей в беременности груди.

Не мыслью, звериным чутьем, никогда не обманывающим, почуяла всю глубину его нежности и тихонько заплакала:

— Софрон... Желанный, соколик...

— Помолчи, Дарья... Помолчи, мать. Дура моя деревенска...

5

Слова, как набат, короткие, звонкие, звуком чуждым пугающие, все чаще и чаще доносятся. Еще заставами неснятыми мешают им сто пятьдесят верст до уездного города, сто десять до ближайшей станции. Еще дыхание великой тревоги только колыхнет и сгаснет в промежутке между бурей и глухой, мужицкой, застарелой тишиной. Но уже нет старого, унылого, в безнадежности страшного покоя. Еще живут за печью бабкины поверья, но уже пугаются и прячутся от криков новых деревенских коноводов.

Вернулся в Интернациональловку, Тамбовско-Небесновку тож, Редькин. Он долго пропадал в городах. Был не только в своем уездном, а и в губернском, порядки проверял. В селе дивились, что вернулся живой. Говорили:

— И чем жив человек? Костяк один остался, и тот некрепкий. Гнутый. Спина дугой. А все ерепенится! Еще лютей стал.

Только Артамон Пегих на улице Редькина повстречал, зорко в лицо его посмотрел и деловито сказал:

— А недолго тебе, Филимон, гомозиться-то! С ручьями смоет тебя.

Редькин взъерошился, обругаться хотел, но только сплюнул и отозвался глухо:

— Гляди, не твой ли черед? Отбатрачил до пределу, старик. А я еще потяну. Худо дерево два века скрыпит!

И в жарких глазах беспокойная мольба к жизни: дай эти два века!

Артамон губами пожевал и раздумчиво отозвался:

— Все может быть. Упористы вы, нонешние-то. Жадности до белого света в вас много.

И пошел к своему двору, старый, сгорбленный, до света белого нежадный, спокойно взглянувший в близкий свой предел, но на ноги еще крепкий, о внуках радеющий, большевик Артамон Пегих.

А Редькин Софрона по всему селу искал: допросить, долго ли будет слюни распускать, с молоканами манежиться. И не нашел его в селе.

Софрон на соседний хутор Хворостянский уехал, где переселенцы горемычные на каменистом, малоплодном, будто для них среди окрестных угодий плодородных вынырнувшем участке осели. Теперь волисполкому заявление подали:

«Мы нижеподписавшиеся крестьяне деревни Хворостянской в шестьдесят четырех дворов собравшись на сходе в числе сто три человек постановили дать нам землю. Небесновских молокан как на камне ничего не растет а к тому как земля ничья как тому пункту есть декрет большевицкого правительства, которому единогласно придерживамся как есть буржуи которых бить есть наше согласье к сему руки приложили».

Заявление написано лихим почерком Макарки, по прозвищу «Пройдисвет», присяжного хворостянского писальщика жалоб и челобитных. А под заявлением корявые буквы подписей и унылые кривые кресты неграмотных.

Обидой, барышней нанесенной, взбодрило Софрона. Горьким дымом разочарования, как лекарством едким, прочистило глаза. Появился в сини их свинец, которого раньше не было. Отошел туман мечты, и увидал Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не будет. Издали только приманчивы. Сверху улыбку шлют, а рядом стать не дозволяют. Рылом, дескать, не вышли! А, не вышли? Наша власть! И как всегда бывает, когда ожжет кнутом обида, ожили старые боли, казалось, изжитые и забытые. Бежал с фронта оди-

чавший, жестокий от дурмана бойни. Тогда не боялся, не жалел никого. А в своей деревне отошел, разнежился никогда раньше не испробованным почетом и доверием. Бей их всех, сволочей! Всех, кто слово поперек! Наша власть! Сразу увидал, что ничего еще не делал, только мечтал и сам «маломочных» одурял. Скуп и резок на слова стал, на книжки, на библиотеку господскую плюнул. На другой же день, как встал, за небесновцев принялся. Большой гурт скота отобрал, в город на прокормленье Красной гвардии послал. Когда узнал, что в молитвенном доме евангелических христиан на собрании в слове своем Кочеров поступок его осуждал, Кочерова самолично нагайкой исхлестал и в город в тюрьму отправил. Молитвенный дом печатями запечатал:

— Будя! Попели псалмы, на работе брюхи потрясите!

К хворостянцам поехал распаленный и готовый выполнить просьбу их.

Там, вместе с криками «будет, попили нашей кровушки!», «нечо валандаться, прикрутить богатеев!», передали ему жалобы на то, что товаров никаких в деревне нет, деготь дорог стал, что доктор в Романовке старого правительства «придорживается»: лекарств никаких не дает, от дурной хвори солдат не вылечивает. В гомоне крепкой мужицкой брани, несвязных слов и крика раззадорился сам и распорядился:

— Лавошников перетряси всех. Где запрятали товары? Нещадным боем бить, пущай скажут! Дохтура тоже поучить и в город отправить, а для округи в больницу за дохтура Пантелея-санитара поставим. Он всяки порошки знат. Выдавать будет. А сам я завтре в город, нащет требованию: какие есть наши права?

И уехал. А следом за ним, на дровнях, три подводы с хворостянскими. На перекрестке расстались. Софрон в волость к себе, а хворостянцы в Романовку: доктора учить и Пантелея-санитара на место его поставить.

Бурый снег под ногами проваливался. И в сумерках вечерних лежал по краям дороги, потемневший, пасмурный. А в степи тишина была переполнена ожиданием весенних бурь. В этой, затаившей в себе крик нетерпенья, тишине дышалось тревожно. Софрон понукал кучеренка Саньку и ерзал беспокойно в санях.

В Интернационаловке уже зажгли светцы и кое у кого керосиновые лампы, когда Софрон приехал. Мелькали в окнах и огоньками своими сгущали мрак в углах улиц, у ворот. Оттого не разглядел Софрон, что у его ворот

стоит Редькин, и вздрогнул, когда тот отделился от забора черной длинной фигурой.

— Ктой-то?

— Я, Редькин. Куды раскатывал?

— В Хворостянку. Айда в избу! Дело есть.

Редькин рассказал мало. Похожий на сурового угодника с иконы старого письма, худой, с бороздинкой глубокой и сумрачной меж бровей, он низко опустил голову, смотрел строго исподлобья и только кашлем да отрывистыми редкими словами прерывал рассказ Софрона. Оба решили на свету выехать в город. На огонек заглянул Артамон Пегих и тоже с ними выпросился. Ванька сидел у стола за книжкой. С отцом и матерью разговаривал попрежнему скупо, неохотно, но реже стал убегать вечерами на улицу. Услышав о сборах в город, вдруг поднял голову. Будто нехотя лениво процедил:

— Меня до городу не подвезете?

Софрон усмехнулся одним углом рта. Лицо светлее стало.

— Это куда же ты собрался, товарищ?

Глядя в угол, Ванька ответил:

— Там видать будет — куда!

Софрон рассердился:

— От, сопляк, разговаривать еще не хочет! Поучу вожжами, так заговоришь.

И, хлопнув сердито дверью, вышел с Редькиным.

Но на заре, когда подъехал на хорошей паре, в ковровой большой кошеве, захваченной в именье Покровского, Артамон Пегих, Софрон разбудил Ваньку:

— Одевайся, в город поедем.

Артамон Пегих одобрил:

— Тоже возжелал на город поехать? Ладно! Вы там к господам, как начальство, а мы на улках на городских поглазем. Я тебя везти вызвался. Нуждишка до городского базару есть. Внучка наказывала.

Раньше город чистенький был. Теперь, когда взметнулись на домах присутственных красные флаги, появились вывески с непонятными названиями, взъерошился, засерел солдатскими шинелями, потускнел и сразу прибеднился. Господа в одежде приубожились. В магазинах полки и прилавки уныло просторны и пусты стали. На базаре только то, что для еды, осталось. Редко-редко ларек с городскими приманками, и тот с запасами скудными.

На улицах, людных, шелухой семечек и орехов засыпанных, грязных, занавоженных, и народ все больше се-

рый. В домах присутственных — красногвардейцы с винтовками, начальники в одежде из кожи с револьверами, мутящий туман махорки, стриженые женщины с мужскими повадками, с папиросами и козьими ножками в зубах, бестолковый гул несмолкающих разговоров, окурки на полу и кучи сору в углах. Похоже, что из домов этих хозяева выехали, а эти новые — квартиранты. Останутся ли жить, еще не знают и не хотят домов обихаживать. И народ служащий непоседливый стал. За столами не сидят, все кучками собираются, руками машут и галдят.

Нет, не глянется этот новый город Артамону Пегих. Размышлял:

— Главно дело, не разберешь, который начальник над котором выше! Все руками машут, все приказывают, все речи говорят, и все с револьверами. У женского полу приману женского нету. Ну, к чему подобно: дымят, шапки мужицки понадевали, кричат без острастки и везде, как мужики, налезают, не ужимаются. Тьфу!

Недовольный и сумрачный вернулся на двор, где лошади стояли, и в сенях спать под тулуп завалился. В дом куда пойдешь? Номер в гостинице Софрону, как начальнику, предоставили. Хоть и грязно в нем, а все не на постоялом. Непривычно. Разбудил его Ванька толчком в бок.

— Деда Артамон, деда! Вставай! Купцов по городу водют!

Еще не развеялась сонная истома, но уже уловил в Ванькином голосе необычайное дрожанье не то от радости, не то от испуга.

— Чтой-та? Это ты, Ванька?

— Айда на улицу скорей! Купцов с мешками водют!

Побежали на главную улицу. Дорогой Ванька рассказал: муки в городе мало, из деревни скуп подвоз. Очень вздорожала мука. Рабочие в исполком: почему? Исполком запретил вывозить из города муку на продажу в губернию и цену на нее установил. Сегодня на заре крупные мучные торговцы пытались вывезти. Их поймали красногвардейцы. Возы отбили. А рабочие торговцев из домов вытащили в чем застали, наложили мешки камнями, дали нести и водят по улицам, а на углах бьют.

— Наши все, деревенски, бьют-то! Видал, с базару хворостянски, романовски, тамбовски побегли и из Демократической волости. Сейчас на главну улицу вывели. Я тятьку искал, да не нашел, тебя разбудил.

Со всех сторон на главную улицу бежали любопытные. Колыхалась сотнями голов главная улица. Стоял над ней

то вздымающийся, то опадающий смутный гул разговоров, восклицаний, криков. Одинаково жадно налезали друг на друга, толкались, орали и те, кто хотел бить купцов, и те, кто жалел их и возмущался расправой. Искренними были у всех только глаза: нетерпеливые, жадные. Хорошенько бы разглядеть, как бьют! Орала в толпе толстая Максимовна, торговавшая щами на базаре:

— Православны! Выпустите! Бока сдавили: задохну!

А сама пролезала, толкаясь локтями в обе стороны, к середине, туда, где шли с мешками купцы. Впереди, смешно семеня ногами, сгибался под тяжестью мешка бывший городской голова Зеленков. Он был в одном белье и ночных туфлях. Толстый живот тоже обвис, как мешок, над короткими ногами. Благообразное лицо, с размазанной кровью из рассеченного виска, исказилось болью, натугой и обидой. Бурые густые волосы смокли, прилипли ко лбу и вискам. Он таращил из-под бровей налитые испугом, покрасневшие глаза и молил робко, задавленно, как мяукал:

— Братцы!.. Товарищи!

За ним, спотыкаясь, связанные вместе чьей-то опояской, два прасола Жериховы, отец и сын. Седой старик с черными живописными бровями и молодой, похожий на поросенка, безбровый, с белесыми заплывшими глазами и носом пятачком. Даже в испуге лицо его не осмыслилось, не очеловечилось тревогой. Он и вскрикивал, как хрюкал. Старик матерился и тряс головой. Оба успели одеться, но у старика суконная бекеша и то, что было под ней, располосовано пополам. В разрез выступила желтая старая спина. За ними трое гуськом: приземистый, черный как жук, широкоплечий хлебный торговец Ишматов, в брюках, нижней изорванной сорочке и подтяжках. Он был сильнее других и под мешком сгибался меньше всех, но скрипел зубами и выл не от боли — от ярости. Чернозубый, с низким лбом, высокий, длиннорукий владелец паровой мельницы Мякишев лязгал в страхе зубами и часто спотыкался, наступая на оторванную штанину. Сзади всех молча волочил больные ревматические ноги в меховых сапогах старик с кротким иконописным лицом и серебряными кудрями. Первый в городе богач Миляев, продавший в рассрочку с жестокими процентами сельскохозяйственные машины крестьянству всего уезда. На нем от одежды остались одни лохмотья да сапоги. За купцами, подгоняя их, размахивая тяжелым засовом от ворот,—

высокий желтолицый мужик в грязной белой шапке с одним ухом, в рваном полушубке. Он зычно орал нараспев:

— Граждане! Глядите! Эт-ти вот муку вывозили! Глядите! Эт-ти наши буржуазы, грабители!

Сбоку, рядом с купцами, размахивая руками, солдат в грязной шинели, с походной сумкой за плечами. Вытаращив глаза — они одни жили на сером землистом истомленном лице,— он дико орал:

— Империялистов поймали! Вот они идут! Бей империялистов!

В толпе разноголосые выкрики:

— Бей толстомордых! Га-а-а!

— Выпустить им кишки!

— Мукой животы набить!

— Теперь слабода, а они муку вывозют!

— Все перва гильдия!

— Бей их по первой гильдии!

— Какая дикость! Какая жестокость! Где же власть?.. Это Зеленков впереди?

— Звери! Изверги! Убьют! Да не налегай ты, паршивец! Спину всю протолкал!

— Господи, что же это? Господи, что же это? А их уже били?

— Сенька-а, пролазь суды! Тута всех шестерых видать!

— Гра-а-жда-не! Эт-ти вот муку вывезли!

Семь солдаток визжали около самых купцов, наскакивая на них с двух сторон, стараясь ударить на ходу, подскакивая и подпрыгивая, как в диком танце. Прасковья Семенчихина всех визгом покрывала:

— У мине муки на квашню нету! На квашню не хватат!

Худой, косенький, однорукий курьер торопливо, широко шагал за солдатками, чтоб не отстать от купцов, не потерять их из виду, и громко, радостным, захлебывающимся тенорком рассуждал:

— Действительно, им там всяко praванско масло, а нам на муку нету! Де взять, когда ка-а-жный божий день надбавка! Кажный божий день! Бить их следует! Я согласен.

Густым диким ревом орали крестьяне, сбежавшиеся с постоялых дворов.

— С энтого вон шкуру содрать! За цабан иссушил мене. Всем потрохом заплатил.

— Мы каждый пуд слезой поливали, а нам кака цена?

— Нутре надорвали над хлебушком. А они на ем наживаются!

Играла в мужицкой крови обида вечного податника, боль натруженного, для чужой утробы, горба.

Играла стихийно мужицкая ненависть к белоручкам.

— Пузо наливали! На нашем хлебушке наживались.

— Бей их, сволочей!

На углу, у высокого крыльца большой аптеки, высокий, в шапке с одним ухом, остановил купцов. Разом насела на них толпа. Деревенские всех отшвырнули и били истово, сильно, деловито. Будто цепами хлеб молотили. Солдатки пронзительно визжали, совались бестолково к лежащим на земле купцам и в толпу. Ругались длинными похабными фразами и причитали о своей скверной жизни.

Прискакал конный отряд милиции. Начальник милиции был впереди. Расталкивая конем толпу, он кричал:

— Эй вы, прекратите! Эй вы, слу...

Докончить он не успел. Прасковья Семенчихина вцепилась ему в правую ногу и потащила с лошади. Дюжая, плечистая солдатка обняла его с другой стороны, руками у пояса. Он только успел подумать:

«Зачем она руки мне в карманы?»

И полетел с лошади вниз головой.

— Вот тебе, командер! Постой на голове.

Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат. Задрягал ногами в воздухе начальник. Толпа орет, гогочет:

— Вот так бабы! Выучили на голове стоять.

Прасковья приговаривала:

— Гладкий жеребец! Ляшки-те, как у борова.

— А ты его еще пощупай. Хорошень!

— Га-а-га... Го-го-го...

— Бей Зеленкова! Он на нас поездил!

— Подымай купцов! Еще водить!

Начальник милиции еле вырвался из бабьих рук. В разорванных штанах, избитый. Рад был, что каким-то чудом револьвер со шнура не оторвали. Но стрелять не решился. Побежал в исполком. Там члену военно-полевого штаба обо всем доложил. Оправдывался:

— Какое стрелять? Разорвали бы на куски, только выстрели. Весь в синяках. Исщипали, подлюги!

Член военно-полевого штаба, высокий большеносый человек в очках, смеялся:

— Ну, как вас бабы учили? А?

В исполком прибежал трясущийся, с отвислой нижней губой, бывший председатель уездной земской управы, купец Титов. Пропустили к большеносому.

— Что надо?

— Спасите... спрячьте... Самосуд... меня ищут тоже.

Высокий презрительно и спокойно сказал:

— Спрятать могу только в тюрьму. Сейчас напишу ордер. Идите, там примут.

— Благодарю вас... век не забуду... Спасибо... Ордерочек-то скорее.

Высокий засмеялся, написал ордер, отдал Титову и, поправив на голове кожаную фуражку, пошел на главную улицу, где ревела толпа. Когда пробирался сквозь нее, видел: на крыльцо аптеки вскочил высокий тонкий юноша, с бледным до синевы лицом и горящими глазами. Юношеский голос вырвался резким отчаянным выкриком:

— Товарищи!.. Товарищи!..

Желтолицый в папахе оглянулся и заревел:

— Племянник будет Зеленкову.

— А-а-а. Во-о-о... Ага-а...

Сгребли «племянника» опять первые бабы. Насели мужики. Он скоро замолк и вытянулся. Член военно-полевого штаба видел в толпе красногвардейцев. Они не только не мешали расправе, а сочувствовали ей. Это было видно по оживленным их фразам, по яркому блеску ненавидящих глаз. Им была понятна ярость толпы, потому что кровное родство связывало их с мужиками, которые били, как цепами молотили. Но толпа уже сгасала. Почти насытились местью. Высокий член военно-полевого штаба поднялся на крыльцо аптеки, откуда стащили уже пятерых. Мужественным зычным голосом он спросил:

— Что вы, товарищи, делаете?

И в простоте, холодной ясности этого вопроса была странная спокойная убедительность.

Затихать стали, от жертв своих оторвались.

Неуверенно прозвучал одинокий мужской голос:

— Стащить и этого надо!

Высокий на крыльце услышал. Спокойно отозвался:

— Стащите. Я без охраны и отбиваться не буду.

Как бы в доказательство, руки вверх поднял, потом опустил и, будто продолжая спокойный разговор, опять спросил:

— На кой черт с этими связались? Управу на них найдем. А вы убили их на улице, вас злодеями величать будут. А их за мучеников. Отведите живых в тюрьму! Там примут. Сейчас десяток еще арестовали. Проучим, будьте покойны! Умеем! А этих, мертвых и изувеченных, стащите в больницу.

Холодно поблескивая очками, спокойно, будто ничего не случилось, уверенный в себе, как хороший укротитель, он спустился с крыльца и пошел к избитым. В задних рядах еще слышались крики:

— А этому чего надо?

— За кого застаиват? За кого застаиват?

— Бей!

Но в середине, около высокого, стихли. Расступились и дорогу ему дали. Он спокойно взглянул на избитых, будто пересчитал их, повернулся и пошел к исполкому. Из толпы вынырнули оправившиеся милиционеры.

Мертвых, Зеленкова и реалиста, и троих, избитых до невозможности встать, утащили в больницу. Двух, которые встали и могли брести, спотыкаясь, повели в тюрьму красногвардейцы.

Артамон Пегих, яростно бивший купцов вместе с другими крестьянами, перевел дух, как после утомительной работы, вытер рукавом пот и оглянулся. Увидав Софрона, пошел к нему через улицу по расцветившемуся пятнами рыхлому снегу степенной мужицкой походкой.

— Слышь-ка, Софрон! Это кто же сурьезный-то, в очках?

— Из военно-полевого штаба.

— Сурьезный, и того... Без опаски человек!

— На фронту всю войну был, чего ему опасаться? Кабы из тыловиков, так давно бы ногами задрягал!

А человек без опаски шел и думал:

«Могли сгрести! Устали уж, насытились. Деревенское зверье работало старательно. Д-да... стихия! С этими еще придется и нам хлебнуть... Да!..»

И привычным движением руки пощупал револьвер.

Софрон расправу одобрил:

— Когда дождешься на их, городских, по закону-то, управу? Сбыли со счету которых, и ладно!

В городе тревоги было больше, чем в Интернационаловке. Там, в деревне, под сектантским началом, еще несмело и нестройно вмешивали новое в старое. Больше галдели, мало рушили. А в городе уже гулял хмель мести и разливного гнева. Ночами вытаскивали людей из насиженных гнезд, отводили в тюрьму, отбирали добро. Эта тревога усиливала ненависть Софрона к господам. К чистеньким, образованным. Об Антонине Николаевне не думал. Слышал, что в город с инструктором уехала, и пожалел инструктора.

— Зряшна баба!

На заседании исполкома один раз присутствовал и одного члена исполкома изругал за то, что тот против контрибуции был.

— Эдаких беленьких-то нечо спрашивать! Им штоб и горячий блин, да штоб не обжигал. Под задницу их надо! Колготят, а от делу под закрышку.

Всякая слабость и нежность вызывала в нем взрыв гнева. Не выносил машинисток в учреждениях.

Все барышни неженькие в машинистки определились.

В исполкоме одну с кудряшками, ласковую, изругал матерно. Когда она заплакала, сплюнул около стола с машинкой и спокойно отошел.

В городе опять в военную одежду оделся. И когда шел по улице, в шинели, с револьвером и бомбой на поясе, высокий и резкий, с суровым, свинцом отливающим взглядом, Редькин и Артамон рядом с ним казались арестантами, боязливо съеженными. Но вместе обычно они доходили только до исполкома.

Артамон не любил учреждений, махал рукой и поворачивал к постоялым дворам. Там разыскивал деревенских и проводил с ними день. Редькин заходил ненадолго, хмуро осматривал служащих и оставался только, если назначалось собрание. Собрания были часты. Редькин внимательно слушал всех ораторов. Но возвращался обычно в гостиницу злой.

— Нащет деревни никакого решенью!

Ходил в читальню, слушал газеты. Сходил даже один раз на любительский спектакль и долго после этого хрипло матерился.

Ванька целыми днями в типографии пропадал. Один раз послал его из исполкома Софрон за газетами, каждый день стал туда бегать. Свел дружбу с наборщиками. Они ему газеты и книжки давали читать. Читал он жадно, без разбору. Все будто что-то искал в книгах и газетах. Оттого что он ясно видел, как ловко и легко все обсуждают городские и как туго и тупо понимают все новое деревенские, загорелось его сердце обидой.

— Ладно, их в школу посылали! А меня одну зиму. Больше мать не пустила. Ничо! Сам дойду!

И оттого, что сам захотел, оттого, что не преподносили ему разжеванного, питательного, тратил много времени на непонятное, утомительное в чтенье. Делал открытия уже открытого, но не растерял своего и креп дерзкий, в себе уверенный и упорный.

В городе Софрона задержали. Воздух заулыбался по-весеннему. В полдень радостно прыгала с крыш капель. Город оглашался допоздна звонкими детскими голосами. Артамон беспокоился:

— Угрузнем где в логу. Снег-то пади уж не держит! Скоро ли, что ли, поедем, Софрон? Все шалтай-болтай, а в деревне-то телеги налаживать надо. Небушко-то уж звенить!

Софрон угрюмо отозвался:

— Успеешь еще, наладишь. Та и беда, приросли мы к земле и об себе не понимам, чтоб и земля полегче давалась. Дела еще есть в городу.

А в городе событие случилось. Получил исполком сообщение, что в восьми верстах от города остановился казачий полк или отряд, но много казаков. С фронта в степные станицы возвращаются. На конях, в полном вооружении и даже одно легкое полевое орудие с собой волокут. Люди и лошади заморенные. Будто бы на передышку встали. Военно-полевой штаб забеспокоился. Казаки — народ старой закваски.

Зачем им пушку в свою станицу? Постановил исполком послать делегатов для мирных переговоров: зачем и куда? И предложить сдать оружие. Делегаты вернулись благополучно. Казаки оружие сдать отказались, но говорят, что мирные. Идем, дескать, мимо города. Советскую власть признаем. Пропустили отряд. Но пришло распоряжение из губернского города задержать казаков. Решили спешно отправить Красную гвардию. Это было первое ее выступление. До сих пор Красная гвардия в городе занималась только охраной самого города да сбором контрибуций в селах.

В назначенный час со всех улиц потянулось к исполкому свободное наемное войско. Бурливая, дерзкая, разная по одежде толпа. Шли с винтовками. Одни в шинелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и тяжелых пимах, третьи в городской рвани и опорках на ногах, четвертые — чужаки в своей одежде, военнопленные. После всех отдельно прибыла киргизская часть. Впереди несли красное знамя и на пике металлический полумесяц с бубенчиками. Низкорослые, кривоногие, скуластые шли нестройными рядами и пели гортанными голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то полузабытой, но в давнем родной всем и волнующей дудке. И в ответ этой дикарской песне с подъезда исполкома раздались взывающие дерзостью и новизной слова приветствия:

— ...Красная гвардия, первое в России свободное войско трудящихся, охрана революции...

Это соединение киргизской песни, бестолкового гомона разношерстной, по виду убогой, разноголосой, разноязычной толпы, собравшейся на улице мещанского захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торжественных, бьющих отвагой вызова всем, всем, всем, было дико, страшно и бодрило душу величием, непонятным рваной кучке — рати смельчаков, появившихся во всех городишках взъерошенной РСФСР, чтобы лечь перегноем ее полей.

Эти большие слова были для них только звоном своего села. Чтобы была своя пашня, чтоб проткнуть пузо своему кулаку Миколай Степанычу, чтобы разогнуть свою спину, из своей глотки услышать крик вольный, непривычный: наша власть! Но чутьем, всему живому, а им, простым и цельным, сугубо свойственным, ощутили они широкую радость дерзости.

Оттого и трезвые в этой толпе казались пьяными. Охмелели буйным хмелем задора. Стреляли в воздух из винтовок, орали, не сердито, а задорливо ругались. Шестнадцатилетний белобрысый паренек, путаясь в длинной, будто тятькиной шинели, удивленно-весело кричал:

— Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, эй, затвору никто не видел?

Бородатый фронтовик добродушно-снисходительно выругался:

— Сучий сын, сопля. Теперь орудуй без затвору!

— Затвор потерял, вояка! Титьку мамкину возьми вместо затвора!

— Зеленый еще! Доспет, солдатом будет.

— Ничо, я без затвору... Я и так... его мать, казака растворожу. Ничо!

— И лихо, с выкриком, песню поддержал:

...к ружьям привинтим штыки.

Другой такой же зеленый и радостный кричал в кучу смешавших свои ряды киргизов:

— Эй, вот ты, крайний, как тебя?.. Малмалай-Далмалай, скажи: «пролетарии всех стран». Не знашь? Не умешь?

— Се умем! Мал-мал казак стрелю!

Смешанный гомон, бестолковая брань разношерстных, таких непохожих на старую армию, пьяных задором, присутствием в рядах и от водки пьяных, были противны многим в прихлынувшей посмотреть толпе. Люди, видящие только то, что можно пощупать, окружали толпу красногвардейцев враждебным гулом.

— Да, армия! От первого выстрела убежит.

— Затворы растеряли! Штаны-то на ногах аль тоже потерял?

— Сыно-о-чек, и чо ты с ими связался! Вернись, убьют!

— Фронтовиков-то не видать. Эти навоюют.

— Начальники все пьяные! Армия!

— Они начальникам-то своим в харю плюют! Дысцыплина!

— Како войско, за деньги ежели!

— Пленных с собой понабирали! Со своеми воюют, а чужаков к себе!

— Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!

Но и в этот гул вплетались крики своих красногвардейцам.

Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его, отзовутся ли, вопил:

— Которы нашенски сельчане... Митроха Понтяев, ай хто! Доржись! Нашинска волость в большевиках состоит... Доржись, робята!

— Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!

— Ничо, не баре, выдюжат!

— Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков твоих не видать? Змеюга!

— А ты сам-то игде видал армию? В кабинетах своих? «Не стара армия». Игде ты от военной службы прятался? Каку армию видал? Ну!..

На подъезде появился высокий очкастый член военно-полевого штаба.

Опять загремели, колотя захолустный покой, большие слова:

— Нигде в мире нет Республики Советов. В Европе гнет капитала...

«Белобрысый» понял, что Красная гвардия должна пригрозить Европе, и радостным ребячьим выкриком из рядов отозвался:

— Застрамим Европу, товарищи!

Ванька, румяный, радостный, тоже будто хмельной, Софрона в толпе за рукав поймал.

— Тятька, определи меня с ими! Чтобы взяли!..

Голос просительный ребячьим стал, а то всегда говорил как большой, грубовато и степенно. Не побоялся бы и без позволенья отца удрать, но резче взрослых, сильнее ощутил великость больших слов, в маленьком городке взметнувшихся, и увидал себя таким, каким был: мальчишкой, которому еще доверья нет.

— Определи, тятька!

— Ах ты, шибздик! Рано. Определю еще...

Шершавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу. Засмеялся радостно.

А сбоку от них, у забора, господин в черном пальто с барашковым воротником злобно и громко крикнул:

— Не красная гвардия, а красная сволочь!

Софрон быстро повернулся, но господин еще быстрее в толпе растаял. Софрон погрозил в толпу кулаком. Сразу потемнел и почуял: в углах враги.

Смело, товарищи, в ногу!

— Стройся! Эй ты, чертова перешница, в ряды!

— Стройся!

— А-а-а...а... ри...

Гудела толпа. Крепчал ветер. Русский весенний месяц будто обозлился на этих новых русских солдат, вспомнил, что он еще хмурый, зимний...

Начал падать снег.

— Мамоньки, никак мятель будет!

— Ничо и в мятель! Русский привычный.

6

Софрону доктор не понравился. Тонкогубый и глаза прячет.

— Прислали, дак живите.

— Без вашего разрешения не мог распорядиться дом открыть.

— Чо распоряжаться-то? Прошло будто то время, когда господа распоряжались! Отдерите доски да живите.

Стоит у стола так, будто остерегается к нему прикоснуться. Одежда военная, а чистая. Левая рука в черной перчатке Софрону в глаза лезет. А доктор ее всегда носил. Изуродованный палец скрывал.

— Благодарю вас. Завтра же устроюсь. Разрешите откланяться? — И к двери.

— Слышьте! Как вас?.. Господин доктор. Вы как, из военных будете?

— С начала войны на фронте. Недавно вернулся в город.

— Ишь ты! А я думал, тыловничали. Глядеть, вша не кусала! Солдаты-те не били?

— Что?

Даже взглянул прямо. Нехороший глаз, нутра не показывает.

— Не били, спрашиваю? После, как царя отменили?

— Я всегда честно выполнял свой служебный долг.

— Ыгым. Видать, старательный! Ну, айда!

Доктор плюнул только на улице. И то первый раз не сдержался умный протопопов сын. Хоть и утешал себя:

— Все-таки здесь спокойнее, чем в городе. Спасибо фельдшеру. Пригодился большевик.

Выпросился вместо отпуска в больницу сюда поработать недели на две, ну, а там половодье. Не выбраться в город. Можно и дольше пожить. Больницу из Романовки в именье Покровского перевели: зданье для нее было в именье приспособлено. Проснулись молчаливые дома разгромленного и брошенного завода. Глухой, как гроб, только господский дом заколоченный стоял. О нем и просил доктор. Открыть для жилья себе.

Софрон из города вернулся беспокойней и злей. Втянул ноздрями тревогу и привез ее в село. Колготили раньше бедняки, но часто сдавали. Но чем больше слабела зима, тем властнее становился призыв земли. Тем упрямее стояли за свои участки многоземельные, беспокойней и смелей тянули к ним руки батрачье и малоземельные. Оттого привезенную Софроном тревогу приняли и сразу на нее откликнулись. Парни и молодые мужики пошли служить в Красную гвардию. Грозили:

— Со штыками на пашню придем! Держись, толстопузые!

Мужики пожилые и старики тоже хмелю хватили:

— Будя! Наша земля, как мы есть трудящие!

Посредине села, на базаре, длинный шест поставили и на нем большой красный флаг. Когда проторенной тропкой шли старухи и старики в церковь, длинный красный язык будто дразнился с шеста.

Молитвенный дом евангелических христиан все еще стоял заколоченным. Собирались у евангелиста Глебова. Пели на голос песенный державинскую оду «Бог» и стихи о жизни, которая отцветает, как трава. Но о порядках государственных говорить остерегались. Только в тайном разговоре с богом, в думах просили: порази нечестивцев. Купцов будто не стало. Ходили в мужицких азямах. Без работников, сами на дворе своем управлялись. От тоски сердце у богатых беспокоилось, будто недужили. Часто в новую больницу к доктору ездили. Человек ученый и серьезный, им по нраву пришелся. Возили ему муку, яйца и масло. Пока зря не пропало. Отбирают одежду, скот и за продук-

ты, гляди, примутся. Бедные бывали редко. Некогда и непривычно лечиться.

Софрон, через неделю после разговора с доктором, в больницу приехал. Редькина привез. Из города Редькин приехал в солдатской шинели. Висела она на нем, как на шесте. Но от военного вида ее еще страшней стал.

Доктор встретил их в белом халате.

Софрон зорко оглядел белый стол, баночки и скляночки в шкафу.

— Много ль вылечил? Аль на погосте посчитать?

Доктор сдержанно ответил:

— Есть и на погосте, а некоторым помог. Деревенских лечить трудно. В грязи живут. Вот сектанты почище. Оттого что грамотные...

— Было время учиться. А ты с ними компанию водить-то води, да оглядывайся! А то самого полечим,— прохрипел Редькин.

Доктор глаза веками прикрыл.

— Лекарств вот нет.

Редькин сверкнул подозрительным сверлящим взглядом.

— А куды делись? Найди! Ай богатый класс все выпил? Давай мне каких порошков. Нутре горит.

— Выслушать, выстукать вас надо.

— Нечо стукать! Настукали уж. Траву давай, чтоб дыхать полегче! Под леву лопатку все шилом колет.

И закашлялся бьющим тело кашлем. Глаза выпучил.

— Легкие у вас больные. Надо питаться хорошенько, не утомляться.

— Ладно, сичас к себе в кабинет приеду и на мягку перину. Кабинет-то только у меня на подпорках, да перина тонка. Давай питья какого! Неколи растабарывать!

Доктор плечами пожал, велел фельдшеру в пузерек что-то наболтать. Все торопил. Очень мешал ему Софрон тяжелым неотрывным взглядом. А в это время в коридоре шум послышался. Без предупреждения распахнулись большие белые двери. Трое красногвардейцев внесли четвертого, бледного, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами. Софрон навстречу метнулся:

— Откудова? Где ранили?

Правая рука у раненого была привязана кушаком к поясу, и на плече шинель заскорузла от крови. Когда положили на кожаную кушетку, старший, в лохматой шапке, ответил:

— Тута стычка вышла, с казачишками. Посылали. Рубанул его один. Не насовсем, а ровно крепко!

Раненый открыл помутневшие глаза и сказал слабым, но внятным голосом:

— Кровища льет. Заткни чем ни то, пожалуйста!

Мычал от боли, когда раздевали. Но, услышав голос доктора: «Скверно»,— сказал опять внятно:

— Ничо, у мине жила крепкая...

Софрон доктору твердо сказал:

— Этого — чтобы вызволить!

Пошел и красногвардейцев рукой поманил за собой.

В тайном разговоре все выспросил. Неспокойно в уезде. Не зря тревога с отрядом казачьим была. Разбили их, а на станицу два набега другие сделали. Богатые села бунтовать начали.

— Про Небесновку в городе тоже говорили. Ну, на тебя полагаются,— сказал старший, знакомый Софрону.

Когда Софрон с Редькиным из больницы выходили, Редькин спросил:

— В господском-то дому доктор теперь?

— Он.

— Ыгым. А кака это пика на доме?

И показал на громоотвод на господском доме. Четко вырезывался в легком, весну почуявшем воздухе.

— Говорили, чтоб гром отвести. Грозой чтоб не разбило. Господа — народ дошлый. На небо молятся, а промежду прочим, от него обороняются.

— А разговаривать через него нельзя?

— Через пику-то? А как? С кем? С богом, што ли?

— А може, проловка кака под землей. Теперь всяки телехвоны да грамофоны...

— Не знаю. Ваньку надо спросить.

Вечером Ванька по книжке из библиотеки читал Софрону и Редькину про громоотвод.

Редькин слушал внимательно. Потом спросил:

— А книжка-то как, полная али нет?

Ванька понял вопрос. Ведь бывает на книжках: полный курс географии, сокращенный курс. Потер лоб и прочитал на крышке книги:

— Издание для народа.

— А, для народа! Не все здесь прописано. Господам больше известно. Слышь-ка, Софрон, слово сказать надо. Айда-ка!

И пошли из избы. Дарья недовольно отозвалась:

— Каки от своей крови тайности!

Но Софрон строго оборвал:

— Свое бабье дело знай!

С Дарьей жили хорошо после примиренья, но разговаривать с ней о деле Софрон по-прежнему не любил. Какой у деревенской бабы «смысел»? Ванька — другое дело. «Умственный» растет. Но раз Редькин не хочет...

На дворе, у хлева, в котором беспокойно завозилась корова, Редькин сказал:

— Зачем и к чему дохтур к нам приехал? Раньше фершала чуть выспросили. И я тебе скажу — за им купеческая дочь: панкратовска девка. С им, дознал. Я этту лекарству-то вылил.

— Ну?

— А казаки?

— Ну?

— С ими по отводу этому разговариват! Вести об деревне дает! И об нашинских солдатах.

Сказал с глубокой уверенностью. В самом сомненья не было. Софрон задумался. Заныло в сердце: ученый, одурить может.

— Ладно, сымем громоотвод, а там увидим.

В этот тихий час вечерний в господском доме сидели доктор с женой. В большой, хорошо вытопленной, но пустой комнате не чувствовали себя дома. Будто на пересадочной станции удалось укрыться. Передохнуть от шума и сутолоки. Но придет поезд, и радостно будет уголок этот покинуть. С собой привезли только дорожный сундук да постель. Поставили в квартиру две походных койки и длинный стол. Докторша лампу с собой захватила. Большая, горит на столе, а в углах от пустоты все будто мрак. Доктор смотрел в книгу. Но оттого что на лбу беспокойно менялись продольные и поперечные морщинки, Клера знала: не читает, о своем думает.

— Саша!

— Что, детка?

— Здесь тоже страшно! И как там мама с папой... Потянулась к нему, хрупкая. Привлекательная больной прелестью. Такой иногда отмечает вырожденье. Единственная дочка у пожившего бурно папаши. С детства страдала пляской святого Витта. Лечил с двенадцати лет этот доктор. Будто вылечил. Когда стало шестнадцать, женился. Взял приданое большое и любовь нераздельную, фанатичную, какая бывает только у больных, грезой живущих.

Приласкал снисходительно, как всегда. Но в синих больших глазах тревога не растаяла.

— Ничего, недолго, переждем. У мужиков это сверху только бродит. Сектанты со мной откровенны. Сегодня

узнал, в уезде много недовольных. Голова не болит? Что печальная?

— Нет. Томительно как-то. Предчувствия...

— Пустяки. Нервы.

С силой ударил в окна ветер, плачем нежданным пропел в трубе. Клера затряслась, заплакала. Умело успокоил. Дал лекарство. Когда улеглась в постель, рассчитал, раскинул в уме срок, в какой соберутся и окрепнут казаки.

А Софрон ворочался на деревянной скрипучей кровати и размышлял: как громоотвод убрать? Не причинит ли вреда, как за него возьмешься? И решил: «самого заставлю».

Утром Жиганов долго у доктора пробыл. Приехал насчет грыжи посоветоваться, а потом долго с доктором опасливо и чутко, стены слушая, шептался. Доктор проводил его веселый. На сиделок и бестолковых больных в этот день похозяйски покрикивал.

А к Софрону курносый подросток в огромной папахе, верхом на старой сивой кобыле прискакал. Привез замасленный серый конверт. В нем: усилить в волости охрану.

В полдень в больницу явился Редькин. Нелепым казался у смертью меченного револьвер. Как-то уныло торчал из кармана. И шинель на нем тоже — чужая обряда. Доктора в коридоре встретил. Он собирался сектанту опухоль гнойную и опасную разрезать. Распоряжения приготовить все нужное давал. Редькин его остановил.

— Срочный приказ от интернационаловского исполкома сообщить должон.

— Ну?

— Не ну, а веди, куда поговорить! Дело обстоятельное!

— У меня операция. Больной готов и ждет. Я сейчас занят.

— Ну ладно, доканчивай. Чтоб к обеду был в исполкоме! А то солдаты придут, приволокут.

Доктор сегодня нетерпеливый. Вспылил:

— Я ведь не хлеб из печки вынимать собираюсь! Человеческое тело резать! Что значит «доканчивай»? Не знаю, когда освобожусь!

— Я тебе русским языком сказал: к обеду штоб был в исполкоме.

Перекосил лицо, но бьющий злобой взгляд Редькина страшен. Укротился доктор. Глухо крикнул в дверь:

— Операции сегодня не будет. Скажите больному! Пройдемте в эту комнату!

Дверь перед Редькиным открыл. Через полчаса вышел бледный, с крепко сжатым ртом. У двери еще раз сказал:

— Передайте исполкому: громоотвод устроен не мной. Убрать его просто не смогу! Еще раз заверяю вас, что только темнота, незнание...

— Ладно! Опосля поговоришь!

В дверях еще раз остановился Редькин. Горящим волчьим взглядом своим еще раз доктора ожег. Над чем-то будто подумал, револьвер пощупал. Потом круто повернулся и хлопнул дверью.

За обедом жене доктор ничего не сказал. Но она следила за ним неотступным верным собачьим взглядом и ничего не ела.

Первый услышал ночью слабое хрустенье талого снега дворовый пес. Залился надрывным бешеным лаем. И почти одновременно с ним — Клера.

Взметнулась с постели, в длинной ночной рубашке, так быстро, будто лая этого ждала.

— Саша, Саша!

Нежность непередаваемая, мука неизбывная в голосе, а он спит! Только когда застучали сильными мужицкими ударами в дверь — проснулся.

А Софрон приказывал:

— Мы с Редькиным здесь подождем. Волоките. В комнате нечо пакостить. Суды живого.

— Кто там?

— Отворяй!

— Я не могу так... Кто?

— Отворяй! Дверь-то высадить долго ли, чо ли?

Завозились в доме прислуга и больничный служащий Егор. Появлением своим будто ободрили доктора. Наган в руке крепче почуял. А сзади Клера. Вцепилась в плечи тонкими руками. Будто в одно с мужем хотела слиться.

— Подожди, Клера... Не открою! Кто?

Голоса за дверью тише. Будто совещаются. Издалека ветром донесло:

— Эй, ктой-та тут?

Застыли в доме у двери в ожиданье. А Егор ворота и со двора дверь открыл. Почуял: не впустишь в дом, всем отвечать придется. Доктор слышал шаги, уходят. Перевел дух и в комнату из коридора пошел, придерживая левой рукой Клеру. И лицом к лицу, в солдатских шинелях, с револьверами. Не крикнул, не вздрогнул, только посерел. Рукой неверной хотел наган спрятать. Но увидали. Передний курносый увидал.

— С левольвером, сволочь! Айда! Этаких на фронте много покончили. Нечо дипломатию разводить! Айда!

Взметнулась докторова левая рука в черной перчатке. Солдат за правую тряхнул.

— Айда.

— А-а-а-а-а, не пущу! Не пущу!

Крик у Клеры такой, что, казалось, все стены пробил. Но скуластый и курносый парень с круглыми глазами, стоявший впереди, не поморщился.

— Не верещи, пигола! Про тебе разговору нет. Дохтур, поворачивайся!

— Не пущу! Насильники! Палачи! Подлецы!

Плевала, кусалась, царапалась. Ощетившейся дикой кошкой кидалась.

Мешала доктора взять. В хрупких руках неестественная сила. Курносый восхищенно удивился.

— Ат, сволочь! Глядеть, дохлятина, а цепкая! Волоки с им вместе.

Скрутил сзади руки парень, потащил Клеру по полу. Будто барана свежевать. Она кричала и билась. Двое доктора вытащили. Прислуга вся попряталась.

Черными тенями на площади за домом Софрон и Редькин. Резкий звенящий Клерин крик по заводу раскатом. Но за глухими дверями новые люди. Их крик никому в уши не бил, и они чужого не слушают. Плачем отозвался только Петька сторожев в больничной кухне.

Софрон приказал:

— Заткни бабе глотку. На кой приволок?

— Цеплятся.

Подол длинной рубашки Клериной комком в рот ей заткнул курносый, а руки скрутил и держит. Другой собаку пришиб.

— Эй ты, барин! Сичас конец тебе. Говори, чо по громоотводу казакам передавал.

Грозен и четок голос Софронов. С хрипом голос докторов:

— Нельзя по громоотводу разговаривать.

— А, нельзя. Р-р-раз!

Доктор упал. Курносый загляделся, ослабил кулаки, Клера вырвалась.

— Палачи! Насильники! Все равно конец вам скоро! Саша! Саша!

Заворошился доктор. Будто баба криком жутким, криком силы последней, предельной, его оживила.

— А, вместе хочешь? Отойди, дура.

— Вместе хочу! Вам конец скоро-о. Вместе!

Мужа телом закрыла.

Софрон и Редькин оба:

— Р-р-раз! Р-раз! Р-раз!

Сапогом Софрон попробовал. Мертвые.

— Ничо, баба старательная была. Слышьте, волочи за ноги в яму! Помойка тут глубокая.

Когда возвращались, Софрон на крыльце барашка маленького увидал. Из открытой двери кухни выбежал и жалобно блеял. Вчера только новорожденного в кухню Егор принес. Блеял, как плакал. Софрон подошел, поднял шершавой рукой нежное, трепещущее существо и прижал к шинели.

— Бяшка, бяшка. Тварь дурашная! Напужался?

Казаков в уезде утихомирили. Помогла весна. Лога помешали объединиться недовольным новыми порядками.

7

День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает жизнь в расход взятое у нее, изжитое время. С закономерностью неумолимой приводит смену весен и зим, никогда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каждому дню пребывания в жизни его тревогу и успокоенье, скорбь и радость. И чем ближе живое к началу бытия, тем непреложнее для него установ этой смены.

Там, за гранью, где город погнал соки жизни в голову, заставил шириться ум человека и сделал его дерзким и творящим всегда,— нет времени, твердо положенного, приказывающего: не раньше, не после; твори свое сейчас. А здесь, в деревне, где земля, выставляя свое плодоносное, готовое для зачатья или приносящее уже плоды чрево, устанавливает сроки, в какие ей нужны силы крепкого, выдубленного для работы над ней мужицкого тела,— властен закон установа жизни. И в ненасытимости поглощенья этих сил жесток.

Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой звериной крови, плодовито, как у земли, чрево. Но жадна и скупа душа, всегда мучимая собираньем, жаждой накопления плодов земных для огромной утробы всех, кто живет, рождает или мыслит, кто сцепляет звенья для продления жизни. Здесь у людей темным и старым, как земля, задавлена творящая сила человеческого ума, и обречен человек под гнетом тяжелой хозяйки-земли быть слепым и безжалостным даже к себе. Оттого туго открываются двери его души, и звериной хитростью оберегает он

их от широкого взмыва боли и восторга, и только во хмелю распахивается темный, большой, о духе, запертом в сильном теле, тоскующий. А хмель радостный сходит на него, когда земля властно позовет: твори, пришел час.

Приказала земля мужикам Интернационаловки, Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворошились, высыпали на улицу из домов своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужики в будничных портках и рубахах, но живой, говорливой, как в праздник, толпой шли, собирались у большой артельной кузницы на выезде из Небесновки. Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей, и здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино, тревожили кровь, радостным, пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было положено только отраженный от хозяев свет радости принимать и супиться от мысли: чего косами начиркаешь,— гудели нынче густо, как сильные. Оттого что длинной ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса. Солнце и радость сделали морщины на лице у Артамона Пегих лучами, грязно-серые волосы серебристыми. Маленький и сухонький, сегодня он будто распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый кричал:

— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то у нас?

— Деся-ать!

— Хватит ли по машинам-те?

И тревожным перекатом по заовражинским:

— А и то, хватит ли?

Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои и ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостные лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:

— Савоська... это нашинский... Постарается. Его для надзору поставим. А надо, так все мы закузнечим. Было б нам чем!..

Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сгоняло — угрюмо отозвался:

— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Эндаки, как Пегих да Редькин, накузнечат... Каки целы зубья-то, и те переломают.

Софрон насмешливо оборвал:

— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!

И непривычными пальцами начал свертывать папироску. Живя бок о бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.

Кривошей Савоська от дверей кузницы крикнул:

— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот, к слову сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!

— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспеем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-ка Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется, а он рота не раскрыват. Ай матюком подавился?

— Ха-ха-ха-ха!

— Го-го-го!

— Подавишься! Прятал, прятал машины для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.

— Наймем ли, чо ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?

Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:

— Не было б нас, и машины-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?

— А, реготали, а теперь учуяли?

Редькин завопил:

— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..

— Знамо, без их!.. Пущай сено у нас покупают.

— Не примать!

— А чо не примать? Пущай идут в долю. С лошадями они.

Софрон спор прекратил:

— Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам. Главно дело, лошадны.

— Правильно-о!..

Артамон Пегих справился:

— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.

— Айда в школу, в коммуны записывать!

— Чо и во сне не мстилось, увидать привелось. Ко-ом-му-ны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.

Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня жила переливами возбужденных человеческих голосов. На дворах звонко и горячо переругивались бабы:

— Таку недопеку ничем в коммуну примать, лучче нашу чушку! Скоро повернется. Я смехом, а ты и...

— Смя-яхом! «Айдате с нами»... Ды, мамынька, стыдобушка сказать людям: с Касатенковой Марькой связались. В девках-то люди обегали, до двадцатого году просидела. И мужика-то по себе нашла...

За кузницей на лужайке дети звенели.

— Который машины Жигановски, теперь нашински!

— Как раз! Вашински! А нашински!

— И вашински!

— А Жигановски?

— «Вставай, проклятьем заключенный, своею собственной рукой»...

— Ах ты, холера тебе задави! Семой год, а туды же «вставай, проклятый». Иди в избу, пока не взгрела!

— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел!

Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с деревянными саженями в руках.

— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.

— Чо остерегашь? Сажени-то, знать, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные от коммун, и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шумным отрядом в степь.

А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жужжит и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трес-

котне кузнечиков, в шуршанье букашек. Будто и не умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, и он в степи горяч, прян и ароматен. Полынь, трава горькая, и та на расцвете острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуш-а-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.

Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.

— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!

— «Шагашь»! Каке ноги есть, тоими и шагаю!

— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время отошло! Начинай отседова!

А степь отзывается: а-а-а!..

Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, будто подряд на крик взяли. Ванька Софронов всю ученость свою в траве растерял. Прыгал на одной ножке и пел звонко, заливисто:

Этта сама-д-перепелка,
Этта сама-д-перепелка,
Перепе-е-елка-а!

— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?

Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил... вместо перепелки змею. Кинул с размаху.

— Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот така обжалит.

Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и повеселел.

— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы — змея в руку!

Ванька за Артамона задорно Глебову ответ прокричал:

— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ими родня.

Глебов звонко, увесисто, по-матерному выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.

Косить обычно начинали после петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:

— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.

— Ничо, мы горячие, высушим!

Первыми двинулись машины. За ними уемистые рыдваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками, ведрами, одеждой, котелками и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разноголосья. Замелькали по степи бабьи головы, повязанные платками с красным по желтому, с белым по красному, разноцветными.

Участок артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок кудрявый, маленький. Издали был в степи как букет небольшой на столе. А подъехали, увидели, тенистый и приютный, с родником студеным.

Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заовражинский, с Артамоном на лобогрейке выехал. И вид у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.

Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:

— Нашинска коммуна — восемь семей. Мужиков с мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Пантелеевска коммуна — девять семей... Ничо, на луга силу двинули...

— Ва-а-нька! Вань! Чо растопырился, иди!

— А-а-а!

— Но-но-но! Но-о! Пантелей поспе-в-аешь?

— Поспем!.. Уля-а, ровне греби!..

У Аксиньи-солдатки голос из груди сам вырвался:

И э-эх да травушка под косы-ыньку лягла.

Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах ароматной смерти травы, налились тяжестью натуги спины, а передышку ни одна коммуна не объявляла. Не хотели сдавать, вытягивая свое тягло. Наконец прокричал своим Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины и на других участках.

— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!

— Айда-те-е! Три раза кликала!

Пить! Прежде всего пить студеную оживляющую влагу. Холодом нежит пересмякшие губы. У родника долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, потом так же долго, деловито, старательно, как работали, ели из общего котла Дарьино варево, запивали с густым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда затихла степь. Вповалку

в коммунах полегли отдыхать люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не боится. Но недолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб. Поднялась коммуна, и снова шум, и треск, и гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласно двигался на общей работе Глебов. В пылу ее забыл, что не один хозяин над полем. Вспомнил только ночью и долго заснуть не мог, хотя и устал от работы. Ворочался и кряхтел.

Из леска доносился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парней. Когда спустился на землю ласковый полог ночи, молодежь от станов подальше ушла. Переливами будоражливо голосов своих полог этот колыхала. В кустах пары жарко обнимались, больно целовались, любились. Но когда обвевал холодок зари и прогонял со станов истому сна и вставали старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хмелем криков и песни, молодостью согретую ушедшую ночь славили. Ссоры в коммунах во время работы были редки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтоб отстать, потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскандалил. Он на покос только наезжал, и как раз в его приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське-кузнецу.

— Айда, парень, в кузницу!

— Ишь ты ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу. Не сработашь, не прогневайся.

— Дак нашей-то коммуне как без машины?

— Ну, косами косите!

— Я те покажу «косами»!

Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от исполкома кузнецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каждый день новый случай учил, направлял порядок, и все уверенней становились Софрон и с ним согласные. День за днем, к концу косьба. Праздников не справляли, хоть иногда и тосковали по ним. Но отказывались: на себя работали.

Передряги начались только, когда стали сено возить. Глебов на своих лошадях воз за возом, а артамоновская лошаденка притомилась. Он чесал затылок, поглядывал на затуманившееся небо и ахал:

— Што ты станешь делать? Подкузьмила лошаденка! Везде бедному закавыка!

Ванька Софрону сказал:

— Мы чо же, сено-то сгребали, сгребали, а теперь облизываться станем? Дожди пойдут, сгниет. На своей спине не вывезешь.

— Тебя не спросили! Знам, сделам.

Новый приказ прорвал затаенный гнев богатых. Долго галдели у волости, когда объявили, что лошади в коммунах тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны по очереди.

Софрон на крыльцо вышел:

— Ну, а вы хочете по-старому? Наработали, да все на вас? Нет, ушло времечко. Палка-то в наших руках.

И лицом двинул на красногвардейцев приезжих. Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбовки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья-солдатка доглядела. Коновала к лошадям привели, а Панкратово семейство сена лишили. Старались и другие: ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаскивали. Но хорошо следили подростки. Уличали. Ванька Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за чередом смотрел.

— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлюй! Нынче нам лошади. Куды заворачивашь?

— Без тебя знаю, мозгляк!

— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только революционный трибунал плачет! Как кто выпятит, сейчас сгребет!

— Ты, сволочь, гляди, нарвешься когда... Не охнешь! Больно ловкий да шустрый стал!

— Нам нельзя нешустрым-то быть. Сказано. Российска Федеративна Социалистическа Республика. Вот и понимай!

У Глебова кулак зачесался, но только сплюнул. А в голове подивился: язык у молодых острый. Как перец в их смачной русской речи иностранные слова.

С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща их к дворам заовражинских. Будто удивляются, что гумна, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатое сено заработанное встречают не радостью. Новая мера обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет коровенку жена Редькина.

— С сенцом, рыжуха, нынче! Н-но, стой! С сенцом...

Редькин на кровати с половины покоса лежал, маялся. В коммуне мало наработал: жарким летом в поле все дрожал, тепла просил. Но на его семью покос засчитали. Артамон Пегих один раз навестить его пришел, поглядел и раздумчиво сказал:

— Може, опять не помрешь! Должон бы, дак упористый! По всему, весной бы еще помереть надо, а ты все супротивишься. Не знай, не знай! Должон бы, а промежду прочим, не знаю!

Жена тоже два раза уже начинала причитать, а потом заводила последний хозяйственный разговор:

— В городу сундучок-от забыл. Беспременно Антошку спосылать надо. Детям лопатина-то сгодится.

А Редькин все не умирал. Хрипел, а смерть гнал. Один раз Ванька привел к нему бывшего библиотекаря, Сергея Петровича. В продовольственном комитете теперь служил, приехал для сбора сведений с эмиссаром. Сергей Петрович очень Редькина жалел, а не вытерпел — попрекнул:

— Вот мучаешься, и помочь некому! Доктора-то за что прикончили? Время бесправное, а то за такое бы зверство!..

Редькин только глазами повел и прохрипел:

— Уморил бы...

А Ванька резко, не по-детски, сказал:

— Для кого бесправно, а кого на права выволокет. Было бы по-старому дольше, много бы еще эдаких погубили! Как жили, в эдакой жизни не обучишь. А темнота, она злая.

Сергей Петрович пристально на него взглянул и смолк.

И дома вечером отцу Ванька вдруг сказал:

— Помнишь, городской-то приезжал зимой? А правду ведь он сказал: отменить деревню надо. Чтобы как город была, с машинами. Покос-от машины какой всему селу собрали.

Уборка сена коммунами Софроновой партии в селе силу дала. Два мужика богатых из Небесновки, Перегудов Антон и Лотошихин Павел, прошенье подали:

В большевицкую партию на селе Интернационалове по старым документам Тамбовско-Небесновском.

Граждан Села Интернационалова той же волости
Антона Михайлова Перегудова и Павла Максимова Лотошихина

ПРОШЕНИЕ

Мы нижеподписавшие Антон Михайлов Перегудов и Павел Максимов Лотошихин к сему сообщенье докладываем, что есть у нас земля. У Антона Перегудова полтораста десятин, у Павла Лотошихина сто десятин. Но как мы поняли, что теперь большевицкая партия самая правильная, то желаем в ее записаться и с малоземельными заодно в линию состоять от того, что старого монархизма не хочем. Сие собственноручным подписом скрепили:

Антон Перегудов
Лотошихин Павел.

Софрон на своем собранье доложил, и постановили в партию обоих принять, а так как они богатые, то откуп с них взять. Антон Перегудов должен сдать большевистской партии села Интернационалова двести пудов пшеницы, а Павел Лотошихин сто. Оба согласились и пшеницу через неделю доставили. В большевиках утвердились.

А смута в уезде только замерла. Тайными путями узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на большевиков опять и теперь упористей. Дали знать богатым тамбовским жителям. Глебов в станицу казачью на ярмарку съездил.

В престольный праздник, на Илью-пророка, все село во хмелю спать полегло. Десять вооруженных людей в темноте сторожко Софронову избу окружили. Софрон на дворе случайно был. Шорох услышал.

— Кто там?

Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки подняли. Но, с помощью казаков, тамбовские и небесновские богатые мужики с местной охраной, ослабленной в последние спокойные месяцы, справились. Главарей большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вынесли.

Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил волосы на головах связанных. Будто ласкал в последний день. Худой и желтый Жиганов расправу начал.

— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины отбирать? Вот тебе за лобогрейку!

Плюнул в лицо и связанного Софрона под правый глаз жестким сильным кулаком. По глазу угодил. Залилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гулко отзвалось поле на крик. А Жиганов повалил Софрона и сапогами тяжелыми на животе его заплясал.

— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за хозяйство мое! Принимай уплату!

Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били. Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:

— Пойте свой «Интернационал»!

Из двадцати девяти человек девять запели дико, как похоронную свою.

— Вставай, проклятьем...

Но осеклись. Софрон, еще живой, катался по земле и выл:

— Сволочи! Замолчите!..

Антону Перегудову двести отметин на спине шилом сделали. Жиганов хрипло орал:

— Вот тебе для счету: сколь пудов отдал!

Павлу Лотошихину сто. Редькина полумертвого выволокли из толпы. Растоптали сапогами.

Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять человек в поганую отвальную яму кинули. Восемь живых еще ворошились под трупами. Всех завалили землей.

Артамона Пегих только в полдень рыжий казак нашел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул седыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно спросил:

— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?

— Об себе думай! Сейчас тебя предоставлю, старый охальник.

— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаяться, а не довелось, дак ладно.

И покрестился истовым крестом на восток:

— Господи батюшка, прими дух большевика Артамона.

Его били долго, но еще живого на яму отвальную, доверху набитую, притащили. Осевшим, прерывистым голосом он протянул:

— Тута, значит, кро-вушкой полили... косточками сдобрили-и...

Прикладом казак прикончил его. Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевистские вырезали. Только пятнадцать человек в погреб жигановский засадили. Глянуло страшное лицо деревни... Иван Лутохин, пророк небесновский, уцелел. На поле был... Когда вернулся, только нагайками поучили. Застегивая порты, он глухо сказал:

— Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили.

А Ваньку Софронова судьба укрыла. В город перед ильиным днем уехал.

1922

Александр Неверов

(1886—1923)

МАРЬЯ-БОЛЬШЕВИЧКА

1

Была такая у нас. Высокая, полногрудая, брови дугой поднимаются — черные! А муж с наперсток. Козонком зовем его. Так, плюгавенький — шапкой закроешь. Сердитый — не дай господи. Развоюется с Марьей, стучит по столу, словно кузнец молотком.

— Убью! Душу выну...

А Марья хитрая. Начнет величать его нарочно, будто испугалась:

— Прокофий Митрич! Да что ты?

— Башку оторву!

Она еще ласковее:

— Кашу я нынче варила. Хочешь?

Наложит блюдо ему до краев, маслица поверху пустит, звездочек масляных наделает. Стоит с поклоном и угощает по-свадебному.

— Кушай, Прокофий Митрич, виновата я перед тобой...

Любо ему — баба ухаживает, нос кверху дерет, силу большую чует.

— Не хочу!

Марья опять как горничная: воды подает, кисет с табаком ищет. Разуется он посреди избы — лапти

она уберет ему, чулки в печурку сунет. Ночью на руку положит его, по волосам погладит и на ухо помурлычет, как кошка... Ущипнет Козонок ее — она улыбается.

— Что ты, Прокофий Митрич! Чай, больно...

— Беда — больно... раздавил...

И еще ущипнет: дескать, муж, не чужой мужик. Натешит сердце, тут она начинает его:

— Эх ты, Козон, Козон! Плюсну вот два раза — и не будет тебя... Ты думаешь, деревянная я? Не обидно терпеть от такого гриба?

2

Раньше меньше показывала характер, больше в себе носила домашние неприятности. А как появились большевики со свободой да начали бабам сусоли разводить, что вы, мол, теперь равного положения с мужиками, тут и Марья раскрыла глаза. Чуть, бывало, оратор какой — бежит на собранье. Вроде стыд потеряла. Подошла раз к оратору и глазами играет, как девка.

— Идемте,— говорит,— товарищ оратор, чай к нам пить.

Козонок, конечно, тут же стоял, в лице изменился. Глаза потемнели, ноздри пузырями дуются. Ну, думаем, хватит он ее прямо на митинге. Все-таки вытерпел. Подошел бочком, говорит:

— Домой айда!

А она нарочно, что ли... Встала на ораторово место да с речью к нам:

— Товарищи крестьяне!

Мы так и покатились со смеху. Тут уж и Козонок вышел из себя:

— Товарищ оратор, суньте ее, черта!

Дома с кулаками на нее налетел.

— Душу выну!

А Марья поддразнивает:

— Кто это шумит у нас, Прокофий Митрич? Страшно, а не боязно...

— Подол отрублю, если будешь по собраньям таскаться!..

— Топор не возьмет.

Разгорелся Козонок, ищет — ударить чем, Марья с угрозой к нему:

— Тронь только: все горшки перебью о твою козонячью голову...

С этого и началось. Козонок свою власть показывает, Марья — свою. Козонок лежит на кровати, Марья — на печке. Козонок — к ней, она — от него.

— Нет, миленький, нынче не прежняя пора. Заговенье пришло вашему брату...

— Иди ко мне!

— Не пойду!

Попрыгает-попрыгает Козонок, да с тем и ляжет под холодное одеяло. Раз до того дело дошло — смех! Ребятишек она перестала родить. Родила двоих — схоронила. Козонок третьего ждет, Марья заартачилась. Мне, говорит, надоела эта игрушка...

— Какая игрушка?

— Эдакая... Ты ни разу не родил?

— Чай, я не баба.

— Ну и я — не корова телят таскать тебе каждый год. Вздумаю когда — рожу...

Козонок — на дыбы.

— Башку оторву, если будешь такие слова говорить!..

Марья тоже не сдает. Я, говорит, бесплодная стала...

— Как бесплодная?

— Крови во мне присохли... А будешь неволить — уйду.

В тупик загнала мужика. Бывало, шутит он, по шабрам ходит, после этого — никуда. Ляжет на печку и лежит, как вдовец. Побить хорошенько — уйдет. Этого мало, на суд потащит, а большевики обязательно засудят: у них уж мода такая — с бабами нянчиться. Волю дать вовсю — от людей стыдно, скажут — характера нет, испугался. Два раза к ворожейке ходил — ничего не берет! Начала Марья газеты с книжками таскать из союзного клуба. Развернет целую скатерть на столе и сидит, словно учительница какая, губами шевелит. Вслух не читает. Козонок, конечно, помалкивает. Ладно, читай, только из дому не бегай. Иногда нарочно пошутит над ней:

— Телеграмму-то вверх ногами держишь... Чтица!

Марья внимания не обращает. А книжки да газеты, известно, засасывают человека, другим он делается, на себя не похожим. Марья тоже дошла до этой точки. Уставится в окно и глядит. Мне, говорит, скушно...

— Чего же ты хочешь?

— Хочу чего-то... нездешнего... по-другому пожить.

Казнится-казнится Козонок, не вытерпит.

— Эх, и дам я тебе, чертова твоя голова!..Ты не выдумывай!..

А она, и вправду, начала немножко заговариваться. В мужицкое дело полезла. Собранье у нас — и она торчит. Мужики стали сердиться.

— Марья, щи вари!

Куда там! Только глазами поводит. Выдумала какой-то женотдел. И слова-то такого никогда не слыхали мы — не русское, что ли. Глядим, одна баба пристала, другая пристала, что за черт! В избе у Козонка курсы открылись. Соберутся и начнут трещать. Комиссар из Совета начал похаживать к ним. Наш он, сельский. Васькой Шляпунком звали мы его допрежде, перешел к большевикам — Васильем Иванычем сделался. Тут уж совсем присмирел Козонок. Скажет слово, а на него в десять голосов:

— Ну-ну-ну, помалкивай!

Комиссар, конечно, бабью руку держит — программа у него такая. Нынче, говорит, Прокофий Митрич, нельзя на женщину кричать — революция... А он только ухмыляется, как дурачок. Сердцем готов надвое разорвать всю эту революцию,— но боязно: неприятности могут выйти. А Марья все больше да больше озорничает. Я, говорит, хочу совсем перейти в большевистскую партию. Начал Козонок стыдить ее. Как, говорит, тебе не стыдно? Неужели, говорит, у тебя совести нет? Все равно не потерпит тебя господь за такое твое поведение.

Марья только пофыркивает:

— Бо-ог? Какой бог? Откуда ты выдумал!

Прямо сумасшедшая стала. С комиссаром почти не стесняется. Он ей книжки большевистские подтаскивает, мысли путает в голове, а она только румянится от хорошего удовольствия. Сидят раз за столом плечико к плечику, думают — одни в избе, а Козонок под кроватью спрятался: ревность стала мучить его. Спустил дерюгу до полу и сидит, как хорек в норе. Вот комиссар и говорит:

— Муж у вас очень невидный, товарищ Гришагина. Как вы только живете с ним — не понимаю!

Марья смеется.

— Я не живу с ним четыре месяца... Одна оболочка у нас...

Он ее — за руки.

— Да не может быть? Я этому никогда не поверю...

А сам все в глаза заглядывает, поближе к ней жмется. Обнял повыше поясницы, держит. Я, говорит, вам сильно сочувствую...

Слушает Козонок под кроватью и вроде дурного сделался. Топор хотел взять, чтобы срубить обоих,— побоялся. Высунул голову из-под дерюги, глядит, а они над ним же на смех: мы, говорят, знали, что ты под дерюгой сидишь...

3

Стали мы Совет перебирать. Баб налетело, словно на ярмарку. Мы это шумим, толкуем, слышим — Марьино имя кричат:

— Марью! Марью Гришагину!

Кто-то и скажи из нас нарочно:

— Просим!

Думали, в шутку выходит, хвать — и всерьез дело пошло. Бабы как галки, клюют мужиков: вдовы разные, солдатки — целая туча. А народ у нас не охотник на должности становиться, особенно в нынешнее время — взяли и махнули рукой. Марья так Марья. Пускай обожгется...

Стали Марьины голоса считать — двести пятнадцать! Комиссар Василий Иваныч речью поздравляет ее. Ну, говорит, Марья Федоровна, вы у нас первая женщина в Совете крестьянских депутатов. Послужите! Я, говорит, поздравляю вас с этим званием от имени Советской Республики, надеюсь, что вы будете держать интересы рабочего пролетариата...

Глаза у Марьи большие стали, щеки румянцем покрылись. Не улыбнется стоит.

— Я послужу, товарищи. Не обессудьте, если не сумею — помогите.

Козонок в это время сильно расстроился. Главное, непонятно ему: смеются над ним или почет оказывают. Пришел домой, думает: «Как теперь говорить с ней? Должностное лицо». Нам тоже чудно! Игра какая-то происходит. Баба — и вдруг в волостном Совете, дела наши будет решать... Ругаться начали мы между себя:

— Дураки! Разве можно бабу сажать на такую должность...

Дедушка Назаров так прямо и сказал Марье в глаза:

— Ой, Марья, не в те ворота пошла.

Она только головой мотнула:

— Меня мир выбрал — не сама иду.

Приходим в Совет поглядеть на нее — не узнаешь. Стол поставила, чернильницу, два карандаша — синий и красный, около — секретарь с бумагами строчится. А она и голос другой сделала. Так и ширяет глазами по строчкам.

— Это по продовольственному вопросу, товарищ Еремеев?

Разведет фамилию на бумаге и опять как начальник какой:

— Списки готовы у вас? Поскорее кончайте!

Глазам не верим мы. Вот тебе Марья! Хоть бы покраснела разок... Так и кроет нас всех «товарищами». Пришел раз Климов старик, она и ему такое же слово:

— Что угодно, товарищ?

А он терпеть не мог этого слова — лучше на мозоль наступи. Хотя, говорит, ты и волостной член, но я тебе — не товарищ... Да разве смутишь ее этим? Через месяц стала шапку с пикой носить, рубашку мужицкую надела, на шапку звезду приколола.

Мучился, мучился Козонок, начал разводу просить у нее.

— Ослобони меня от эдакой жизни... Я не могу... Другую жену буду искать — подходящую.

Марья только рукой махнула:

— Пожалуйста, я давно согласна.

Месяцев пять служила она у нас — надоедать начала: очень уж большевицкую руку держала, да и бабы начали заражаться от нее: та фыркнет, другая фыркнет, две совсем ушли от мужьев. Думали, не избавимся никак от такой головушки, да история тут маленькая случилась — нападение сделали казаки. Села Марья в телегу с большевиками и уехала. Куда — не могу сказать. Видели будто в другом селе ее, а можа, не она была — другая, похожая на нее. Много теперь развелось их.

1921

Сакен Сейфуллин

(1894—1939)

ХАМИТ ВСТРЕЧАЕТ БАНДИТА

1

Стояла осень 1921 года. В уезде, где работал Хамит, шныряли банды. Небольшие шайки в два-три человека, вооруженные винтовками, револьверами, шашками, иногда и бомбами, бродили по уезду, как волки, потерявшие своих волчат, держа в постоянном страхе мирное население. Совсем недавно в уезде гремели ожесточенные бои с колчаковцами. Тревожно жилось людям по деревням и аулам. Противник то отступал под ударами Красной Армии, то снова наступал, и, когда наконец окончательно был разбит и прогнан, люди вздохнули свободно. Но не надолго — банды снова лишили уезд спокойного сна.

Шайки, стремительные, как ветер, появлялись сегодня здесь, завтра там. Ночью либо ранним утром они, как бешеные волки, врывались в аулы, пугая женщин и детей. Заслышав стрельбу и дикие возгласы, жители в страхе поминали бога и готовы были отречься не только от своего скарба, но и от собственной души. Бандиты отбирали лучших коней и дорогую одежду. Попавшихся под руку мужчин они избивали прикладами до полусмерти, требуя выдать спрятанные ружья и патроны, глумились над женщинами, убивали детей.

Прослышав о появлении милиционера в ауле, бандиты подкарауливали его, хватали ночью неожиданно и отбирали

оружие. Охотились за коммунистами, за председателями волостных исполкомов, за всеми, кто помогал советской власти. Тех, кто пытался сопротивляться, рубили шашками на куски.

Скрываясь в лесах, не имея постоянных квартир и стоянок, они заранее намечали жертву, громили казахские аулы и русские поселки, носились с места на место, как взбесившийся вихрь, и всегда ускользали от расплаты. Их друзьями и вдохновителями были зажиточные мужики, кулачье, недовольное советской властью за продразверстку. Тайную помощь оказывали им казахские баи.

2

Хамит проснулся, как всегда, в восемь часов утра, вскочил с постели и подбежал к окну. Ночью прошел осенний прохладный дождь, и солнце сияло особенно ярко и радостно. Ясное утро всегда радовало сердце Хамита, создавало бодрое настроение на весь день. Он умылся холодной водой до пояса, смочил бритую голову и, подойдя к зеркалу, начал утираться полотенцем. Накануне он допоздна засиделся над бумагами и, кажется, плохо выспался — были воспаленные глаза. «Не беда, пройдет»,— подумал Хамит и, откинув голову назад, напружинив круглую шею, начал, как беркут, крутить головой во все стороны и бить ребром ладони по набухшим мускулам.

Он с детства любил гимнастику и даже в ауле, не стыдясь старших, делал по утрам зарядку. Привыкнув к ритмичным, размеренным движениям, его тело требовало всякого проявления силы: скачек, жимов, рывков. Однажды в Омске, в городском цирке, он увидел, как боролся его знаменитый земляк Хажи Мукан. Хамит познакомился с ним, сблизился и, восхищаясь непомерной силой Хажи Мукана, стал еще усерднее, ожесточеннее заниматься гимнастикой. В его квартире стояло большое зеркало, и когда в комнате никого не было, Хамит раздевался до пояса и, делая трудные упражнения, смотрел, как напрягаются мышцы на руках, на груди. Он любовался своим телом, каждый играющий мускул радовал его сердце.

Хамит только что окончил зарядку, когда открылась дверь и хозяйка квартиры, черноволосая татарка, пригласила его к чаю. Не успел он допить первый стакан, как в комнату торопливо вошел рассыльный политбюро и сказал:

— Вас срочно вызывает начальник!

Вероятно, что-то случилось. Хамит служил в политбюро, аккуратно являлся на занятия. Из дома его вызывали только в исключительных, весьма важных случаях. Оставив чаепитие, он поспешно оделся и заторопился на вызов.

Начальник политбюро, высокий, худощавый, белокурый латыш в военной форме, пригласил Хамита к себе в кабинет и показал ему одно из срочных писем, полученных с утренней почтой.

— Придется, Хамит, тебе самому поехать. Переоденься в одежду простого казаха и держи нос по ветру, постарайся разузнать все. Главное, действуй как можно быстрее. Мы пошлем еще одного верного человека в поселок Чиили. Он будет держать с тобой связь. А план действий — как мы с тобой договорились.

Таков был приказ начальника.

— А от самого Сейсембаева есть известия? — поинтересовался Хамит.

— Нет, пока что он ничего не сообщал,— ответил начальник.

3

Инструктор уездного исполкома Сейсембаев поехал в Борлыкульскую волость с заданием расследовать беспорядки в волостном исполкоме. На обратном пути Сейсембаев остановился на ночлег в ауле хромого Акана, известного, богатого в прежние времена бая. Поздним вечером, когда сам Акан, инструктор Сейсембаев и еще несколько почетных гостей расположились ужинать вокруг большого блюда с горячей, только что сваренной бараниной, открылась дверь и вошел Пудре, известный бандит, шнырявший по Борлыкульской волости. По словам знавших его казахов, он отличался огромной силой и бесстрашием — не боялся наставленной в упор винтовки. Людей убивал безжалостно, как щенят, виноватых и безвинных. И вот этот самый Кудре, отчаянный головорез, один-одинешенек явился в аул и вошел в дом самого хозяина аула, хромого Акана.

Он остановился у порога и, легонько помахивая револьвером, произнес:

— А ну, кто из вас инструктор исполкома? Выходи во двор на минутку!

Сейсембаев громко заплакал, прячась, упал за спину Акана и стал умолять его о защите. Хромой Акан спас его

от смерти, он уговорил Кудре не трогать инструктора. Возможно, что Сейсембаев, отделавшись испугом, постарался бы не оглашать всей этой картины, но кто-то тайно сообщил в политбюро об этом позорном событии.

И вот теперь выследить знаменитого бандита, разузнать все его связи с аульными богачами и поймать его политбюро поручило Хамиту. Не русский и не латыш, а только казах мог останавливаться в аулах, говорить с людьми, не вызывая подозрений, разгадывать каждый жест, запоминать каждое случайно оброненное слово.

В сопровождении пяти русских товарищей Хамит отправился в путь по большой столбовой дороге на Акмолинск. Не доезжая поселка Чиили, отряд остановился, чтобы разработать план операции, договориться о роли каждого и о связи друг с другом. Распределив обязанности, Хамит оставил товарищей и поехал один. Вскоре он свернул на дорогу в ближайший казахский аул.

Одетый в простую казахскую одежду и мерлушковый малахай, Хамит все-таки обращал на себя внимание — высокий, стройный, широкоплечий. У него был прямой нос, большие, чуть запавшие, карие глаза. Бороду и усы Хамит не любил, сбривал. Красивый, крепко сбитый, он мерно покачивался в седле на сытом, выхоленном светло-буром жеребце и зорко посматривал вокруг. Если бы он сжал свои железные пальцы, похожие на когти беркута, и, грозно зарычав, кинулся бы на врага — у того душа ушла бы в пятки!

Первую ночь он провел в казахском ауле. В осторожной беседе пытался завести разговор о бандитах, но ничего путного не добился ни от хозяина дома, ни от аульных джигитов. Утром поехал дальше.

К вечеру он добрался до аула хромого Акана и здесь узнал, что банды, которые хозяйничали поблизости, ушли в аулы, граничащие с Акмолинским уездом.

Хамит направился в ту сторону.

4

Он ехал в густом лесу по старой, заброшенной дороге. День стоял ясный и теплый, в просвете между вершинами деревьев виднелось безоблачное голубое небо. У края дороги высились тонкоствольные сосны, белые березы, изредка попадался стройный тополь, ронявший желтые осенние листья.

Хамит ехал один, зорко оглядывая густую чащу, словно пастух, проверяющий сохранность своего табуна. Изредка встречались просеки и широкие поляны с поблекшими травами. Кое-где стояли скирды сена. Местами попадались казахские зимовки, вокруг них пасся скот, и вдали виднелись войлочные кибитки.

Поляны, весной такие травянистые и радужные от цветов, похожие на драгоценные шелковые ковры, теперь поблекли и потеряли свою чарующую прелесть. Повсюду тишина и осенняя грустная неподвижность. Не слышно больше жаворонка, совсем недавно кружившегося над цветистыми полянами со звонкой песней о красоте цветов и душистых трав. Птицы уже не порхают с ветки на ветку, молчат животные, не слышно и людских голосов, таких радостных в летнюю пору, когда воздух пьянит своим ароматом.

Полинявшие, увядающие луга, степи и деревья с желтеющими листьями стояли в глубоком молчании, греясь в лучах косого осеннего солнца, словно доживая последние дни.

Если летняя пора похожа на стремительную, радостно волнующую симфонию, исполняемую многоголосым, мощным ансамблем, то грустная осень напоминает отдаленную мелодию, игру одинокой скрипки или тонкострунного кобыза...

Стоял подень. Конь шел малой рысью, в такт шагам мотая головой. Изредка среди деревьев мелькала тень очумело вскочившего зайца, с шумом из-под самых копыт лошади вспархивала лесная птица. Конь беспокойно фыркал и вразброд водил настороженными ушами. «Опасность чует»,— с тревогой думал Хамит.

От вида увядающей природы Хамиту взгрустнулось. Он вспомнил свой далекий аул в степи, на юге Акмолинского уезда, вспомнил родную мать, и сердце наполнилось тоской и нежностью к ней. Когда в прошлом году он приехал домой, мать заплакала, обнимая его. А он засмеялся и сказал ей в утешение: «Что ты, апа, не надо плакать! Ведь я не девчонка, правда?» — и мягко высвободился из ее объятий.

«Эх, зачем я так сделал! Надо было покрепче прижаться к ней и подольше не выпускать из своих объятий. Ведь она моя единственная, дорогая мама,— пожалел Хамит на мгновение и тотчас начал оправдывать себя: — Нельзя было поступить иначе. Какой же я джигит, если распущу слезы вместе с матерью, слабой женщиной? После моего отъезда она вспоминала бы о печали сына, глаза ее никогда бы не

высыхали от слез, и страдания от разлуки со мной стали бы еще горше».

Он погрузился в воспоминания, но в этот момент конь вздрогнул и повернул голову вправо, настороженно кося фиолетовым глазом. Хамит огляделся.

Из густой чащи леса показался всадник на сером поджаром коне. Судя по одежде, это был русский, вероятно, работник лесной охраны.

Хамиту уже надоело лесное одиночество, и он, обрадовавшись случайной встрече, дернул повод вправо, направляясь к всаднику. Они поздоровались, Хамит — по-казахски, встречный всадник — по-русски. Тогда Хамит тоже стал говорить по-русски, намеренно коверкая слова:

— Э! Куда пошел, знаком?

— Лесничество Лисий бор,— ответил русский.

— Твоя нашальник? — опять спросил Хамит, тыча в него пальцем.

— Лесник,— ответил тот.

— А-а, нашальник, караул. Жаксы!

Кое-как переговорив, поехали вместе. Оказалось, что едут они в одном направлении. Леснику было лет тридцать, не больше. Огромный, широкоплечий, одетый в черную шинель, обутый в сапоги на толстой подошве, он приглаживал по крупу коня, подгоняя его.

«Этот русский очень смахивает на казаха»,— подумал Хамит.

Всадники двигались не спеша, перекидываясь словами, в мирной беседе коротая время. Ехали рядом, седло к седлу. Вблизи, насколько хватал глаз, не было человеческого жилья. Хамит зорко приглядывался к окружающему, запоминая местность, стараясь удержать в памяти перелески, поляны, овраги.

Он не заметил, как выехал вперед, залюбовавшись багряно-красными листьями тополей. И вдруг конь под ним шарахнулся в сторону. Хамит рывком обернулся. Одной рукой лесник крепко держал повод его коня, в другой руке поблескивал наган, направленный на него в упор. Хамит опешил, растерялся, не зная, что делать.

— Ой, што такой! Нашальник! — вскричал он.

У Хамита не было оружия, он оставил его у товарищей, поехавших в Чиили. Он оцепенел, увидев перед своими глазами дуло нагана, перекошенное лютой злобой лицо и злые, змеиные глаза лесника.

— Слезай с коня! Быстро, не то застрелю! — вскричал лесник на чистом казахском языке.

Тысячи всяких мыслей, предположений пронеслись в голове Хамита.

— Слезай! — повторил лесник.

«Бандит? Грабитель? Что он сделает дальше?» — тревожно думал Хамит, слезая с коня.

Лесник отвел его коня на несколько шагов в сторону и остановился.

— Раздевайся! — крикнул он Хамиту, не опуская нагана.

Пошатываясь, как пьяный, Хамит снял верхний армяк, снял полушубок и остался в одном бешмете.

— Все, все снимай! — приказывал лесник, по-прежнему целясь в Хамита.— Бешмет и сапоги тоже!

Хамит медленно опустился на землю и ленивыми движениями начал стягивать тяжелые казахские сапоги. Скинул один сапог, скинул другой... Потом так же медленно снял с головы малахай и бросил его на землю. А мысли, одна стремительнее другой, проносились в его голове: «Ай, черт возьми, неужели я погиб? Если это простой конокрад, которому понравился мой конь, так почему он не уезжает, а требует еще и одежду? Он раздевает меня, он хочет захватить мою одежду чистой, не запачканной в крови. Это прожженный бандит, несомненно, из тех, что расстреливают свою жертву, раздев ее предварительно. Эх, разиня! Интересно, он нарочно выследил меня или случайно встретил? Как я оплошал! Надо же было отправиться без оружия да еще вступать в разговор. Доверился такому дьяволу... Но он без шайки, он один. И я тоже один! Правда, у него наган. Но лучше умереть львом, чем трусливым зайцем!»

Скинув сапоги, он поднялся и, шатаясь, как пьяный, вконец обессилевший человек, пошел вперед, к бандиту, расстегивая на ходу пуговицы бешмета. Бандит сидел на лошади, обернувшись в сторону Хамита и не опуская нагана. Хамит снял бешмет и, делая вид, что протягивает одежду бандиту, шагнул к нему еще ближе. Босой, в одном жилете поверх рубашки, он присел, напрягая стальные мышцы, и барсом метнулся на противника.

Грохнул выстрел.

«Мимо!» — успел подумать Хамит и цепко ухватился за дуло нагана. Бандит рванулся, но тщетно: Хамит словно прирос к оружию и обеими руками тянул его к себе, стараясь вырвать. Защищаясь, тот вынужден был отпустить повод и упал на землю. Рукоять нагана оставалась в крепкой руке

врага, а дуло глядело на Хамита. Первый выстрел мог стать для него роковым. Но бандит не мог выстрелить, его палец окаменел от напряжения в кольце курка. Чтобы выстрелить, он должен дотянуться пальцем до пускового крючка, а для этого надо расслабить мышцы. Но тогда наган окажется в руках Хамита, который ни на мгновение не отпускал дула, вертел его из стороны в сторону, стараясь вырвать оружие из рук врага.

Лошади, всхрапнув, несколько мгновений испуганно смотрели на людей, но потом, чувствуя свободу, разбрелись, пощипывая траву. Густой лес молчал, ни одной живой души не было поблизости. Два врага, как два разъяренных тигра, с налившимися кровью глазами, боролись за оружие. Оба понимали, что одному из них придется умереть сегодня, и обоим хотелось остаться в живых. Они яростно избивали друг друга, кусались, царапались, намертво прикованные к нагану обеими руками.

Изловчившись, Хамит присел и, подняв на своих плечах врага, швырнул его на землю. Но тот не выпустил нагана и вцепился зубами в локоть Хамита. Хамит ударил его по скуле, высвободил руку и, схватив с головы бандита ушанку, отшвырнул ее прочь.

Бандит, крякнув, поднялся на ноги вместе с вцепившимся в него Хамитом. Он качнулся вправо, влево, словно набирая силу, могуче приподнял его и с большой силой бросил наземь. Хамит ударился спиной, но тут же ловко поднялся на ноги, не дав врагу возможности оказаться сверху.

Они дрались на поляне в смертельной схватке. Исцарапанные и окровавленные, падали на траву и снова вставали в синяках и кровоподтеках. Одежда, разорванная в клочья, висела на них длинными лентами.

Хамит казался мальчиком рядом с великаном бандитом, похожим на страшилище с жилистыми руками и широкими, как лопата, ладонями. Он хищно грыз тело Хамита огромными, желтыми, как у лошади, зубами. Одетый в шинель, сам он был защищен от укусов.

Собравшись с силами, Хамит снова подмял противника под себя и свободной рукой начал его душить. Бандит вырывался, бил ногами землю, как огромное животное, несколько раз ударил головой в лицо Хамита. Тогда Хамит вцепился зубами в ухо врага и начал рвать его, как гончая, схватившая волка. Бандит метался под ним, рычал и ревел, как загнанный зверь, и, выбрав момент, ударил Хамита локтем по глазам. Хамит выплюнул изо рта клочок откушенного уха, бандит громко застонал и невольно схватился за голову.

Вражеская рука ослабла, и Хамит, почувствовав это, мгновенно выхватил наган и отбросил его в сторону.

Теперь они схватились друг за друга обеими руками и с новой силой продолжали борьбу. Наган лежал в нескольких шагах, и все усилия врагов были направлены на то, чтобы вырваться и первому добежать до оружия. Залитые кровью, они походили на резаков с городской бойни. Хамит надеялся на свою выносливость, бандит — на силу своего удара.

В стороне от кровавой схватки мирно паслись лошади. В одном месте лежала одежда Хамита, в другом — ушанка бандита. Чуть поодаль валялся наган. И ни одной живой души вокруг — ни доброй, которая пришла бы на помощь Хамиту, ни злой, которая помогла бы бандиту. Молчит тихий, безлюдный лес, молчит синее небо...

Хамит решил в последний раз применить свой главный козырь — ловкость. Он долго защищался, не пытаясь нападать и тем самым накапливая силы. И вдруг, неожиданно схватив врага за ноги, он собрал последние силы, приподнял его и стремительным рывком бросил на землю. Руки бандита сорвались, разжались, и Хамит тотчас бросился к нагану. Не останавливаясь на бегу, помня, что бандит мог подняться и бежать следом, Хамит, как на джигитовке, на бегу подхватил оружие и увидел врага неподалеку в странной позе: пригнувшись, бандит сунул руку за пазуху, выхватил маленький браунинг и быстро зарядил его. Хамит прицелился дрожащими от усталости руками, но бандит выстрелил первым.

Хамит вздрогнул, ему показалось, что в плечо его ткнули горячим шилом. Он нажал курок, выстрелил и промахнулся. Помня, что браунинг поражает на коротком расстоянии, Хамит отбежал подальше, укрылся за стволом березы и начал тщательно целиться. Бандит смело поднялся навстречу, но Хамит выстрелил, и он упал.

Хамит пересчитал патроны — оставалось четыре.

Он увидел, как враг его, невредимый, прыжками побежал к своей лошади. Тогда Хамит, не надеясь на оружие, побежал к своей, которая паслась в некотором отдалении. В это мгновение он услышал за спиной конский топот, обернулся и увидел, что бандит бесстрашно гонит коня прямо на него. Хамит поднял наган и стал ждать приближения врага, чтобы выстрелить в упор, наверняка. Бандит круто повернул и скрылся в густой чаще леса.

Хамит поймал свою лошадь, оделся, увидев валявшуюся ушанку бандита, поднял ее и спрятал за пазуху.

День клонился к вечеру. Стало холоднее. Заходящее солнце окрасило багрянцем вершины деревьев. Мертвая тишина стояла в лесу. Весь день схватку врагов видели только лес, земля да синее небо...

Поставив наган на предохранитель, часто оглядываясь по сторонам и прислушиваясь, Хамит погнал коня крупной рысью вперед. Он знал, что в пяти-шести верстах должен быть аулсовет Борлыкульской волости.

Он ехал, остывая после схватки и думая, что, по описаниям, это был не кто иной, как знаменитый бандит Кудре. Силач, высокого роста, широкоплечий... В политбюро не было фотографии этой собаки, вот потому Хамит не узнал его сразу.

«Какой я еще глупый,— подумал он раздосадованно,— такую оплошность допустил!»

— Жаль! — сказал он громко.— Очень жаль!

Светло-бурый конь бежал, пофыркивая и прося повода. Хамит вытер окрававленные руки о его гриву.

«Позор! Какой же я силач, если не мог одолеть одного бандита!..»

Он до боли сжал исцарапанные и искусанные кулаки и скрипнул зубами от досады. В этот момент он походил на беркута, только что победившего в единоборстве матерого волка...

Хамит вспомнил Хажи Мукана, степного богатыря, побеждающего борцов с мировым именем.

«Мартынов, Поддубный, Гане-Габан, Казбек-гора,— подумал Хамит, вспоминая силачей.— Хажи Мукан самый сильный!»

Оглянувшись по сторонам, он зычно, победно крикнул:

— Э-гей! Хажи Мука-ан! Победа наша!

1921



(1894—1941)

СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивали мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряшку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадро-

ну. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына,— сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку,— вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремени, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про Третий Интернационал.

— Там видать будет,— сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченко:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что остаемся мы...

— Отобьетесь...— пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая идея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся,— сказал раненый ему вслед.

— Не канючь,— обернулся Вытягайченко,— небось не оставлю,— и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыси, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать...

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная,— прошептал Афонька, задерживаясь,— если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки пошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство,— ответил он печально.

— Пропадаем,— воскликнул я, охваченный гибельным восторгом,— пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудаются? — ответил он еще печальнее.— Зачем сватания, венчания, зачем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне,— сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге,— смеха мне, зачем бабы трудаются...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что,— сказал Долгушов, когда мы подъехали,— кончусь... Понятно?

— Понятно,— ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить,— сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта,— насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет,— ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...

— Бежишь? — пробормотал он, сползая.— Беги, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем,— закричал он весело.— Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко,— я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня,— сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку,— а я вот не смог.

— Уйди,— ответил он, бледнея,— убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона,— закричал сзади Грищук,— не дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька.— Он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук,— сказал я,— сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай,— сказал он мне,— кушай, пожалуйста...

1923

Всеволод Иванов

(1895—1963)

ДОЛГ

1

Карта уезда в руке легка и мала, словно осенний лист. Когда отряд скакал рощами,— листья осыпались, липли на мокрые поводья. А разбухшие ремни поводьев похожи на клочья грязи, что отрывались от колес двуколки, груженной пулеметами.

Фадейцев, всовывая в портфель карту, голосом, выработанным войной и агитацией, высказал адъютанту Карнаухову несколько соображений: 1) позор перед революцией — накануне или даже в день столкновения разделить отряд; 2) нельзя свою растяпанность сваливать на дождь и мглу; 3) пора расставить секреты, выслать разведку...

— И вообще больше инициативы.

Но голос срывался. Усталость.

— Врач просит одиннадцать одеял, а то больные жалуются, товарищ комиссар... Здоровье, говорят, под одеялами, а нам — под шинелями,— осень...

— Да у меня на руках-то канцелярия да больные,— это объяснил им?.. Хм... Обоза нет.

— Совершенно подробно и насчет того, что отряд на две половинки. Тут темень и канцелярия. Да я им митинг, что ли, устрою из-за одиннадцати одеял?.. Я им говорю — вот Чугреев разобьет нас,— всем земляные одеяла закажет.

— Больным? Да вы, товарищ, неосторожны.

— Кабы они простые больные,— это революционеры.

Адъютант Карнаухов любил хорошую фразу. Был из пермских мужиков, короткорук, с обнаженной волосатой грудью. Выезжая из города, он надевал суконную матроску и папаху.

Красноармеец внес мешок Фадейцева. У порога, счищая щепочкой грязь с веревок, он с хохотом сказал адъютанту:

— Старуха к воротам пришла, просит церковь под нужник не занимать. Лучше, грит, мой амбар возьмите, он тоже чистый, и хоть, грит, немного пшеничкой отдает, а все же. Во — тьма египетскова царя! Наговорили ей про нас...

— Рабы,— басом сказал Карнаухов,— бандитов разобьем, возвратимся — собеседование о религии устрою. Так и передай.

— Это со старухами собеседовать? Ими болота мостить,— только и годны, старые...

Фадейцев смутно понимал разговоры.

— Самоварчик бы,— сказал он тихо.

Хозяин избы, Бакушев, темноротый тощий старик, махая непомерно длинными рукавами рубахи, потащил в решете угли. Адъютант и красноармеец яростно заспорили. Фадейцев сонно взглянул в окно, но мало что увидел. А в поле пустые стебли звенят, как стекло... Небо серно-желтое... Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые нищие колосья сушат душу. Днем в облаках голодная звонкая жара, ночью рвутся в полях дикие ветры. И хотя из-за каждой кочки может разорвать сердце пуля,— все же легче ехать болотами, нежели пустыми межами; лучше под кустом мокрого смородинника разбить банку консервов. Возможно, поэтому хотелось комиссару Фадейцеву уснуть. Но обсахарившиеся веки нельзя («во имя революции»,— напыщенно говорит Карнаухов) смыкать. Неустанно, кажется, шестые сутки, мчался отряд полями, гатями, болотами,— чтобы взять в камышах гнездо бандита и висельника Чугреева.

— Интересы коммунизма неуклонно!..— вдруг во все горло закричал адъютант Карнаухов.

Тотчас же старик внес самовар.

Фадейцев медленно вытянулся на лавке.

— Я все-таки, ребята, сосну... пока самовар кипит... Тут ребята подоспеют, обоз...

Он потянул голенища. Старик поспешил помочь. Карнаухов выматерился.

— Царизму захотел, сапоги снимашь?

— Устал он, командер ведь.

— Если устал, можно и в сапогах превосходно. Ты как об этом предмете, товарищ?..

— Я лучше усну...

Старик сунул ему под руку подушку. Адъютант «собеседовал»:

— Литературу получаете? Надо курс событий чтоб под ноготь, батя, понимать.

— Бандита пошла, голубь, и прямо как саранча бандита. В нашей волости народ все смирной рос, а теперь однажды скачут... один здоровенный такой — рожа будто у кучера, как ему стыда нет — печенки захотел. И что ты думаешь? У соседа корову застрелил, печенку вырезал, сжарил, остальное кинул. А про люд, люду-то сколько перебито-о...э...

Карнаухов строго кашлянул:

— Очередная задача — поголовное уничтожение бандитизма и вслед за этим мирное строительство...

...Всегда, после переходов, сны Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким волосом...

Но вдруг, ломаясь, затрещали половицы. Медные, звонкие копыта раскололи огромную белую печь.

Ничего не понимая, шальной и полусонный, Фадейцев вскочил. Зашиб лоб о край стола. Ночь. Керосиновая коптилка, казалось, потухла.

В раме окна со свистом прошипела пуля. Три раза, вслед за выстрелами маузера, кто-то громко позвал: «Товарищ Фадейцев!» Шип пули — будто перерезанный зов. Топот лошадей смягчался, словно скакали по назьмам. Фадейцев, прижимая к боку револьвер, прыгнул к дверям. Быстро и мелко старик крестился в окно. Лицо у него было белее бороды, а пальцы черные с киноварными ногтями, и ногти были крупнее глаз. Фадейцев выглянул в окно. При свете большого фонаря чубастый парень (грива его лошади была прикрыта зеленым полотнищем) устало махал саблей. Стоны после каждого его взмаха тоже усталые. Старик сказал: «Зарубил».

Фадейцев посмотрел на прильнувшего к печи старика и повторил:

— Зарубил?.. Ево?.. Бандиты?.. Кого зарубил?

— Оне. Бандиты.

И здесь Фадейцев вспомнил,— револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться вовремя заряжать... Револьвер царапнулся по доскам пола. Котенок шарахнулся из-под скамейки. И внезапно стало страшно выбежать в сени. На дверях же даже нет засова. Старик

обернулся. Деловито, с матерком, сунул револьвер в загнету печи, в золу.

«Амба...— подумал быстро Фадейцев, и ему на мгновение стало жалко Карнаухова,— зарубили...»

— На двор ступай... урубят и так: меня перед смертью пожалеть надо. Скажи — я вас по доброй воле не пускал... так и скажи. Владычица ты, пресвятая богородица! Иди, что ль! Хамунисты-ы...— протянул старик.— Иди, комиссар.

Засвистали пронзительно на перекрестке улиц. Икры ног Фадейцева стали словно деревянные. Фадейцев пал на колени. Так он прополз два-три шага и неизвестно для чего приоткрыл подпол. Щеки его обдал гнилой запах проросшей картошки.

— Найду-ут... Дам вот по башке пестом!.. Прятаться?..

От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп. Он сдернул свой мешок с вещами. За мешком — портфель, разрезал почему-то пополам фуражку. Трясущийся в пальцах нож напомнил ему об ножницах.

— Ножницы давай,— закричал он,— скорей!.. и рубаху... рубаху свою... Убью!..

Старик вытянул рот:

— Но-о...

Старик подал источенные ножницы и гладко выкатанную рубаху. Состригая бородку, ращенную клинушком, Фадейцев торопил:

— Старую... старую надо... живо!.. Скажешь... как фамилья...

— Моя-то?

— Ну?.. Твоя.

Старик словно забыл про страх. Он хозяйственно оглядел избу.

— Тебе на какую беду?

— Говори!

— Ну, Бакушев, Лексей Осипыч... ну?

Он поднял кулаки (с ножницами и с остатками бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоска, чтобы...

— А я, скажешь, твой... сын!.. Семен... Семен Алексеич, из Красной Армии... дезертир! Документов нету... да... Иначе — амба! Наши придут и, если меня найдут конченым, кишки твои засолят на полсотни лет... попалят, порежут... амба, туды вашу!.. Если выдашь...

Он махнул на старика ножницами. Старик противно, словно расчесывая грязные волосы, крестился.

— Мы што... мы хрестьяне... наше дело... ладно, я старухе скажу... поищу. Ладно уж.

Скамья под телом Фадейцева словно смазана маслом. Нет, этак жирно вспотели ладони. Карнаухов оставил на столе портсигар. Фадейцев сунул его в трубу самовара («кожаный, вонять будет»,— подумал он), но обратно доставать не было силы. Он, тупо глядя на самовар, сбирал в гортани слюну сплюнуть,— и не мог.

А с оружием возможно было прорваться к какой-нибудь лошади. Ветер, вечер, холодная осенняя грязь.

Эх, научиться б вовремя заряжать револьвер!..

2

На минуту показалось — шел он сам, потом — шаги в стене, на потолке. Бред.

Вбежала старуха. Топот нескольких ног послышался в сенях. «К печке»,— шепнул, задыхаясь, Фадейцев. Сразу не стало видно дверей,— печь же будто бесконечный кирпичный забор.

В остро распахнутую дверь озябший гортанный голос сказал быстро:

— Свету! Свету, и выходи сюда!

Казак с чубом телесного цвета поставил на пол крупный фонарь. Свеча там была желтая, восковая, церковная. Дергая тонким плечом, вперед выступил высокий человек.

— Красные есть, хозяева?

Он тяжело поднял руки: дула револьверов были похожи на забрызганные грязью пальцы.

— Где они?

— Убежали, родной, как поскакали до коней, так их будто смело... разве в других местах, моя изба — голубь... Сынка вот хотели увести, едва уговорил... мы, грит, так и так...

— Сын? Этот?

Из сеней нетерпеливо спросили:

— Увести, ваше... по такой роже, если судить...

— Я что говорил? Вмешиваться?

Хотя никто не шевельнулся, он отстранился локтем. Опять, чуть вздрогнув плечом, шагнул к Фадейцеву. Каждое его слово было ровное и белое, такое, как его зубы. От фонаря похожие на кровь, дрожали на жидких и длинных

усах капли грязи. Он сунул револьвер назад в сени, холодная четырехугольная рука его нащупала пальцы Фадейцева. Спрашивая, он все время подымался вверх по кисти на грудь, на бока. Ногти его словно прокусывали платье. Он ощупал нижнее белье. Фадейцев любил махорку, сыпал ее не в кисет, а прямо в карман. Высокий достал щепоточку, понюхал и плюнул.

— Какого полка?

— Стального Путиловского третьего...

— Фамилия?

— Бакушев Семен.

— Доброволец?

— Никак нет, мобилизованный.

— В отпуску?

— Никак нет...

— Ранен? Дезертир? Документы? Нет документов? Значит, врешь. Расстрелять.

В сенях подняли щеколду. Кто-то, гремя прикладом, спрыгнул с крыльца в грязь. В курятнике сонно-испуганно металась птица — казак резал к ужину. Лениво оглядывая стены, высокий человек легонько направил Фадейцева к дверям. Выровнялось несколько пар грубых сапог: проход был похож на могилу. Прямее винтовки не будешь. Он тянулся. Высокий был с револьвером: он держал его за спиной. Усы его висли над плечом Фадейцева, как сухая хвоя. Попробуй вырви револьвер.

Чтобы продвинуться ближе к окну, Фадейцев спросил:

— Проститься с родителями можно?

Фадейцев упал старикам в ноги.

Старуха завыла. Старик наклонился было благословлять его, но внезапно, причитывая, пополз за сапогами высокого.

— Князюшка, я ведь твоего батюшку и мамашу-то знал во-о... одноутробнова-то? Трое суток как прибежал... на скотину болесть, ну, думаем — пообходит сынок городской... а тут в могилушку сыночка...

— Золотце ты мое, Сенюшка, соколик мой ясноглазый!

Высокий человек посмотрел хмуро в пол. Атласистое сало свечи капнуло ему на полушубок. Старик поспешно слизнул. «Эх, зря»,— подумал Фадейцев, но высокому, по-видимому, понравилось. Он нагнулся.

— Вставай! Черт с вами, прощаю — мало тут дезертиров! Только смотри, старик, набрешешь — покаешься. Я зло помню...

Он не спеша двинулся к дверям, но, мельком взглянув на профиль Фадейцева, неожиданно быстро устремился к нему. Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось — веки его коснулись щеки. Он прижал одну руку к груди и закричал пронзительно:

— Что? Что?.. Фамилия? Снимай шапку!..

Фадейцев вспомнил — когда сказали «расстрелять» — он надел шапку. Она мала, чужая, прокисшая какая-то...

— Семен Бакушев.

Высокий провел по его волосам, с удивлением поглядел на глубокий шрам подле виска.

— Бакушев? Врешь!

Он неловко, словно в воде, мотнул головой.

— Ясно... да... Не помню Бакушева. В Орле был?

— Никак нет.

— Князей Чугреевых знаешь?

«Ты...» — с какой-то тоскливой радостью подумал Фадейцев. Посылая его в уезд, председатель губисполкома дал ему для сличения фотографическую карточку руководителя зеленых, генерала Чугреева. Там он был моложе, полнее. Брови слегка углом. Фотография эта лежала в чемодане, в подполье. Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты. Он выпятил грудь и поднял высоко локти.

— Чугреевых? Господи! Да у нас вся волость...

— Врешь... все врешь, сволочь.

Солдат в алых наплечниках лепил на стол свечу.

— Пошел к черту!

Генерал и князь Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке. Была какая-то смесь щегольства и убожества в нем самом и в его подчиненных. Полушубок он расстегнул: зеленый мундир его был шит золотом (хотя оно и пообтерлось), а брюки были грубого солдатского хаки. Грязь стекала с его хромовых высоких сапог.

— В германскую войну в каком полку?

Фадейцев назвал полк.

— Не помню. В каком чине?

— Рядовой.

— Э...

Из сеней тоскливо, после продолжительного топтания:

— Прикажете вывести?

— Обожди. Хозяин, дай молока!

Обливая бороду молоком, он долго и торопливо пил. Щелкнули на улице выстрелы. Чугреев отставил кринку. Сизые мухи (такие липкие бывают весенними вечерами почки осин) уселись на краю.

Он грузно опустил руки на стол.

— Несомненно, где-то я видел тебя и в чем-то важном... этаком важном... для меня...

Он пощупал грудь.

— Видишь, даже сердце заныло. У меня всегда...

Старик опять грохнулся на колени. Он с умилением глядел на Фадейцева.

— Так сын, говоришь?..

— А как же, батюшка, да ей же боженьки...

— Колена тверже пяток — вставай! Допрошу в штабе и отпущу. Молись богу — пущай правду говорит... Идем!

3

Генерал Чугреев был слегка сед, размашист, немного судорожен в шаге. Комиссар Фадейцев — низенький, сутуловат. И так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги. Ночь — серая и ветреная, аспидно-синяя — рвала солому с крыши, хлипко гнула ее. У подбородка, у плеча нет силы снять соломинку, пахнущую грибами. Казаки отставали — шли только с ружьями наперевес двое. Штаб Чугреева в сельской школе. Подымаясь по ступенькам, спросил Чугреев:

— Трусишь?

— Одна смерть,— ответил звонко, по-митинговому, Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед расстрелом он решил крикнуть: «Да здравствует революция!»

— Мы сегодня семьдесят два человека кокнули. Если сосчитаешь, то который по счету, а? Трусишь?

Фадейцев смолчал.

Парты сдвинуты к стенам, на полу (в пурпурово-голубом пятне) керосиновый фонарь. Пахло же в комнате не керосином, а мелом. Под ногами, точно известь в воде, шипели куски мела. Выпачканный в белом, спал подле классной доски лысый с ушами, похожими на переспелые огурцы.

— Казначей. Спит. У большевиков спирт отбили, перепились. Зачем им возить с собой спирт, а?

«Мы спиртом? У нас спирт? Сволочь!» — так крикнул бы адъютант Карнаухов. Фадейцеву опять на мгновение стало жалко Карнаухова. Он промолчал.

Не давая заговорить, Чугреев сморщился и что-то показал пальцами под щекой.

— Надоело мне все, садись. Трусишь?

Стол шатался и скрипел.

Чугреев тоже шатался; плечи у него вздрагивали; он зябко поджимал колени. Он спрашивал о германской войне, об офицерах, служивших в полках.

Внезапно он вскочил:

— Гагарин? Это какой, пензенский?

— Не могу знать.

Чугреев приблизил к нему сонные, цвета мокрого песка, глаза.

— Я четыре ночи не спал... Меня надо титуловать. Забыл у большевиков? — Он быстро провел пальцем по подбородку Фадейцева.— Сегодня остригся,— сказал он медленно и попросил назвать города, где бывал Фадейцев.

— Тула... Воронеж...

— В каком году был в Воронеже?

— В семнадцатом.

— Месяц?

— Январь, генерал...

Чугреев, дергая руки по коленям, точно сметая пыль, хихикнул. Смешок у него неумелый, смешной, как будто разрывали бумагу.

— Вспомнил!.. Я...

Он, задевая рукой о парты, вытряс из какого-то мешка книгу, карандаши... Вырвал лист из входящего журнала. «Устав артиллерийской службы» запылен, засижен мухами. Сунул Фадейцеву устав.

— Переписывай! Быстро, ну.

Нарочито неумело, согнув палец и волоча за каждой буквой ладонь, Фадейцев начал писать. Буквы надобно выводить корявые, мужичьи, похожие на сучья. Буквы прыгали. Давило и прыгало сердце. Длинный человек через плечо заглядывал ему на бумагу. Сухо смеялся, словно вырывая лист. Стучал с силой рукояткой револьвера в стол, торопил. Карандаши крошились. Устав нескончаем. Фадейцев начал забывать, терять — какие нужно выводить буквы. Ему казалось, что та, которую он сейчас написал, прямее предыдущих, и он ломал их, нарочито округлял. Особенно плохо удавалось «о», то растянуто, как гримаса, то круглое, как кольцо, то согнуто — вытянуто, как стручок. Тоска!..

Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:

— Пиши фамилию! Свою!

И Фадейцев повел было «Фа...», но быстро перечеркнул и написал: «Алексей Бакушев».

Чугреев вырвал бумажку и разгладил.

— Превосходно. Фа... Фарисеев, например, или Фараончиков... Как?

— Напугался, ваше... с испугу... Не фартит мне...

— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил в клубе...

Он беспокойно понесся по комнате.

— В клубе! В клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело... вспомнил, черт подери. Как фамилия, Фа-а...

— Бакушев, ваше сиятельство.

— А? Подожди, не мешай... сейчас припомню. Ты меня узнаешь... В клубе, январь семнадцатого года и я — князь Чугреев, а?

Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы — улыбнулся.

— Шутить изволите...

Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:

— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей, они служат у большевиков. Одни — мобилизованы, другие — по слабости воли... Наконец, чтобы достичь такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках, в глаза, в рот харкнуть! Во-о... я сейчас в окно смотрю, а думаю — возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет... и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас узнаю... впрочем, ерунда! Вы понимаете, конечно,— меньше всего я могу добиться у крестьян — они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад... Повторяю, вашей фамилии я не могу припомнить,— обстоятельства же нашей встречи мне ясны...

Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.

— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку... Итак! Десятого или девятого января семнадцатого года. Вы помните этот вечер?

— Ничего...

— Э, бросьте дурака ломать... в этот вечер я проиграл вам... я...

Он сжал пальцами веки и, склоняясь длинным костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:

— Вы понимаете, понимаете... я... я... забыл, сколько вам проиграл. Сколько я проиграл?

Он свел руки.

— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила — или сказала о вас! Про вас... кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам... на другой день я должен был достать деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли... Так за всю мою жизнь я, князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай свел нас.

Фадейцев посмотрел на его побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской — тогда он был влюблен) он рядовым действительно был на спектакле. Солдат пускали только на галерку — она же пошла с матерью в партер... Он со злобой глядел на разрисованные под малахит колонны; ему смутно вспоминается длинная фигура в золоченом мундире... Злость еще хранилась с того времени! Но карты... он никогда не брал в руки карт.

Отодвинул стакан.

— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.

Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точенными из угля, усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.

Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:

— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога... а теперь в путиловском! В нас много стыда... капитан... на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю,— бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный будто мужик... Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)... и все-таки он... меня... из-под больной своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом — посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил... Надо понимать людей, капитан.

Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая. Словно глаза сползают с лица...

Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.

— Пустите меня,— прошептал он.— Устал.

Чугреев сморщился.

— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии... вы не слышали?..

— Красные сказывали — Щукин.

— Да, «товарищ» Щукин... но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?

Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.

— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.

Фадейцев сосчитал у себя — восемь.

— Бог даст, не изловят,— сказал он хрипло.

— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь — амба!

— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо, Фадейцев.— Кого амба?..

Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.

— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку...

Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:

— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол... огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси... Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?

Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.

— Хватит? — спросил он хвастливо.

Фадейцев больно надавил локтем в стол.

«Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают...» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя рево-

люционных мотивировок,— припомнил он адъютанта,— держись...»

Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.

— Греха на душу... пусти, ваше благородье... ваше сиятельство... Бакушев я, хоть все село опроси.

— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш... Ась, два!.. Стой!..

Он взял его под руку и подвел к столу.

— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста... И руки не прячьте... Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите...

— Ваше сиятельство, ей-богу!..

Нога Чугреева тяжело упала на пол.

— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!

В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.

Но Фадейцев молчал.

— Можете ли вы мне говорить прямо?

«Во имя революции — нет»,— так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.

Фадейцев же молчал.

Недоумевая, Чугреев отошел от стола.

— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!

Лицо у него было жесткое и суровое.

«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.

Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.

Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля — день... День прошел — полночь.

Князь опять упрекает:

— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.

Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.

А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.

Усталый, но на что-то надеясь, он говорит:

— Идите... Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу...

Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.

На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.

Не пьяный ли плевок вся ночь? Уже полночь.

Широкие улицы вздыхают травой — она росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко, с привизгами, по-бабьему мычит теленок.

Небо легкое и белое.

Земля легкая и розовая.

Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отворяет ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой пшеничной мукой).

— Молока не хошь? — спрашивает он тихо и ласково.— Я тут страдал...

Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза. Он хочет понять, вспомнить. Подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют...

4

Гики. Рассвет.

Пулемет. Солнце на пулемете.

Пустые улицы заполнились топотом.

Фадейцев спрыгнул с полатей.

— Наши!.. Ясно, что наши.

— Ну!..— протянул недоверчиво старик.— Чугрееву подмога.

А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели «Интернационал» и писали радостную резолюцию.

Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким телом. Желтовато-оливковые галифе были в крови, а шея туго забинтована.

— Я думал, ты убит,— повторял ему Фадейцев.

— А я об тебе думаю: амба! Я, как выстрелили они, одурел — темень нашла, выскочил на двор, смотрю: твоей лошади нет,— ну, думаю, утек. С кем тут защищаться?

Я и покатил на соединение... Там в обеих половинках говорят: не встречали, нету тебя... Ну, мы и поперли, думаем: хоть тело достать.

— А князь?

— Чухня-то эта? Удрал — деньги оставил, а казначея его Миронов прирубил. Они ведь всех наших раненых тово.

Он пошел в избу.

— Мы их, товарищ, достанем. Теперь достанем.

Фадейцев встретил старика в дверях с самоваром.

— Чай, батя?

— Чай, сынок.

— Можно... Чаю хорошо теперь.

Фадейцев, обходя стол (мешок у него лежал в переднем углу), взглянул в окно. Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, а внизу под склоном холма виднелся нехитрый березовый лесок, овражек, крошечное озерко, где молодые гуси пытались лететь. Солнце было цвета медной яри, и гуси имели светло-кровяно-красные подкрылья.

...И тогда Фадейцев вспомнил...

Два года назад Фадейцев был помощником коменданта губернской ЧК. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу белогвардейских офицеров. Было такое же, цвета медной яри, раннее утро, как сейчас. Приговоренные (их было пятеро), пока грузовик, круша звонкую пахучую грязь, вез их за город,— говорили об охоте. Один, высокий, с жидкими пепельно-серыми усами, рассказывал любопытные истории о замечательной собаке своей Фингале. «Таких людей и убивать-то весело»,— сказал на ухо Фадейцеву один из агентов. А Фадейцев ехал на расстрел впервые, на душе было тягостно, хотя он убежденно веровал, что уничтожать их нужно. Остановились подле такого же озерка, что и сейчас. Гуси неумело, испуганно отлетели от машины. Приговоренных подвели к оврагу, и высокий перед смертью попросил у Фадейцева папироску. Тот растерялся и отказал. Высокий сдвинул угловатые брови и сказал сухо: «Последовательно». После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), четверо были убиты наповал, а пятый — высокий, закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка зеницами. По инструкции, Фадейцев должен был его пристрелить. Солдаты уже сбрасывали в овражек трупы и слегка присыпали песком (так как все знали, что через три-четыре часа придут к овражку

родные и унесут тела; сначала с этим боролись, а потом надоело). Высокому прострелили плечо.

Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка. Он посмотрел в барабан — там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: «Умер... бросайте»...

Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.

— Ду-урак...— придыхая, сказал он,— ду-урак... у-ух... какой дурак.

— Кто?

— Кто? Да разве я знаю?.. Я сосну лучше, товарищ Карнаухов!

И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как стручок в урожай зерном.

1923

Александр Фадеев

(1901—1956)

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Памяти Игоря Сибирцева

1

Настоящее название полка было 22-й Амгуньский стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных приказах именовались народоармейцами[1]. Но человек, около года не вылезавший из сопок, вскормивший несчетное количество вшей, исходивший все таежные тропы от зейских истоков до устья Амура, привык к безвластью и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины. В новых наименованиях и, главное, в цифрах ему чудилось кощунственное посягательство на его свободу. И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали называть себя партизанами, а полк свой по имени старого командира — просто Семенчуковским отрядом.

Это была упорная и жестокая борьба между старым названием и новым. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челноков.

Силы противостояли неравные. Не только потому, что Челноков был одинок, но и потому, что это происходило в местности, где так короток день, а ночь длинна, где густ и мрачен лес, где воздух сыр и ядовит от болотных испарений, где зверь в лесах силен и непуглив, и человек — как зверь.

[1] На Дальнем Востоке наша армия называлась в 1920 году не Красной, а народно-революционной. *(Примеч. А. Фадеева.)*

Семенчуковский отряд оказался сильнее Амгуньского полка. Это произошло после разгрома под Кедровой речкой, хмарным и слизким утром, на левом фланге красного фронта.

Сгрудившись у гнилого, поросшего мхом и плесенью охотничьего зимовья, Семенчуковский отряд митинговал.

— Куда нас завели? — кричал, взгромоздившись на пень, лохматый детина.

Весь — костлявая злость, от головы до пят обвешанный грязными шматками полгода не сменявшейся одежды, он походил на загнанного таежного волка.

— Нас завели на верную гибель... Нас продали... Владивосток занят, Спасск-Приморск занят, Хабаровск занят, не сегодня завтра займут Иман,— куда мы пойдем? Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках за наши хлеба и семьи. Пора уж и домой! Довольно покормили вшей, пойдем за Амур! Там тоже Советская власть — мы ее поставили. Пущай приморцы сами свои края защищают... Пущай Челноков сам повоюет... с рыбой со своей, с тухлой...

И из человеческого месива, где озлобленные лица, обдрипанные шинели, штыки, патронташи, подсумки и мокрые ветви загаженного людьми ельника сливались в одно оскаленное щетинистое лицо, неслось:

— За Амур! За Амур!

— Довольно!

— Ну, как вы попадете за Амур? — стараясь быть спокойным, говорил Челноков.— Через фронт нам не пройти — раз. Через Хорские болота и подавно не пройти. Остается Уссури. Как вы через нее переправитесь? Пароходов ведь нет...

— Вре-ешь! — кричали из толпы.— Омманываешь... Есть пароходы... А грузы на чем эвакулируют? Сволочь!

— Этот пароход вас не возьмет...

— Мы сами его возьмем...

— Он всегда и так перегружен...

— Разгру-узим... Вот невидаль, подумаешь!

— Так ведь не в этом суть,— не сдавался Челноков.— Ведь мы оголяем фронт. Из-за нашего ухода вся область пропадает...

— А что мы — сторожа? — надсаживался лохматый детина.— Чего вы приморцев не держали? Небось в тылу сидят, одеты и обуты... Одних штабов, как собак, расплодилось...

— Верно, Кирюха... В тылу... галифе шириной в Амур распустили.

Масса не слушалась комиссара. Вчера, ругаясь с ним из-

за продуктов, она еще чувствовала в нем силу и нехотя подчинялась ей. Это не было, как в прежние дни, сознательное уважение к старшему товарищу, а просто последние остатки робости перед начальством. Они проявлялись тем сильней, чем независимей, храбрей и строже держался начальник. Но сегодня это уже не помогало. Сегодня масса не боялась и ненавидела комиссара. Он являлся единственным препятствием на ее пути. Вопрос ясен. К чему этот разговор?

— Дово-ольно! — кричала толпа.

— Долой комиссара! Отзвонил свое. Даешь в отставку!

На заросшей завалинке зимовья сидел Семенчук и ждал. В волнующейся толпе странно было видеть его притаившуюся, безучастную фигуру. И несколько раз, ловя на себе его хитрый, выжидающий взгляд, Челноков думал, что это единственный человек, который мог бы еще удержать полк. Но Семенчук молчал. Он сам был амурец, ему надоело воевать, а симпатии толпы так изменчивы, что не стоит рисковать своим авторитетом за чужое дело.

— За Амур! — рвался через тайгу в золотистые амурские пади стихийный тысячеголосый рев.

— Слушай, Семенчук,— сказал Челноков, наклонясь к командиру,— если они уйдут — ты будешь отвечать.

Семенчук насмешливо улыбнулся:

— При чем тут я? Мое дело маленькое.

— Врешь! — не выдержал Челноков.— Ты продаешь весь фронт за свой командирский значок...

— Что-о?!

Семенчук вскочил как ужаленный. В его напряженной позе скользнуло что-то кошачье. Даже желтая шерсть его тигровой тужурки, казалось, вздыбилась, как живая.

— Товарищи!.. Вы слышали, что сказал комиссар? Вы слышали, что он сказал? — Голос Семенчука дрожал от деланного гнева.— Мы, что целый год страдали в сопках, падали под пулями, топли в болотах, кормили мошкару, мы, оказывается, предатели революции! А они, что пришли на готовенькое, надели френчи и сели на наши шеи, они — спасители... Убирайся вон! — рявкнул он злобно.

Его толстая шея вздулась багровыми жилами, и широкое скуластое лицо налилось кровью.

Челноков схватился за револьвер и шагнул к командиру.

— Если ты думаешь на этом сыграть...— сказал он со зловещей сдержанностью, но грозный рев заставил его повернуться к массе. Отовсюду, где только виднелись люди, смотрела на комиссара стальная щетина неумолимых ружейных дул.

— Уйди-и!

Челноков принял руку с кобуры и несколько мгновений изучал толпу. Из-за каждого дула впивались в него горящие угрозой и ненавистью глаза.

Челноков опустил голову и медленно сошел с завалинки.

— Красные! — крикнул Семенчук.— Я всегда был с вами, а вы со мной... Слушай мою команду! Построиться!

Винтовки опустились одна за другой. В толпе зашныряли ротные командиры.

— Первая рота, собирай-айсь!

— Вторая рота!

Резкие выкрики команд казались неуместными под мохнатыми елями в распущенной массе голодных людей и тотчас же глохли где-то в заржавленном мхе карчей. Роты строились наспех, как-нибудь, и уползали в чащу по грязной дороге. Оседланная лошадь комиссара неистово ржала и металась на привязи. Под сотнями ног трещал низкорослый ельник.

— Винтовки хоть бы на плечо взяли...— неуверенно предложил кто-то.

— Во-от еще, на плечо! — гудели недовольные голоса.— Мы и на ремне донесем. Старый режим, што ли?

— Покомандовали ужо над нами, будя!

Оставшийся у зимовья комиссар слышал в удаляющихся голосах нотки радостного возбуждения и наивной, почти детской уверенности в окончании всех бед и страданий на этом свете.

Его лошадь запуталась в поводу и, вспенив губы, жалобно фыркала.

— Тише ты-ы! — сердито закричал Челноков.

Он несколько раз ударил ее хлыстом по крутому заду и выругался самыми скверными словами, какие только знал. Неизбежный вопрос — что делать? — сверлил уставшую голову. Он сел на завалинку и стал размышлять. Это было не очень приятное и не легкое занятие. Комиссар не спал уже около двух суток! В висках стучало. Он сжимал голову большими шершавыми ладонями, и его сухие и ломкие, как старая оленья шерсть, волосы топорщились на голове. Фуражка защитного цвета лежала у ног, и в ней хозяйничали рыжие болотные муравьи. Шум шагов и людские голоса давно уже замолкли вдали. Только в ольховнике у ключа робко посвистывали мелкоглазые рябчики. На левом фланге красного фронта комиссар Амгуньского полка был совершенно одинок.

Он медленно расстегнул кобуру и вытащил наган. Долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдумчиво взвел холодный курок. Однако он не выстрелил сразу, а решил еще подождать и подумать. Он привык отрезать только один раз, но зато после семикратной примерки.

И действительно, мысли его приняли другой оборот.

— Так нельзя,— сказал он, строго глядя на лошадь. Слова эти относились, однако, не к ней, а к самому комиссару.— Так нельзя,— снова повторил он вслух.— Тебя все равно расстреляют, но предупредить о случившемся ты обязан.

Придерживая курок нагана большим пальцем, Челноков опустил его на место и спрятал револьвер в кобуру. В его движениях не чувствовалось волнения или страха. Он поднял с земли фуражку и стал чистить ее мокрой еловой веткой. Ему не хотелось, чтобы даже в его одежде был намек на панику. Правда, он не сумел удержать полк, хотя и должен был сделать это. Но это еще не означает, что все остальное может идти спустя рукава.

Челноков отвязал лошадь и, вскочив в седло, выехал на дорогу. Лошадь рвалась в ту сторону, куда ушел полк, а он заставлял ее идти в другую. Несколько секунд они вертелись на одном месте, пока ей не стало ясно, что обстоятельства переменились...

Тогда она повиновалась человеку и, закусив удила, понеслась к штабу фронта, на станцию Бейцухе.

2

В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-крестьянская газета» писала:

«2 мая наши части, под давлением превосходных сил противника, оставив разъезд Кедровая речка, отошли на линию ст. Бейцухе. Дальнейшее продвижение противника приостановлено».

Прочитав сводку, командующий северным фронтом невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что поражение под Кедровой речкой являлось на самом деле разгромом красного фронта. «Превосходные силы противника» заключались в одном батальоне, разогнавшем десятитысячную армию. «Движение противника» отнюдь не было приостановлено, но он сам не пошел дальше, боясь распылить немногочисленные силы по мелким станциям и разъездам.

Перед мысленным взором командующего все время лежал громадный кусок Амурской долины, по которому уверенно перестраивались цепочки, квадратики, линии маленьких косоглазых людей, внушавших ужас защитникам кедровореченских позиций. И потом... эта неудержимая звериная паника, с оставлением орудий, винтовок и амуниций, с беспощадными драками между своими из-за каждого паровоза, вагона или двуколки, с бессмысленными, полными дикого страха, потными, измученными, уже нечеловеческими лицами. А когда штабной вагон попал наконец на станцию Бейцухе, он увидел на платформе сухого, сморщенного, с мочальной бородкой старика, грозившего скрюченным пальцем и кричавшего с пеной у рта:

— Дезертиры... Мы дали вам одежду, мы дали вам хлеб, а вы нас японцу продаете? Будьте вы прокляты!.. Вы и ваши дети!

Теперь — не только в Приморье, но и за Амуром, и в Прибайкалье, и за Байкалом — Кедровая речка стала нарицательным именем, символом панического бегства, трусости и позора.

Командующий фронтом посмотрел на карту. В этом злополучном краю даже военные карты были составлены неверно. Справа от ветки тянулись непролазные Хорские болота. Верховья реки Хор и ее притоков были помечены пунктиром. Там не ступала еще человеческая нога. Плохонькие позиции перед Бейцухе занимал недавно сформированный коммунистический отряд. Половина его бойцов была набрана из ставших ненужными, за развалом частей и учреждений, военных и гражданских комиссаров. Все они привыкли командовать, не любили подчиняться и искали путей, как бы попасть в Советскую Россию.

На левом фланге на нескольких пунктах значился по штабной карте 22-й Амгуньский полк. Связь с ним была еще плохо налажена. Полк считался ненадежным. Во всяком случае, это был единственный неразвалившийся полк, в порядке отступивший из-под Кедровой речки.

Командующий снова взял газету, но чтение не шло на ум. Он выглянул в окно. Везде было так пустынно, так неприглядно, что не верилось, будто на этой заброшенной станции находится главный мозг фронта. Да был ли у такого фронта какой-нибудь мозг?

Из станционного здания подпрыгивающей походкой шел к вагону комиссар Соболь. Он был очень маленького роста и, шагая через прогнившие дыры платформы, в своем черном обмундировании напоминал беззаботного вишневого

жучка. Но командующему он казался скорее неутомимым муравьем, несущим на себе непосильную ношу.

— Хорошие вести,— сказал комиссар, заходя в вагон.— Из Владивостока пришел тайгою на Иман матросский отряд, вот телеграммы...— Он бросил на стол пачку розовых бумажек.— На Имане восстановлен порядок, ловят дезертиров. Ревштаб извещает, что кое-какие полки удастся привести в боевой вид... Ей-богу, мы сможем выправиться на этом деле!..

— Боюсь, что нам уже ничто не поможет,— сказал командующий, прочитав последнюю телеграмму и передавая ее комиссару.— Вы читали это?

Телеграмма извещала, что пароход, эвакуировавший военные и железнодорожные грузы по реке Уссури за Амур, вышел в третий рейс. Телеграфный язык не знал правил правописания — ни больших, ни малых букв, ни запятых, ни кавычек. Подпись: «комендант пролетарий селезнев» — нужно было читать: «Комендант парохода «Пролетарий» Селезнев».

— Что ж, молодчага! — воскликнул комиссар.— Этого парня я знаю только по телеграммам, но он чертовски исполнительный человек. Можно было бы жить, если б все были такие.

Командующий смотрел на комиссара и, как всегда, удивлялся, откуда набирается бодрости эта маленькая, невзрачная фигурка. Сам он давно работал механически. Он был совсем одинокий человек, и с развалом фронта ему некуда было идти. Бывший офицер старой, царской армии, он провоевал большую часть своей жизни, из которой почти три года пришлись на борьбу за Советскую Россию. Теперь она маячила перед ним как последнее и единственное убежище.

— Дело не в исполнительном человеке,— сказал он сухо,— дело в эвакуации. Когда этот пароход пошел в первый рейс, я сразу понял, что дело пахнет ликвидацией. Ревштаб вывозит все, что можно. Приморье спело свою песенку. Нам тоже пора кончать. Я так думаю.

— Ну и плохо, что вы так думаете! — вспылил комиссар. Ему надоели вечные толки о ликвидации, за которыми шел неизбежный разговор о Советской России.— Наша беда и заключается в том, что так думают почти все, начиная от командующего и кончая дезертиром. Но ведь нам, черт возьми, предписано держаться, а не ликвидироваться!.. Вы думаете, мне не хочется в Советскую Россию? Вы думаете, я не устал от всей этой чертовщины? — Лицо

комиссара невольно сморщилось в жалкой гримасе.— Но вы помните, я говорил, что нам надо идти против течения? Какой я, к черту, комиссар фронта? Я вам говорил, что я просто токарь военного порта. Но раз я поставлен комиссаром, я должен им быть: не спать ночей, стрелять дезертиров, ругаться с полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я начинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчиваю себя каждый день невидимыми гайками до последней степени, до отказа... Я все время иду против течения и тащу за собой всех, кого только можно тащить при помощи слова или нагана... Черт возьми!.. Я буду идти и тащить, покуда хватит моих сил. Я уж вам не раз говорил об этом.

Командующему хотелось сказать: «Я тоже старый солдат и исполняю свой долг», но эта фраза показалась ему слишком напыщенной при Соболе.

— Я привык к организованным войсковым единицам,— сказал он извиняющимся тоном.

Соболь ничего не ответил.

Неловкую тишину одиноко прорезал отдаленный гудок паровоза. Оба ощутили легкое, едва заметное дрожание штабного вагона. Судя по гудку, паровоз шел с тыла.

— Это наш броневик,— сказал командующий.

— Наконец-то!

Соболь швырнул телеграмму и, жуя на ходу вытащенный из кармана хлеб, вышел на линию.

Из темного подвала сопок, раскидывая по откосам клочья тяжелого дыма, несся к штабу новенький бронепоезд.

Из бронированного паровоза, смеясь, выглядывал седенький машинист. Соболь заметил у его пояса пару английских гранат.

Поезд остановился за станцией, у стрелки. Из вагонов одна за другой выскакивали серые фигуры. Впереди шел начальник штаба фронта и его помощник. За ним виднелись еще знакомые и незнакомые лица.

— Черт возьми!.. Шептало! — воскликнул комиссар, узнав среди штабных начальника бронепоезда.

Черные, закоптелые лица обступили комиссара со всех сторон. Они радостно трясли ему руки и что-то кричали наперерыв. Двое из вновь прибывших, в одинаково чистеньких френчах и кожаных галифе, остановились поодаль и улыбались.

— Не все сразу,— с нарочитой строгостью сказал комиссар.— Сначала о деле. Идите все на свои места, потом

поболтаем. Шептало и вы.— Он посмотрел на отдельно стоящую пару.— Пойдемте со мной.

— Рассказывай,— обратился он к Шептало, когда они зашли в купе.— А ты все такой же,— перебил он себя, невольно переходя с официального тона на дружеский.— Ну, ну, рассказывай...

Шептало сообщил, с каким трудом удалось ему сформировать бронепоезд. Он постоянно сбивался с тона и, брызгая слюной, возбужденно передавал не относящиеся к делу подробности.

— Понимаешь, все уже было сделано! — кричал он на весь вагон.— Уж и орудия поставили, а ни один машинист не соглашается... Кстати, насчет орудий: эта трусливая никольская артиллерия никак не хотела отдавать. Рабочие из мастерских даже депутацию к ним посылали. «Мы, говорят, маялись, делали, а вы удрали с фронта да еще орудий не даете». Ни черта не помогает... Тогда уж и я разъярился. «Не дадите, говорю, начну садить по лагерям из пулеметов...» Все-таки отдали...

Он весело засмеялся, и, глядя на боевые искорки в его зеленовато-серых глазах, так же весело завторил ему Соболь. Двое в кожаных брюках скептически переглянулись.

— Так вот, машиниста,— продолжал Шептало.— Я уж, брат, все службы — тяги, пути, движения и еще черт его знает какие службы облазил. Никто!.. Наконец этот старичок. «Мне, говорит, все равно умирать...» И поехал. Ей-богу...

Соболь смотрел на исхудавшее белобрысое лицо начальника бронепоезда и думал, что из этого парня будет толк. «Ничего, что немного звонит. Зато делает дело...»

— Ребята у тебя надежные? — спросил он вслух.

— Ребята — что надо! — восторженно воскликнул Шептало.— Большинство со Свиягинской лесопилки. Есть трое батраков из Зеньковки. Тут, брат, комедия... Один из них рассказывал, что после Кедровой речки он дезертировал домой. Так, понимаешь ли, собственная баба в избу не пустила. «Иди ты, говорит, ко псу, сметанник». Ей-богу, так и сказала: «Иди ты ко псу». Сам рассказывал. «Стало, говорит, мне соромно, я и вернулся...»

— А вы как к нему попали? — обратился Соболь к парням в кожаных брюках.

— Они не ко мне,— сказал Шептало. Его потрескавшиеся губы скривились в насмешливую улыбку.— Это так... случайные...

— У нас разрешение в Советскую Россию,— сказал

один из них. Это был молодой белокурый парень с тонкими и правильными чертами лица.

— Так,— сказал комиссар.— Ну, мы еще поговорим. Шептало, можешь идти.

Он долго и пристально разглядывал оставшихся в купе. Его маленькие черные усики странно топорщились. Все трое молчали.

Соболь хорошо знал обоих по совместной работе во Владивостоке. Белокурый был матросом из музыкантской команды Сибирского флотского экипажа. Его товарищ, горячий, неутомимый латыш, слесарил во временных мастерских. В те времена это были на редкость хорошие ребята.

— Как же вас выпустили из Владивостока? — спросил комиссар пытливо.

Белокурый звучно рассмеялся:

— Там сейчас такая неразбериха, что кого хочешь выпустят. Везде хозяйничают японцы. Наши прячутся по слободкам. Старик Крайзельман совсем потерял голову. Когда мы ему подсунули бумажку, он сразу подписал. Я еще сказал Артуру, что, подсунь ему его собственный смертный приговор, он бы так же подписал. Факт!

При его словах латыш нервно дернулся на койке.

— Разве у нас вожди?! — резко закричал он.— У нас сапожники! Все потеряли голову, мечутся, как угорелеватые. Мы думали, шьто хоть на фронте порьядок, а тут у вас тоже... Скорей бы уйти к черту из этого краю...

Он выразительно махнул рукой, и вся его мускулистая, чуть сгорбленная фигура, казалось, говорила о том, что он не желает больше об этом разговаривать.

— Так,— снова сказал комиссар.— И что же вы думаете делать в Советской России?

Его голос чуть заметно дрожал.

— Я проберусь в Латвию,— буркнул латыш.

— А я пойду по культурно-просветительной части. До японского выступления я уж ударял по этому делу. Хоть я и матрос, но ты знаешь, что из меня плохой вояка. А каковы твои планы на будущее?

— Я думаю всю свою дальнейшую жизнь посвятить военному делу,— насмешливо процедил Соболь.— Ну, покажите, какую вам дали бумагу...

— Ерунда, обыкновенный мандат.— Белокурый полез в бумажник.— А ты зря идешь по военной,— сказал он с сожалением.— Приморье погибло уж для Советской России, а в центре нужны люди для мирного строительства. Вот она...

Соболь взял протянутую бумажку и сунул, не читая, в карман.

— Теперь послушайте меня,— сказал он, неожиданно меняя тон.— Вы обманным путем ушли из Владивостока, забыв свой долг и бросив массы в самую тяжелую минуту. Я отдал бы вас под суд, ежели бы они у нас не развалились. Я застрелил бы вас сам, ежели бы у нас хватало толковых людей. Я жалею, что не могу сделать ни того, ни другого... Но я предлагаю...

— Это плохие шутки, Соболь,— недоуменно перебил латыш.

— Молчать!..— не выдержал комиссар. Он выхватил наган, и голос его звякнул, как лопнувший станционный колокол.— Сидеть смирно и слушать! Я предлагаю вам вот что: или вы пойдете в коммунистический отряд, дав мне слово, что не убежите, или я вас посажу под арест и не буду кормить до тех пор, пока вы не дадите мне этого слова и не пойдете в отряд.

— Соболь, что с тобой? Ты с ума спятил? — удивленно забормотал матрос.

— Одна минута на размышление,— сказал комиссар, выкладывая часы.

— Не пойму...— в глазах белокурого померк мягкий и теплый свет, и вся его фигура выразила удивление, беспомощность и вместе с тем сознание своей правоты.

— Я буду жалеться в областком! — вскипел латыш.— Это свинство!

— Когда будешь в Советской России, можешь пожаловаться в ЦК — там разберемся.

— Л... ладно,— сказал матрос после непродолжительного раздумья.— Мы можем, конечно, пойти и в коммунистический отряд. Но с твоей стороны это превышение власти. Ты определенно закомиссарился, ты за это ответишь. Я тебе говорю...

— Двадцать секунд осталось,— холодно обрезал комиссар.

— Да я же сказал, что мы пойдем!

— Товарищ Сикорский! — крикнул Соболь, открывая дверь.— Выдайте этим двум удостоверения в комотряд... рядовыми бойцами,— добавил он после некоторой паузы.

— Эх, Соболь, Соболь...— с грустью протянул белокурый.

— Канцелярия направо,— сухо сказал комиссар.— Я вас не задерживаю.

— Гас-тро-леры,— промычал он с непередаваемым презрением, когда оба спутника возмущенно выскочили из купе. Ему казалось всего обиднее то, что один был слесарем временных мастерских, а другой — матросом революционного экипажа.

3

Соболь беседовал у бронепоезда с народоармейцами, когда всадник на взмыленной густогривой лошади выскочил из кустов и, быстро осмотревшись по сторонам, поскакал к штабному вагону.

«Это еще что за личность?» — продумал Соболь. Но когда всадник соскочил с седла, он сразу узнал в нем Челнокова. До этого ему не приходилось видеть его на лошади.

Приезд Челнокова был слишком необычен. Соболь оборвал свою речь на полуслове и не пошел, а побежал к штабу. Комиссар Амгуньского полка угрюмо поджидал его, прислонившись к вагону. Видно было, что он страшно устал. Его лошадь тоже понурила голову и застыла.

Соболь с силой сжал протянутую ему руку и несколько секунд не мог выговорить ни слова.

— Ну?! — прохрипел он наконец.

— Амгуньский полк ушел с позиции,— тихо проговорил Челноков.

— Тсс!..— прошипел Соболь, до боли стиснув зубы.— Никому ни единого слова об этом. Здесь воздух полон паники. Идем в вагон.

Но когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный челноковский френч и, дрожа от переполнявших его существо бешеных противоречивых чувств, закричал тонким, надорванным фальцетом:

— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зу-бами!.. Да что же у вас там... Челноков?!

— Я сделал все, что мог,— угрюмо пробормотал тот.— Но я не сумел убедить...

— Убедить?! — яростно повторил Соболь.— Комиссар! Надо было не только убеждать, надо было стрелять!

— Дело так сложилось, что я не мог даже вытащить револьвера... Они направили на меня винтовки...

— Какое мне до этого дело?.. Ты должен был удержать, понимаешь? До-олжен... Меня не интересует, убили бы тебя или нет!..

Соболь выпустил френч и возбужденно забегал по купе.

Его маленькая растрепанная фигурка, мечущаяся в тесной и пыльной кабинке, как-то не вязалась с рослой, окаменевшей на месте фигурой Челнокова.

— Ты знаешь, что нужно сделать с тобой? — спросил вдруг Соболь, круто остановившись перед полковым комиссаром.

— Знаю,— сказал Челноков.

Соболь опустился на койку и сидел молча несколько минут.

Слышно было, как в канцелярии кто-то неумело стукал на машинке.

В этой тишине слова комиссара прозвучали совсем по-иному.

— Федор,— тихо позвал он Челнокова,— ты не забыл, как мы пять лет работали у соседних станков?

Челноков вздрогнул, и странный мягкий звук сорвался с его уст. Соболь нервно хрустнул пальцами и так же тихо продолжал:

— И ты... не сумел удержать полк?

Комиссар северного фронта не смотрел на своего подчиненного, но в его словах слышался такой же тихий, как его голос, укор.

— Я не сделаю тебе ничего,— продолжал Соболь,— потому что у нас мало таких людей, как ты, а мы милуем кой-кого и похуже. Но мы должны исправить положение. Ты понимаешь, Челноков?

Комиссар Амгуньского полка медленно поднял голову. Его смущенный взгляд встретился с серьезным и решительным взглядом Соболя, и в обоих мелькнуло нечто большее, чем простое взаимное понимание. Это была дружеская симпатия, может быть, даже нежность. Но она показалась только на одно мгновение.

— Пойдем к командующему,— сказал Соболь.

Им требовался быстрый и правильный рецепт. Но что мог дать человек в старом полковничьем мундире, привыкший к организованным войсковым единицам? Он уныло посмотрел на обоих сквозь потные очки в черной, почти траурной оправе и не сказал ни слова.

— Если бы у меня было тогда с пяток надежных ребят, я бы удержал весь полк,— пояснил Челноков.— Но теперь его не возьмешь и с пятью десятками. Он выйдет к реке и укрепится. Семенчук — старая лисица!

Он вопросительно взглянул на командующего, но тот по-прежнему молчал. Когда-то точная и исполнительная машина теперь отказывалась работать. Соболь схватил

телеграфный бланк и, вырвав из рук командующего карандаш, стал быстро писать, нагнувшись над столом.

— Подпишите! — сказал он, подсовывая исписанный бланк.— Челноков, я сообщаю о происшедшем в ревштаб и прошу прислать один из матросских батальонов в твое распоряжение. Ты сейчас же сядешь на дрезину и поедешь на Вяземскую. Там встретишь эшелон и вместе с отрядом пройдешь трактом к Аргунской. Я думаю, к завтрашнему вечеру ты уже будешь там. Семенчуку больше некуда деться. Я даю тебе все права и полномочия, какие только потребуются.

— А если он успеет погрузиться на пароход?

Соболь схватил другой бланк.

«Станица Орехово. Коменданту «Пролетарий» Селезневу. Никаких частей без моего ведома не грузить.

Военком фронта *Соболь*».

— Орехово выше Аргунской,— пояснил он.— Там тоже есть телеграф. Селезнев зайдет в Орехово за динамитом. Ну... иди, брат... ждать некогда...

Они вместе вышли на линию. На привязи у вагона все в том же положении стояла лошадь Челнокова. Из ее грустных полуоткрытых глаз сочились мутные слезы усталости и голода. Челноков ласково потрепал ее по шее.

— Ты позаботься о моей лошадке,— сказал он Соболю.— А потом...— он на мгновение замялся и странно дрогнувшим голосом докончил: — Может, у тебя найдется кусок хлеба... для меня?

Только теперь Соболь заметил, что Челноков бледен, как песок. Кожа стянулась на его лице, резко обозначив скулы и челюсти. Под глазами выступили расплывчатые синие круги, и веки чуть заметно дрожали.

Соболь убежал в вагон и через минуту вернулся с ковригой гречишного хлеба и с большим куском нутряного сала.

— Есть сумка, куда положить? Нет? Ну, возьми мою!

Он снова сбегал в вагон и принес походную сумку японского образца.

— Носи за мое здоровье! — сказал он шутливо.

4

Пароход «Пролетарий» имел свою историю. Когда Иманский ревштаб пришел к необходимости эвакуировать за Амур все, что поддается эвакуации, он столкнулся с рядом непредвиденных затруднений.

Прежде всего требовалось судно, на котором можно было провозить эвакуированные грузы. Нужен был твердый и исполнительный человек, способный взять на себя такое опасное и ответственное дело. И, наконец, необходим был новый путь для эвакуации, так как Уссури впадала в Амур возле Хабаровска, а в последнем сидели японцы.

В течение нескольких дней штабная канцелярия занималась отыскиванием нового пути. Были извлечены из старых переселенческих архивов изъеденные мышами, пожелтевшие от времени географические карты, из которых ни одна не походила на другую, хотя все изображали одну и ту же местность.

Комендантская команда ловила на побережье загорелых рыбаков и хитрых, предприимчивых скупщиков меха, могущих дать хоть какие-нибудь сведения по указанному вопросу.

И путь был наконец найден.

Это была Центральная протока, вытекавшая из Амура в пятидесяти верстах выше Хабаровска и впадавшая в Уссури верст на сорок ниже того же города. Пароход должен был спускаться по Уссури до устья протоки и, свернув в нее, идти против течения до тех пор, пока не попадет в Амур. Таким образом, Хабаровск оставался в стороне. По свидетельству рыбаков, то была глубокая протока, хотя по ней не плавало еще ни одно паровое судно.

С пароходом дела обстояли хуже. В Иманском затоне находилась старая баржа в сто тонн водоизмещения и маленький поломанный пароходик, насчитывавший пятьдесят восемь лет производственного стажа. Когда-то он назывался «Казаком уссурийским», а баржа — «Казачкой», но после Февральской революции его переименовали в «Гражданина», а баржу — в «Гражданку». При Колчаке на нем вылавливали в тростниковых зарослях Сунгача беглых большевиков и красногвардейцев. Пароход был заново перекрашен и перекрещен в «Хорунжего Былкова», а баржа — в «Свободную Россию». По мнению знающих людей, он теперь ни к чему не годился. Но председатель ревштаба осмотрел его самолично и нашел, что «можно починить». Нужен был только человек, способный взяться за это дело.

Стали искать человека. Он должен был, во-первых, хоть немного понимать в пароходном деле, во-вторых, отличаться поистине дьявольской настойчивостью, и, в-третьих, его глаза не смели косить в сторону Советской России. Иначе он мог исчезнуть в первом же рейсе, как только попадет за Амур.

Надо сознаться, таких людей на Уссурийской ветке было очень мало. И все-таки его нашли. Он командовал комендантской ротой города Имана и, по имевшимся сведениям, плавал раньше на торговых и военных судах.

Председатель ревштаба занимался у себя в кабинете, когда дверь отворилась без доклада и в комнату вошел плотный чернявый человек среднего роста, в короткой гимнастерке полузащитного цвета и простых кожаных брюках, заправленных в грубые сапоги.

— Что вам угодно? — спросил председатель сухо.

В эти дни у него бывало излишне много посетителей, и вошедшего он видел в первый раз.

— Я Никита Селезнев,— просто сказал вошедший.— Меня вызвали по делу эвакуации.

— Садитесь,— сказал председатель, указывая на стул.— Это очень серьезное и ответственное дело. Мы предлагаем вам отремонтировать пароход в две недели. Ни в коем случае не позже — в порядке боевого приказа.

Излагая Селезневу, в чем состояла задача, он пристально изучал его внимательное, спокойное лицо и плотную, резко очерченную фигуру. У Селезнева были сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти черные волосы на голове и такие же подстриженные по-английски усы. Одна из его бровей поднялась чуть выше другой, и из-под обеих смотрели острые, проницательные глаза цвета полированной яшмы. На вид ему можно было дать около двадцати семи лет.

— Нам требуется строгая точность и исполнительность в этом деле,— говорил председатель.— Вы сами знаете, что теперь творится. Можно сказать заранее, что вас толпой будут осаждать дезертиры с просьбой перевезти за Амур. Они будут угрожать вам оружием и, очень возможно, отправят вас на тот свет. Но мы все ходим под этой угрозой... Что вы предполагаете сделать на первый случай?

Селезнев несколько секунд молча теребил фуражку и, внезапно надев ее на голову быстрым, решительным движением, сказал:

— Ежели готов мандат, я приду к тебе через неделю и скажу, что я уже сделал.

Он сказал председателю «ты», как говорил всем людям, с которыми встречался хотя бы и в первый раз. В его тоне чувствовалась врожденная незлобивая грубоватость.

— Мандат сейчас заготовят,— сказал председатель.— И, тоже переходя на «ты», спросил: — Ты коммунист?

— Да.

— Можно надеяться, что ты сам не сбежишь за Амур?

Он ожидал, что Селезнев обидится на этот вопрос и скажет какую-нибудь резкость. Но Селезнев просто ответил:

— Можно.

Вопрос был ичерпан. Через полчаса Селезнев ушел из штаба с длинной инструкцией, ни один пункт которой не понадобился из-за ее нежизненности, и с таким же мандатом. Последний тоже не нашел себе применения, так как оборудование парохода нужно было проводить отнюдь не мандатом, а либо уменьем убеждать, либо силой кулака и нагана.

Прежде всего Селезнев взял себе помощника — взводного командира Назарова, из комендантской роты.

Это был необычайно рослый волосатый человек, угрюмый и несуразный, как выкорчеванный пень. Когда-то он работал на Сучанских угольных копях и вынес с той поры редкие качества: никуда не смотреть, все видеть и в течение нескольких дней не произносить ни слова. Несмотря на это, а может быть, благодаря этому, он имел верный глаз на людей и умел их отыскивать.

— Вот что, Назарыч,— сказал Селезнев,— ты достань мне одного писучего, другого хозяйственного человека! А потом натаскай ребятишек для пароходной комендантской команды! Работнем — куда ни шло...

Сам он пошел в типографию «Рабоче-крестьянской газеты», и на следующий день были расклеены по городу приказ и воззвание: «Всем, служившим когда-либо на пароходе «Хорунжий Былков» и барже «Свободная Россия», явиться к коменданту указанного парохода т. Селезневу, в контору на берегу, 22 апреля, к 8 часам утра».

Первым явился на зов маленький кривоногий старичок во главе небольшой кучки веселых загорелых парней в засаленных блузах и широких брезентовых штанах навыпуск. Он оказался судовым машинистом, а сопровождавшие его ребята — матросами с парохода.

Они произвели на Селезнева самое хорошее впечатление. У старичка были длинные, опущенные книзу хохлацкие усы и густые седоватые брови. Он, видимо, любил поговорить и после каждой фразы как-то особенно щурился. Морщины на его маленьком шершавом лице, черные от въевшейся копоти и машинного масла, делались при этом еще чернее и глубже.

— Ты видел сво... пароход-от, голова? — говорил он с добрым затаенным смехом в глазах.— Дрянь посудинкато, ну? Ничево-о, голова! Нала-адим. Там в машине малость частей не хватает, дак в депе можно раздобыть — пойдет...

— Как же тебя записать? — спросил Селезнев.— Машинистом?

— Люди механиком звали, а хошь — пиши машинистом... Нам все едино... Мы народ не гордый.

Он засмеялся мягким, беззвучным смехом, похожим на шорох дыма в пароходной трубе.

— Механиком и запишем,— серьезно сказал Селезнев.— А матросы тут все?

— Пятерых нет,— сказал «механик»,— удрали.

— Босотва! — презрительно добавил нескладный чубатый парнишка.— Трусят...

— Перело-овим! — уверенно загудели остальные.

Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал им паек.

Работа пошла веселее.

В тот же день пришел капитан парохода — костлявый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стоявшую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же папаху. Он относился к своей судьбе со странным безразличием, и Селезнев долго не мог отгадать, каково его действительное настроение. Они вместе прошли на пароход, где уже возились маленький механик и раздобытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Увидев, что работа кипит, капитан несколько оживился.

— Пятьдесят восемь лет посудине! — сказал он с неожиданными ласковыми нотками в голосе.— Отец мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаевску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был, а теперь — город...

Последнее слово капитан произнес с легким оттенком неодобрения и даже досады.

— Тебя как звать? — спросил Селезнев.

— Усов, Никита Егорыч.

— Тезка, значит? Ладно. Так вот, Никита Егорыч, назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что требуется, докладывай мне. Срок — неделя.

— Недели мало,— сказал капитан, снова переходя на безразличный тон.

— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.

Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же безразличным тоном:

— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно, не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне. Я не стану тормозить дело.

— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубоватой и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул Селезнев.

Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной судак действительно боялся политики и предпочел бы сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он решил работать не за страх, а за совесть, как работал на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал большевиков.

На другой день Назаров привел «хозяйственного человека».

Более странного и подозрительного типа Селезнев не видел никогда в жизни.

Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно длинными пальцами были ярко-рыжего, огненного цвета.

Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем не вязался с горестной и немного ядовитой складкой тонких обветренных губ. При всем том «хозяйственный человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, загнутым кверху, указывавшим на знакомство с последней модой амурских «налетчиков».

Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми ресницами.

Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.

Он должен был добыть весь необходимый материал по оборудованию парохода и заготовить продовольственные запасы для матросов и комендантской команды.

Однако он не выразил никакого испуга или протеста, узнав про трудности своей будущей работы.

Селезнев не решился сразу ввести его в курс и велел ему прийти на следующее утро.

— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда Кныш вышел из конторы.— Ты промахнулся на этот раз, старый братишка. Ну, скажи мне: ну, что это за фигура?

Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и, распустив завязку, достал из него кусок газетной бумаги и щепотку крупного коренчатого табаку. Свернув папироску, он протянул кисет Селезневу и, по обыкновению, не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спокойным и ровным тоном:

— Это жулик. За ним придется присмотреть. Только для вас...— тут Назаров сделал маленькую паузу и тем

же спокойным тоном докончил: — Это самый годящий человек.

Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недостаточно, он продолжал:

— Нас он не надует — факт. А других — сколько угодно. Он тебе самую последнюю гайку, хоть из-под земли, а доставит моментом. В живом виде.

Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день задачу добыть в Иманском депо необходимые для машины части, написал бумажку от себя, в которой точно указал, какие именно части были нужны.

— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит резолюцию — «выдать».

Кныш оказался талантливее, чем предполагалось. В первый раз он действительно сходил в ревштаб и получил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел, что это очень длинная, волокитная история, а главное — никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разучил подпись председателя как нельзя лучше. На всех следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он накладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв требуемую вещь всякими правдами и неправдами, возвращал бумажку с надписью «исполнено».

Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого зависела выдача необходимого продукта или материала, он старался его украсть. У него было неисчислимое количество «друзей», способных за незначительное вознаграждение выкрасть с неба апрельскую луну.

Неизвестно, какое количество различных ценностей Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Селезневым сроку он не только достал все, что требовалось для парохода, но и нагрузил его более чем достаточным количеством муки, сала, печеного хлеба, солонины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.

Приведенный Назаровым «писучий человек» оказался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятнадцати, служившим до этого поваренком в одном из полков. Он совсем недавно бежал из родительского дома и жаждал более авантюристических похождений.

— Переезжай ко мне со всем имуществом,— сказал ему Селезнев.— Будем друзьями.

Имущество синеглазого парнишки выразилось в маленьком вещевом мешке, в котором, кроме смены белья, хранилось «Руководство для кораблеводителей», издания 1848 года, сломанный детский компас и старый заржавленный пугач без единого патрона.

Как бы то ни было, но работа в затоне закипела с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек, каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржавая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе острый, распорядительный глаз Селезнева и его твердую, в железных мозолях, руку.

Через девять дней после начала работы Селезнев явился к председателю ревштаба и доложил ему, что «все готово». Пароход и баржа были заново отремонтированы, покрашены и в четвертый раз в своей жизни переименованы. Теперь пароход назывался «Пролетарий», а баржа — «Крестьянка».

К этому времени сформировалась комендантская команда. Это была разноликая, разношерстная «братва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и Янковского — задумчивые ребята в широкополых соломенных шляпах, с неизменными трубками в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью.

Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в жгучий полдень, и в слизкие, дождливые ночи, задыхаясь под тяжестью массивных станков и несчетного количества орудийных снарядов. Они несли бессменную вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дрались смертным боем с бесчисленными толпами дезертиров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разнести в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали их китайские посты, как только пароход приближался к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман, и сумрачный стлался вдоль границ Китай, суливший нежданные хунхузские налеты.

За Амуром у каждого оказались друзья, предлагавшие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая «устроить» на более спокойные места без всякого риска. Но, справив дела, они неизменно возвращались обратно, шли, стиснув

зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк, за новым драгоценным грузом.

И не знавший правил правописания, бесстрастный телеграф слал по линии одну за другой деловые телеграммы со странной, непонятной подписью: «комендант пролетарий селезнев».

5

Этот день был несчастлив с самого начала.

Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел на мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово. Чувствовалась несомненная халатность, так как речной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые рейсы.

Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, приподняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный опыт в следующий раз.

— Глянь, голова,— сказал он, добродушно щурясь в темноте,— днище-то на ладан дышит, насквозь проржавело. Еще разок сядем и — каюк.

По счастью, мель оказалась неширокой, и баржа, шедшая с пароходом «под ручку», остановилась на глубине. Вся пароходная команда, за исключением капитана и машиниста, перебралась на баржу. Нагруженная до отказа, подталкиваемая течением, она сволокла пароходик собственной тяжестью.

Селезнев вызвал капитана в каюту и, глядя в упор в его водянистые глаза, сурово сказал:

— Мы больше никогда не сядем на мель. Понял?

Разумеется, капитан был очень понятливым человеком. Но все-таки вместо четырех часов ночи они пришли в Орехово к девяти часам утра.

Измученный бессоньем, Селезнев едва стоял рядом с Усовым на капитанском мостике. Боясь уснуть, он заставлял себя изучать то неясные очертания далеких сопок, то прибрежные зеленеющие холмы, то притулившиеся к ним разбросанные избы станицы. Они все тонули в молодых вербовых зарослях. Весенний клейкий лист играл на солнце, как олово. Из кустов возле телеграфа вился кверху белесоватый, смешанный с паром дымок. Казалось, что вместе с ним тянется оттуда жирный запах сомовьей ухи. В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда.

Наконец пароход причалил, и Селезнев пошел на телеграф. За ним на почтительном расстоянии шагал «писучий человек» с тощей порыжевшей папкой под мышкой. Кстати сказать, в ней не имелось ни одной бумажки, и вряд ли она вообще была для чего-нибудь нужна. «Писучий человек» переоделся в ватные шаровары и просторную солдатскую гимнастерку. Ему пришлось подвернуть рукава, а похожая на блин фуражка покоилась не столько на его голове, сколько на ушах. Тем не менее он чувствовал всю важность и ответственность своего положения.

В конторе Селезневу передали телеграмму Соболя. Она удивила его и заставила насторожиться.

— Чудасия,— сказал он «писучему человеку»,— кажись, мы ничего не делаем без приказу. Что-нибудь тут неспроста.

Около кустов, из которых тянулся заманчивый кухонный дымок, их остановил полный человек в коричневом пиджаке и жесткой соломенной шляпе.

— Товарищ Селезнев, здравствуйте! — сказал он с виноватой, несколько заискивающей улыбкой.

Селезнев узнал председателя партийного района, в котором он состоял во Владивостоке.

— Здорово. Ты как сюда попал?

— Да вот... попал...— неопределенно пробормотал тот.

— Что делаешь?

— Да ничего. Так вот — туда, сюда. Неразбериха.

— Будет врать-то,— раздался из кустов хриплый насмешливый голос.— Скажи: младший гарнизонный повар. Потому, мол, ни к чему другому способностей не оказал.

Селезнев посмотрел на руки председателя района и заметил, что его пальцы порезаны и желты от картофеля.

— Что ж, и это дело,— сказал он, зевая.

Председатель покраснел и спрятал руки в карман.

— Товарищ Селезнев,— начал он, нервно мигая глазами,— не перевезете ли вы меня... за Амур?

— Разрешение есть?

— Разрешения нет, но... что ж я тут... верчусь — так, зря?

«А ведь казался хорошим партийцем...» — в недоумении подумал Селезнев.

— Без разрешения не перевезу,— сказал он сухо.

— Товарищ Селезнев...— В дрожащем голосе председателя послышались умоляющие нотки.— Я вас прошу... в память нашей совместной работы... Я... измучился, я не могу больше работать здесь.

— Слушай, брось ныть,— устало перебил Селезнев.— Я не возьму без приказу. Прощай.

Он круто повернулся и пошел к пароходу. «Писучий человек» с любопытством наблюдал за обоими.

— Не берет,— сказал председатель со смущенной улыбкой.

Губы «писучего человека» задрожали мелкой смешливой дрожью, но он удержался от смеха. Кинув на председателя истинно комиссарский взгляд, он небрежно произнес:

— Подайте заявление и анкету в двух экземплярах. А впрочем, я вам не советую ехать. На нашем пароходе оч-чень опасно.

Комендантская команда грузила динамит. Из продолговатых ящиков тянулся легкий дурманящий запах, от которого кружилась голова. Несмотря на усталость, Селезнев присоединился к работе. Глядя на него, примкнули и матросы, хотя погрузка не входила в их обязанности.

Потом, лежа в каюте, Селезнев думал о странной телеграмме с фронта, и, даже когда совсем засыпал, ему казалось, что неугомонная пароходная машина выстукивает те же слова: «никаких... частей... не грузите...»

6

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тормошил его за плечо.

— Товарищ комендант! Товарищ комендант!

Он вскочил на ноги и протер глаза.

Перед ним стоял «писучий человек» с беспокойным, несколько растерянным выражением лица.

— В Аргунской стоит какая-то часть...

Селезнев надел фуражку и стремительно побежал наверх.

Извиваясь меж холмов, стлалась вниз сверкающей лентой река. Впереди, на голом безлесном мысике, лепилась маленькая станичка, необычно кишевшая народом. Вся комендантская команда высыпала на палубу. Многие, чтоб лучше видеть, забрались на снарядные ящики, не уместившиеся в баржевом трюме и аккуратно уложенные наверху.

Селезнев посмотрел в бинокль и без труда различил на людях вооружение и походную амуницию. Он сразу почувствовал какую-то связь между ней и полученной им вчера телеграммой.

— Товарищ Усов,— сказал он, быстро оборачиваясь к капитану,— на этот раз мы не зайдем в Аргунскую.

— Нельзя не зайти: дрова на исходе.

Селезнев послал Назарова проверить. Дров действительно оказалось мало. Он знал, что на всем остальном пути их негде будет достать, а следовательно, вопрос решался сам собою.

— Команда... в ружье! — крикнул он жестким, отвердевшим голосом.— Пулеметчики, на места! Живо!

Не глядя на побледневшее лицо капитана, он перешел на баржу и, отозвав Назарова в сторону, велел занять ему место у сходен.

— Как сходни перебросим, ухо держи востро. Никого не пущай. Полезут силом — стреляй.

— Кныш, иди-ка сюда,— позвал он «хозяйственного человека».— Сегодня тебе будет большая работа. Ты, говорят, мастер заговаривать зубы. Как только причалим, слезай на берег и начинай тереться промеж братвы. Разговор заводи посурьезней: что-де, мол, пароходишко-то чуть жив, того и гляди, на дно пойдет, в протоке, мол, обстреливают каждый раз из орудий, прошлый раз, мол, сорок человек из строя выбыло... Да что тебя учить — сам грамотный! Одним словом, прикинься хорошим дружком, а сам пугай.

Кныш тотчас же выразил свое согласие, как соглашался и раньше на все, что ему предлагали.

— Только смотри,— предупредил Селезнев,— если какая дурь взбредет в голову...

Тут он выразительно хлопнул по карману с револьвером, и его лицо приняло черствое, почти жестокое выражение.

— Не взбре-дет,— засмеялся Кныш,— дело знакомое.

Пароход подходил все ближе и ближе, но на берегу не чувствовалось никакого волнения. Теперь простым глазом можно было различить в толпе не только оружие, но даже выражение лиц. Они смотрели с любопытством и ожиданием, но без всякой враждебности.

Пароход медленно повернулся против течения почти у самого берега.

— Отдай якорь! — хриплым, не своим голосом скомандовал Усов.

— Здорово, ребя-аты! С приездом! — кричали на берегу.

Селезнев снял фуражку, помахал ею в виде приветствия. Выражение его лица было приветливо и беззаботно.

Покачиваясь на собственных волнах, пароход подошел к пристаньке. Тотчас же двое ребят соскочили на берег и закрепили концы. Чьи-то сильные загорелые руки перебросили сходни, и по ним врезалась в толпу частая матросская цепь. Двое с винтовками впереди расчищали дорогу к дровяным штабелям, а за ними несколько смущенно и неуверенно тянулись остальные. Впрочем, никто не оказал им никакого сопротивления.

Стоявший наготове Кныш незаметно юркнул в толпу.

— Что за часть? — спросил Селезнев, спускаясь на берег.

— Мы семенчуковцы...— раздалось несколько голосов.

— Слыхал, слыхал... Молодцы,— похвалил Селезнев,— боевых сразу видно...

Широкоплечий скуластый мужчина в тигровой тужурке выдвинулся из толпы и подошел к нему.

— Я командир отряда,— сказал он, протягивая руку.

— А я комендант парохода,— отрекомендовался Селезнев.

«Ну и ряжка»,— беспокойно подумал он, изучая наклонившееся к нему лицо.

— Мне тебя и надобно,— продолжал Семенчук,— насчет нашей погрузки.

— Идем на пароход.

Когда они проходили мимо окаменевшего у сходен Назарова, Селезнев пропустил Семенчука вперед и, незаметно тронув взводного за рукав, шепнул:

— Пошли одного парня к моей каюте. Пущай станет у дверей и ждет, пока позову.

Он с удовлетворением отметил, что погрузка дров идет полным ходом, и, подхватив Семенчука под руку, вместе с ним спустился в каюту. «Главный выигрыш время»,— думал он, шагая по шатким ступенькам.

На берегу мирно дымились бивачные костры. Кныш быстро втерся в одну из компаний, отыскивая земляков.

— Так, так,— говорил он, хитро прищуривая глаза.— Амурцы, значит? Стало быть, землячки?.. Так, так... Каких уездов?

Оказалось, что тут имеются люди со всех концов Амурской области. Кныш знал ее вдоль и поперек и, таким образом, с первых же слов обнаружил себя вполне своим человеком.

— И давно вас сюда передвинули?

— Сами пришли. Нешто кто передвинет? Ка-ак же!.. Держи карман шире... Тута все продано до последнего

человека... Ежели командующий золотопогонник, какая тут война?..

— Это верно,— согласился Кныш.— Нашего брата везде надуют... Это уж как было, так и останется. Землю пашем мы, а хлеб кушает дядя... куда же вы теперь?

— Домой.

— Та-ак...

Кныш подбросил в огонь несколько щепок и с видом человека, который говорит истинную правду, но в общем не заинтересован в том, как ее примут, спокойно произнес:

— Только домой вам не попасть, вот.

— Чего так?

— А за Амуром, братишка, такой порядок: приезжает человек — к нему сейчас же начальство: «Ваш пропуск?» Пропуска нет — чик... и готово... в Могилевскую губернию. Это, брат, там моментом.

— Расска-азывай! — недоверчиво протянул кто-то.— Нас целый отряд, а не то што какой один...

— Что ж, что отряд?.. Вот прошлым рельсом тоже перевезли один батальон. Нам, натурально, все едино, а у его приказу не было. Так за Амуром сейчас же орудия, пулеметы... Наставили: чик-чик-чик...— Кныш выразительно повращал белками и, безнадежно сплюнув в сторону, добавил: — Подчистую.

Его слова действовали самым убийственным образом, но он и привык работать наверняка. Умение провоцировать входило составной частью в его многообразную профессию. Он обходил кучку за кучкой, то выпрашивал табачку, то отыскивал двоюродного брата и всюду рассказывал о том, как «прошлым рельсом» они отбивались от японцев в протоке ручными гранатами, или о том, что стоять в Аргунской тоже далеко не безопасно.

— Вот дня четыре тому назад... японская канонерка версты на три досюда не дошла. А мы от их всякий раз бегаем: служба такая...

В каюте Селезнев потребовал от Семенчука приказ о погрузке.

— Видишь, какое дело,— ответил Семенчук,— отправили нас срочно и писанного приказа не дали. Командующий на словах передал: «Идите, говорит, там погрузят».

Он хитро мигал глазами и крякал после каждого слова.

— Как же мне быть? — нерешительно мямлил Селезнев.— Ну, ты сам командир,— понимаешь, в чем тут загвоздка?.. Ну, как бы ты сам поступил?

— Да ясное дело, как! — воскликнул Семенчук.— Омманывать я, чай, не стану. Тут дело верное.

— Давай лучше вызовем к прямому проводу штаб,— предложил Селезнев.

— Телеграф не работает, я уже пробовал,— соврал Семенчук.— Да ты что, не веришь, что ли?

Теперь Селезнев не сомневался, о ком говорила полученная им телеграмма. Ждать дальше не имело никакого смысла. Как бы в раздумье, он прошелся по каюте и, поравнявшись с дверью, выхватил из кармана браунинг.

— Не шематись! — крикнул тугим и звонким, как натянутый трос, голосом.— Руки на стол! Ну-у! Поговорим по-настоящему.

— Ты чего? — прохрипел Семенчук, бледнея.— Ты что!.. Ах ты, с...

— Цыть! — оборвал Селезнев с мрачной угрозой.— Только пикни! Дыр наделаю — не сосчитаешь! Эй, кто там? Сюда иди!

Стоявший у дверей народоармеец ворвался в каюту.

— Обезоружить!

В несколько секунд Семенчук лишился всех знаков своего командирского звания.

— Вот теперь погрузился и сиди,— мрачно пошутил Селезнев.— Все равно, где расстреляют: здесь или за Амуром.

Он вышел из каюты и запер Семенчука на ключ.

— Иди на берег,— сказал народоармейцу,— и позови Кныша. Скажи, мол, комендант и Семенчук зовут узнать насчет продуктов. Да пошли ко мне Назарова!

Он еще не знал точно, что ему делать в дальнейшем, но первая позиция была занята почти без боя.

— Назарыч! — сказал он, когда взводный спустился вниз.— Всю команду незаметно разложи по борту. Усову скажи, пущай приготовится. Как кончит грузить дрова, скажешь мне, а кого другого пошли отдать концы. Если спросят на берегу, зачем отвязывает, пущай скажет, что грузить, мол, вас будем у второго причала, выше...

«Может, выйдет, а может, и нет»,— подумал он, провожая взводного глазами. Во всяком случае, ему самому не следовало вылезать наверх без Семенчука.

Минут через пятнадцать пришел Кныш.

— Ну, как там? Что говорят?

— Да что, товарищ комендант, народ серый...— Кныш презрительно почесал за ухом.— Я им наговорил страстей — до будущего года хватит. Придет, говорят, Семенчук, будем митинговать. Только злы они — это верно.

— Ладно. Больше на берег не ходи. Ступай.

Когда Селезневу сообщили, что погрузка окончена, он не пришел еще к ясному решению. Туго перетянув пояс и надвинув фуражку на лоб, взбежал на палубу и, пригибаясь к доскам, почти ползком перебрался на баржу. Нудно скрипела ржавая цепь, и где-то внутри медленно стучала машина, подталкивая судно навстречу якорю.

Весь Семенчуковский отряд сгрудился у второго причала. Бесформенная, обезглавленная масса зловеще чернела на светло-зеленом фоне берега, но Селезнев чувствовал всем своим нутром, что она сплошь состоит из усталых, растерянных и обманутых людей.

Лежа между снарядными ящиками, он слышал, как пароходные лопасти со звоном раскалывали воду, и думал, как поступить. Он мог бы просто миновать второй причал, дав судну полный ход. Но тогда люди на берегу почуют измену и откроют стрельбу. Он не имел права идти на такой риск, чувствуя под ногами семьдесят пудов динамита. Одной пули в трюм было бы достаточно, чтобы от гнилой посудины не осталось и следа. Значит...

Лицо Селезнева стало коричневым и жестким, как ржавое железо. Он медленно повернул голову и тихим, оледеневшим голосом бросил припавшим к борту людям слова, простые и безжалостные, как камни:

— Взвод, слушай... мою команду... Пулеметчики, приготовься... По Се-мен-чу-ковскому... отря-аду... постоянный прицел... Взво-оод!

С берега доносился разноголосый человеческий гомон, и густо и ровно стучала машина, как настороженное сердце зверя.

— Пли!

В первое мгновенье никто на берегу не понял, что это смерть. Но залп следовал за залпом. Тогда, бросая винтовки, скатки, патронташи, сумки — все, что мешало бежать,— сгибаясь к земле, люди ринулись прочь от берега. Они падали в траву безжизненными кулями мяса, не издав предсмертного стона, а раненые впивались в землю костенеющими от страха пальцами.

— Вверх стрелять! — кричал Селезнев.— Довольно по людям! Усов, давай полный!

Пароходик рванулся книзу и, кутаясь клубами дыма, разбрасывая в стороны белые пласты кипучей холодной пены, помчался прочь от Аргунской.

Челноков прибыл на станцию Вяземскую поздней ночью. Матросский батальон ждал его на перроне в полном боевом снаряжении. Батальоном командовал рослый сивоусый матрос с миноносца «Гроза». От него Челноков узнал историю похода матросских батальонов из Владивостока на Иман.

Когда японцы врасплох напали на владивостокский гарнизон, доблестные моряки под перекрестным пулеметным огнем высадились с миноносцев на берег и, преодолев восемь рядов проволочных заграждений, вырвались в тайгу. Окольными тропами, продираясь сквозь валежник и чащу, они в двенадцать суток сделали около пятисот километров и утром вошли в город Иман, усталые и загоревшие, с песней:

По морям, морям, морям,
Нынче — здесь, а завтра — там...

На рассвете батальон под командованием Челнокова выступил в направлении станицы Аргунской. Две ночи батальон провел в тайге. На третьи сутки высланная Челноковым разведка сообщила, что Аргунская близко и что Амгуньский полк еще находится в станице.

— Что-то, товарищ комиссар, неладно у них,— сказал разведчик, отирая рукавом пот и улыбаясь.— Баба в крайней избе говорит, будто приходил пароход и командира увез у них... Большая, говорит, стрельба была, есть убитые и раненые...

— А часовые у них расставлены? — удивленно приподняв брови, спросил Челноков.

— С этого краю часовых нет...

Оставив батальон в лесу, Челноков с двумя разведчиками взобрался на сопку. Станица Аргунская лежала внизу в вербовых зарослях. Далеко видна была извивающаяся лента реки, отливавшая серебром и весенней синью.

Посреди станицы, у церкви, виднелась большая толпа вооруженных людей. Семенчуковский отряд митинговал.

Люди, лиц которых нельзя было разобрать, сменяя один другого, взбегали на паперть, игрушечно размахивали руками. Иногда до Челнокова докатывался гул голосов.

Коренастый человек, сильно прихрамывая, взошел по ступенькам. По его фигуре и хромоте Челноков узнал в нем командира первой роты Буланова, бывшего пастуха. Буланов постоял на паперти, потом поднял руку и тотчас

же лес рук вырос над толпой. До Челнокова чуть долетел голос команды. Толпа закипела и распалась — Семенчуковский отряд начал строиться.

— Ну, вот что, ребята,— дрогнувшим голосом сказал Челноков,— бегите к командиру, скажите, чтобы строил батальон в колонны и шел к церкви, а я сейчас к своим пойду...

И, к величайшему удивлению разведчиков, он побежал с сопки в станицу.

Пробежав переулком, у выхода на площадь Челноков замедлил шаг и спокойно, твердой походкой направился к шеренге.

В тот момент, когда он вышел на площадь, шеренга рассчитывалась на двое:

— Первый... Второй... Первый... Второй...

Но в тот же момент вся шеренга увидела Челнокова,— счет перепутался, шеренга дрогнула и замерла.

Челноков медленно подошел к нему.

— Товарищ комиссар! — неожиданно взвизгнул Буланов.— Мы...

Вдруг рябое лицо его исказилось, он схватился руками за голову и заплакал.

Челноков некоторое время сурово смотрел на него. Было так тихо, что слышна стала возня голубей на колокольне.

— Товарищи! — обернувшись к шеренге, спокойно сказал Челноков.— На ком остановился счет? Продолжайте...

Несколько секунд еще стояла тишина, потом кто-то сказал почти шепотом:

— Первый...

— Второй...— хрипло отозвался сосед.

— Первый...— смущенно откликнул третий.

— Второй...— уже более уверенно подхватил четвертый.

— Первый... Второй... Первый... Второй...

По главной улице, вздымая клубы пыли, мерно шагал матросский батальон на соединение с Амгуньским полком.

1923—1934

Борис Шергин

(1896—1973)

МАТВЕЕВА РАДОСТЬ

На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес.

Матвей Иванов Корельской сказывал:

— Родился я в Корельском посаде на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, пó миру пошла и меня с собой повела.

Шести лет начал я скитаться по чужим дворам одинодинешенек. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться...

В такой маете, в такой позорé и вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.

Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье — дождь да ненастье.

Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.

Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.

И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.

У меня такой ум-от обозначился — нать[1] свое нажить. Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорной стал; давно ли с сумой бегал, а теперь задумал карбас, свою промысловую посудину строить.

Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем, и рыбы — выше бортов.

Год за годом, двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно на карбас.

До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за работу. Насчет матерьяла с лопью[2] договорился, мастера в Коле нашел.

Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу как в гости ходил.

Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал...

Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Танагубы[3] пала несосветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь...

Сутки океан-батюшко нашим карбасом играл, как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двои сутки на этой горе волосы рвал да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода...

---

[1] Н а т ь — надо (*поморск.*).

[2] Л о п ь, Л о п с к и й б е р е г — так в старину называли Кольский полуостров, где жили лопь, лопины, или лопари — исконные жители Кольского полуострова (отсюда — Лапландия).

[3] Т а н а-г у б а — Тана-фьорд.

Добры люди поставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, возились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.

Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.

Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли, мужик, бока править будешь?

Меня ровно кто на ноги поставил.

Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку... А свету! А солнца! А ветру!

И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился... Топнул ногой о камень да кричу:

— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору[1] сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!

Так я выздоровел. Опять, значит, работу как бешеный хватаю.

Часов шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву и паруса что снег, и я вольный промышленник,— так и окутки в сторону и постели прочь... И ночь не сплю, работу ворочаю.

Люди надо мной посмеиваются: «Пока,— говорят,— Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».

Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно — да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности...

Поморская земля нехлебородная; зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.

Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну

[1] Турья гора — гора на западном берегу Белого моря.

навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:

Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!

И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситца купить негде.

Теперь понимаете, как трудно копейку-то откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.

У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать.

Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.

...Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.

Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.

Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряживался, не гуливал... Купил в Норвеге брюки-клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок шейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.

И... тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.

Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».

А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.

Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матрена

моя и мужскую работу могла. Тес тесала, езы[1] била, кирпичи работала...

Ребятишки родились — труднее стало. А Матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет...

В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.

В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шкуны, одна — что твой фрегат.

В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».

Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.

Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.

Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.

Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.

По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.

Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.

Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встает, запосматривал на меня немило.

Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:

— Эй, любезный! Люди смеются да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!

— Про людей не слыхал,— говорю,— может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.

Он зубы оскалил:

---

[1] Е з ы — колья, которые вбивают в дно реки и переплетают прутьями для ловли семги.

— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по-моему, спустить бы тебе на воду нищу коробку, с которой пó миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!..

Это он меня да матерь мою нищетою ткнул...

Сердце у меня остановилось.

— Ты! Ты, который нас пó миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди... Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!..

. . . .

Кругом народ, стоят, молчат.

Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь.

Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе разбередил.

Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник все слышал, он Зубову слуга... И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!.. А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.

Взяли без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.

Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.

Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул...

Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:

— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?

— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два...

Он воровски огляделся:

— Ну-ко, зайди в сени.

В сенях и шепчет:

— Хочешь, тебя со шхуной сделаю на будущую весну?

Я и глаза вылупил, а он:

— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.

Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью. А Васька поет:

— Знакомый норвежский куфман[1] запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч за восемь... Понимаешь, Матюша,— Васька-то говорит,— мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то, по три тысчонки на брата...

Я глазами хлопаю:

— Это кого же вы в братья-то принимаете?

— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты выложишь.

Я заплакал:

— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.

— Давай семьсот четыре рубля. Прибыль все одно пополам.

Я воплю:

— Дай до утра подумать!

Ночью с Матреной ликую:

— Три тысчи барыша... Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, говорит, Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу...» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!

Жена говорит:

— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.

Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:

— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!

Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили.

Потом меня вызывают. Чиновник бумагу сует:

— Подпишись.

А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге написано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.

---

[1] Куфман — купец (*норвежск.*).

Накаракулил подпись, может задом наперед,— и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:

— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.

Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.

Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывают, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.

Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошел.

Весь распался что-то, весь поблек.

Жена уговаривает:

— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках, задержки. Может, Зубов и денег еще не получал.

А у меня сердце болит, в трубочку свивается.

Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.

В паужну[1] сам полетел.

Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. «Может,— думаю,— семейные мешают». Шепчу:

— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету...

А он на всю избу:

— Что? Какие у нас с тобой секреты?

— А дельце наше, Василий Онаньевич?

— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!

— А пароход-то!

— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.

— Да ведь деньги-то у меня брали...

— Что? Я у тебя, у голяка — деньги? Ха-ха-ха!

Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.

— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?

— Какую бумагу?

— Зимой делали.

— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.

---

[1] П а у ж н а — третий в течение дня прием пищи у поморов-промышленников, еда между обедом и ужином.

Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся.

Зубов рявкнул:

— Читай Корельскому его бумагу!

Писарь читает:

— «Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Онаньевича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.

М. Корельской».

. . . .

...Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!

Всё отнял Зубов, оставил с корзиной...

Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатные деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную.

После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся.

— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?

Мужики ответили:

— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку.

Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.

Да я бы так не убивался, кабы одинокий был. Горевал из-за робят, из-за жены.

С воплем ей говорю:

— Ох, Матрешка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!

Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:

— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни, деревня-то за нас восстала... Это дороже денег! Гляди,

мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!

Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:

— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова...

— Все хозяева с зубами.

Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько раз уж в сонном видении по широкому раздольицу поплаваю... Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.

Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть,— откладываю робятам на первый подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненный путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.

После Зубова разоренья еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено... Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору.

В одном себя похвалю: грамоте выучился за это время, читать и писать.

Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:

— Робята, походите у меня по спине-то...

Младший Ванюшка у ней по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:

— Мама, мы тебя сломаем...

Тяжелую работу работаем, дак позвонки-то с места сходят. Надо их пригнетать.

Матрена смолоду плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко.

— Матрешишко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!..

Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..

Что же дальше? Дальше германска война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дергаюсь; только и свету, что книжку посмотрю.

А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительное собрание срядился.

Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасно утро бреду с завода, а в Сороке переполох.

Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг... Что стряслось?

— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла...

Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовское где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины[1] как тигр выскочит...»

С жёнкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.

Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:

— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!

Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел...

Шепчу соседу:

— Зубов где?

А председатель на меня смотрит:

— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?

Я встал во весь рост:

— Василий Онаньев Зубов где-ка?

Народ и грянул:

— О-хо-хо-хо!! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О-хо-хо-хо!!

Председатель в колокольчик созвонил:

— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротиши[2].

— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!

— Странный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении...

— Я?.. В моем?..

— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председе-

[1] Лесина — дерево.

[2] Воротиша — возврат; без воротиши — без возврата, без возвращения.

дательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.

Я заплакал, заплакал с причетью:

— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, по погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: «Полетим, говорит, по широкому морскому раздольицу!» Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельских, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо...

И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:

— Просим, Матвей Иванович! Просим!

Ну, и я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:

— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!

...Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с ребятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным вапом[1], палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыма карнизами.

Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыми литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Корела».

За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спущать. Народишку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.

Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской погибели... Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за пред-

[1] Вап, или вапа — краска.

седательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:

— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»

Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».

Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят...

Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждой болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена, каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена... Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.

Уж очень это любо!..

Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток, как на свете живу. Да годы что — семьдесят — не велики еще годы... Десять лет на «Радости», будто я новой сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.

Оногды землянá старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:

— Дикóй ты старик,— все не твое, а радуиссе?

А я ей:

— Дикá ты старуха,— оттого и радуюсь, что все мое!

1949



(1900—1944)

НОЧЛЕГ В ДЕРЕВНЕ СИНЕГИ

Большие походы скупы на отдых. И мы спали мало — урывками, часа по два в сутки.

В деревне Синеги мы застали следы пребывания проходивших раньше нас воинских частей: дети играли кабелем; во дворе крайней хаты, возле сарая, на развороченной соломе валялись патроны; мы примерили их к своим винтовкам — не подошли, и мы их бросили.

Восемь хат деревни Синеги шуршали на ветру взлохмаченными верхушками соломенных крыш.

Надо было сразу ложиться спать.

В хате я застал встревоженных и напуганных войной людей: четверых ребятишек и женщину — хозяйку и мать — красивую гродненскую крестьянку.

Мы укладываемся в холодных сенях на каких-то широких, низких ящиках — я и наш взводный, товарищ Скобаков, веселый рыжий парень, родом с олонецких озерных побережий... Мы поправляем солому, смятую прежними ночлежниками — солдатами, кладем под головы все свое солдатское имущество, и тяжелый сон сразу опускается на наши глаза.

Дверь в душную хату открыта. Там долго полушепотом спорят дети из-за какой-то подушки «с красной прошвой», и, наконец, все стихает.

. . . .

Привыкший к тревожным утрам, я быстро поднимаю голву и стараюсь разогнать каменный утренний сон. Молодой день еле пропускает сквозь маленькое солнечное оконце свой первый свет.

«Еще пять минут полежу и тогда разбужу Скобакова»,— думаю я и борюсь с тяжелой дремотой. Я подкладываю руки под голову и сжимаю ладонями уши. Стучит в висках, болит голова.

Слышу разговор в хате.

— Вставай, сынок,— говорит женщина.

Молчание.

— Сыночек, встань.

— Ай, мама...

— Встань, сынок. Ну кто же встанет за тебя? Ты ведь самый большенький.

— Я еще хоть немного посплю...

— Поспишь днем, а теперь — ну кого же я разбужу?

Мальчишка заплакал. Он долго тянул что-то сонным голосом, тянул, должно быть, во сне. Потом внезапно смолк. Женщина тоже молчала.

Я встал и, разбудив Скобакова, вошел в хату.

Женщина рвала на куски старую, изношенную до дыр рубашку.

— Добрый день,— сказал я.

— Добрый день,— ответила женщина.

— Спасибо за ночлег, мы уже уходим.

— Уходите?

Что мне сказать еще? И я говорю:

— Пусть хлопчик поспит еще немного, пусть набирается сил.

Я чувствую себя словно виноватым в чем-то.

— Ну, а что мне делать? — говорит она вдруг быстро и громко.— Что мне делать, что я одна могу? Хозяина нет, хозяин воюет. А сегодня мне надо начинать овес жать, достать где-нибудь лошадь да хоть возик жита привезти — обобью как-нибудь, хоть вальком, а вечером, если подсохнет за день на печке, жерновами смелю, завтра хлеб замешу...

— А лошади нет?

— Лошадь поляки позавчера в обоз угнали, вместе с хлопцем.

— С каким хлопцем?

— С сыном.

— Большой?

— Малый... кабы большой — я не тужила бы так... А тут

малыша никак не разбудишь, чтоб корову выгнал пасти. И нечего дать ему поесть. Накопала вчера утром немного картошки, мелкая еще, так под вечер солдат накормила — идут босые, голодные, оборванные. Может, думаю, и мой там где-нибудь, бедняга...

Она подошла к постели.

— Вставай, сынок, я тебе нынче свою старую рубашку на онучи изорвала, чтоб мягким ногу обернуть. Обуешь Михалкины лапотки, они тебе великоваты, и свободно ноге будет... Вставай, сынок.

Она наклонилась над постелью.

— Скоро прорвать должно.

— Что?

— Нарыв. На той неделе еще ногу пробил, на корень наткнулся, так вот нарывает.

И я наклонился над постелью. Мальчик спал. На левой ноге возле пальцев виднелась беловатая опухоль, запачканная грязью.

Я вышел в сени. В своих мешках я ничего не нашел, кроме двух тараней. Я положил их в хате на скамейке — вся моя солдатская еда.

И тогда мы с товарищем Скобаковым навсегда покинули эту хату.

Минут пятнадцать спустя мы уходили из деревни Синеги.

В ожидании команды трогаться я увидел его: прихрамывая, ступая на пятку, он гнал корову. Возле хаты стояла его мать — сильная, стойкая гродненская крестьянка.

. . . .

И вот мы идем.

Будем идти долго — большие походы скупы на отдых.

1927

Артем Веселый

(1899—1939)

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПУШКИ!

«Мы, бойцы 1-го батальона Интернационального полка, собрались на митинг и обсудили постановление высшей власти о размене с Германией и Австрией военнопленными старой армии.

Добровольцев, желающих покинуть наши красные ряды и возвратиться на свою германскую и австрийскую родину, в батальоне не оказалось.

Некоторые навстречу оратору говорили:

— Сперва расправимся с русскими буржуями, потом все вместе пойдем свергать с золотого трона мировую буржуазию.

Пауль Михаэльс, как много раз он ранен и имеет преклонный возраст, командируется, согласно нашего решения, по месту жительства, в город Гамбург.

Даем ему наказ.

Товарищи и братья, рабочие и крестьяне всего мира! Сейчас и ребенку стало ясно, в единении наша сила на победу над общим врагом капиталом. Мы не щадим ни жизнями, ни семьями, ни родным кровом и идем напролом. Али вы не слышите наших слез, стонов и проклятий? Мы истекаем кровью в горах, лесах и степях необъятной России. Али вы не слышите, о чем гремят-говорят наши пушки? Близок,

близок день полной победы над тиранами, генералами, помещиками и прочей мелкой сволочью, сосущей соки трудового народа. Своими кулаками мы стучимся в ваши груди. На помощь! Братья, на помощь! Разбирай оружие, и за дело. Если нужно будет нашей силы, то, покончив со своими, выйдем вам на подмогу и пойдем хоть на край света. Клянемся не свертывать красных знамен, пока на земном шаре не будет казнен последний паразит! Ни шагу назад! Да здравствует Красная армия мозолистых рук всего света!»

Ветхий листок резолюции подшит к архивному делу. На листке, как ржавчина, мазки засохшей глины. Документ волнует крепче всякой поэтической выдумки.

1932

Юрий Яновский

(1902—1954)

ПИСЬМО В ВЕЧНОСТЬ

В то время готовилось большевистское восстание против гетмана и немцев, кто-то донес, что оно вспыхнет и покатится по Псёлу, центр его будет в Сорочинцах, и запылает весь округ до Гадяча. Беспределье кануна троицы пламенело и голубело над селом, из лесу везли на телегах кленовник, орешник, дубовые ветки, ракитник, зеленый аир, украшали хаты к троице, во дворах пахло вянущей травой, красивое село стало пленительным, оно убралось зеленью, разукрасилось ветками, хаты стояли белые, строгие, дворы с покосившимися плетнями, чистые и уютные, а небесная синь лилась и лилась.

В долине под деревьями нежился прекрасноводный Псёл, отряд германского кайзера, блуждая по долине, обшаривал каждый куст, а отряд гетманцев рыскал по пескам. Герр капитан Вюртембергского полка руководил поисками, вокруг него носился вприпрыжку его доберман, облаивая каждое дерево, пан сотник гетманского войска разлегся на жупане под вербой, отдыхая после первых часов ожесточенной деятельности. Перед ним трое ребят выуживали мореный дуб со дна реки, ребята искали его, погрузившись с головой в воду, а потом всплывали на поверхность.

На берегу Псёла было томительно и клонило ко сну, солдаты и того и другого отряда последовательно обыскивали каждый уголок, возле сотника остановилась телега с двумя человечками. «Пан атаман,— сказали человечки,— вы люди не тутошние, и вам его сроду не сыскать. Вот эти хлопцы ищут мореный дуб, а мореный дуб ищут под осень, а не в канун троицы. Ведь эти хлопцы наблюдают за вами, кого вы тут разыскиваете, вот какой они мореный дуб ищут, пан атаман, а мы народ здешний, за его светлость ясновельможного пана гетмана стоим и желаем вам пособить. Мы лучше знаем, где найти этого висельника — письмоносца, пан атаман, пусть только это останется в тайне, иначе не станет нам житья от сельских голодранцев, сожгут нас на другую же ночь».

Оба человечка поведали пану сотнику, что в поймах есть озера-заводи, заросшие рогозой да камышом, озера эти они могут по пальцам перечесть. Там они рыбу бреднем ловили, от революции в свое время прятались, письмоносец обязательно в озерах притаился, поджидая ночи, чтобы удрать степью в Сорочинцы. «В озере лежишь под водой, во рту камышину держишь и дышишь через камышину, покуда не пройдет мимо облава, постреляет в воду да в озеро ручную гранату швырнет, чтобы ты всплыл на манер глушеной рыбы. В ушах у тебя полопается, да, пожалуй, и не всегда всплывешь. Иной просто помрет на дне, а иной, может, и спасется, ежели взрыв далеко, а все-таки это самый надежный способ искать беглецов по нашим здешним заводям»,— сказали человечки пану сотнику.

Поиски тотчас же наладили как полагается, озерки принялись внимательно осматривать и кидать в них ручные гранаты, а ребята тут же бросили искать мореный дуб в Псёле и отправились разведывать хаты двух человечков, чтобы их подпалить. Человечки угодили домой как раз в ту минуту, когда их усадьбы уже украсились алой листвой и догорали в короткое время. Человечки опалили себе головы и пытались тут же покончить с собой в пламени своего хозяйства, немцы с гетманцами методически бросали в озерки-заводи гранаты и стреляли по всем подозрительным зарослям камыша, письмоносца так и не оказалось, но вот на лужайке наткнулись на ямину с водой.

Она была мелкая, вокруг рос молодой камыш, капитанский доберман забрел в воду, и капитан не велел бросать гранаты, в озерке никого не оказалось, и все двинулись дальше. Вдруг доберман стал бешено лаять на какое-то

бревно, лежавшее среди кувшинок и ряски неподалеку от берега.

Герр капитан послал осмотреть бревно, и это оказался лежащий без сознания письмоносец, босые ноги, лицо, руки — черным-черны от бесчисленных пиявок, и, когда письмоносца раздели, на нем не было живого места — пиявки кучами присосались к телу.

Герр капитан созвал солдат, они расстегнули сумки и ссыпали всю соль, которая у них нашлась. От рассола пиявки стали отлипать, письмоносца заставили глотнуть капитанского рома, человек постепенно очухался, и в его единственном глазу загорелась жизнь и колючая ненависть. «Все-таки нашли»,— произнес он равнодушным голосом.

Письмоносцу дали обед с капитанского стола, стакан доброго рома, пол был усыпан душистой зеленой травой, по углам ветки, стены убраны цветами, в комнате царила тишина, покуда письмоносец не кончил есть. Он чувствовал, как по жилам разливаются силы, его клонило ко сну, и привиделись ему чудесные сны: он разносит множество писем и никак не может все раздать. А тем временем день клонится к вечеру, приближается условленное время, исполняется желанное, и снова он носит и носит множество писем, не может их раздать, время идет, а писем все столько же, и никакая сила не коснется письмоносца, покуда не отдаст он последнего письма.

Капитан разогнал сновидения, заговорив вкрадчиво и дружелюбно (он говорил о чарующем лете и о безмятежных звездах единственной в мире родины, о его, письмоносца, жизни в этой пленительной глуши, на берегу очаровательной реки Псёл, капитан стал даже красноречивым, чтобы до дна растрогать человечью душу, а переводчик переводил), письмоносец же сидел безучастный и усилием воли изгонял понемногу из памяти те сведения, которых добивался от него капитан.

Он забыл, что является членом подпольного комитета большевиков, что был на совещании, на котором назначили восстание на сегодняшнюю ночь. Он забыл место, куда закопал винтовки и пулемет, и это труднее всего было забыть и отодвинуть в такой укромный уголок памяти, чтобы никакая физическая боль не забралась туда. Эта мысль об оружии покоилась бы там, как воспоминание далекого детства, и озарила бы и согрела его одинокую смерть и предсмертную последнюю боль.

А капитан все говорил письмоносцу, который силился забыть уже свое имя, а себе оставлял одно только твердое

первоначальное решение — дожить до ночи и передать оружие восставшим. Капитан описывал далекие роскошные края, куда сможет уехать письмоносец, чтобы жить там и путешествовать на деньги гетманского правительства,— только пусть скажет, где закопал оружие, на какое число назначено восстание и адреса его вожаков.

Письмоносец сидел у стола, и вдруг вспыхнуло в нем непреодолимое желание умереть сейчас же и ни о чем не думать, так и подмывало всадить себе нож в сердце, хотелось лежать в гробу под землей с чувством выполненного долга. Речь капитана становилась все жестче, подошел гетманский сотник и, свирепо заглянув в единственный глаз письмоносца, увидел в нем темную бездну ненависти и мужества. Казалось, электрический ток пронзил сотника — кулак его изо всей силы опустился на лицо письмоносца.

Капитан вышел в другую комнату обедать, а сотник остался с письмоносцем, и когда капитан вернулся, сотник осатаневшими глазами смотрел в окно, а письмоносец лежал на полу, забив себе рот травой, чтобы не стонать и не молить о пощаде.

Он не имел права умирать, он должен был пронести свое окровавленное тело сквозь поток времени до самой ночи, принять все муки, кроме смертной,— тяжко было бороться в одиночестве и жить во что бы то ни стало. Будь с ним товарищи, он посмеялся бы над пытками, плевал бы палачам в лицо, приближая славную кончину непреклонного бойца, а теперь он обязан вести свою жизнь, точно стеклянную ладью среди черных волн, дело революции зависело и от его крошечной жизни. Он подумал, что так сильна его ненависть к контре, что ради этой ненависти не жалко даже и жизни, и закипела в его жилах кровь угнетенного класса, о, это великая честь стать над своей жизнью!

И письмоносец повел показывать закопанное оружие. Он брел по притихшему селу, чувствовал на себе солнечное тепло, ступал босыми ногами по мягкой земле, и чудилось ему, будто он бредет один по какой-то волшебной степи, бредет, точно тень собственной жизни, но мужество и упорство в нем крепнут. Он видит людей и знает, кто из них ему сочувствует, а кто ненавидит, он шествует как бы по трещине между этими двумя мирами, и миры не соединятся после его смертного шествия.

Вот он добрел до кучи песка за селом и остановился, солнце давно уже поворотило за полдень, земля дрожала от тишины и зноя, немцы принялись раскапывать песок

и потеряли около часа. Письмоносец стоял, оглядывая далекие горизонты, Псёл и заречье; крикнул несколько раз удод, пахло рожью.

Письмоносца повалили на песок, на плечи и на ноги насели немцы, остервеневшие оттого, что их провели, после двадцатого шомпола письмоносец лишился сознания; придя в себя, он увидел, что солнце уже висит низко над горизонтом, сотник расстегивает кобуру, а немцы для вида отвернулись. Тогда письмоносец закричал и признался, что оружие закопано в другом месте, он покажет, где именно, «расстрелять всегда успеете, из ваших рук мне все равно не уйти».

И снова они шли по притихшим улицам села, было выше человеческих сил смотреть на письмоносца, который не хотел отдавать свою жизнь, как письмо, в руки врагу, мужчины глядели украдкой сквозь праздничный листвяный узор, перекидывались по закоулкам странными словами, ждали вечера и подмоги. Письмоносца таскали по селу, как бедняцкое горе, по дороге его избивали, увечили сапогами, подвешивали в риге к перекладине, подпекали свечой, заставляли говорить, а он водил,— слезы прожигали песок,— и указывал всевозможные места, и там ничего не находили. Еще свирепей терзали его тело, горе вставало над селом, перерастая в неистовство и ярость, сердца загорались местью, на село опускалась ночь, на заречье за Псёл погнали в ночное стадо, призывный колокол звонил ко всенощной.

Письмоносец не мог уже ни идти, ни двигаться, ему казалось, что он пылающий факел, что сердце рвется из груди, кровь журчит и по капле струится из ран, боль вытянулась в одну высокую ноту. Это был вопль всех нервов, всех клеток, глухо гудели поврежденные суставы, только упорная воля боролась насмерть, как боец, не отступая ни на шаг, собирая резервы, сберегая энергию.

Письмоносцу поверили в последний раз и повезли через Псёл в пески, его окружал отряд вюртембержцев, ехали верхами гетманцы, прихрамывала, сгорбившись, Василиха, ее привели вечером уговаривать заклятого сына, капитан сказал свое последнее слово, что расстреляет и сына и мать. Письмоносец поговорил с матерью, мать поцеловала его в лоб, как покойника, и пригорюнилась, вытирая сухие глаза. «Делай как знаешь,— промолвила она,— что мне сказали, то я тебе и передала». Мать тащилась за письмоносцем на заречье, в пески, сын даже шутил, зная, что скоро всему конец, ночь была звездная и темная, кругом безлюдье и глушь.

Добрались до песков, стали копать, немцы залегли кольцом, письмоносец отдыхал на телеге и вслушивался в темноту, раздался где-то одинокий крик, под лопатами звякнул металл. «Стойте,— сказал письмоносец,— разве не видите посланцев, что идут по мою душу?» И вдали во мраке родилось бесконечное множество огней. Они напоминали пламя свечей, казалось, волны гораздо больше человеческого роста несли на себе сотни звезд. Огни колыхались, ритмично поднимались и опускались, двигаясь с трех сторон, и не было слышно ни шума, ни голосов. Немцы стали стрелять, огни, приближаясь, плыли высоко над землей.

«Вот кто получит оружие,— крикнул письмоносец,— теперь застрелите, чтоб не мучился, подымутся села и выйдут комбеды, прощай, свет, в эту темную ночь!» И сотник подошел к письмоносцу и выстрелил в лежачего, и это письмо пошло в вечность от рядового бойца революции. В селах над Псёлом забили во все колокола, и было их слышно на много верст, в селах над Псёлом зажгли огромные костры, и было их видно на много верст, из темноты кинулись на немцев повстанцы, пробиваясь к оружию, над ними плыли звезды, в недвижимом воздухе ярились звуки, далекие пожары, восстание, штурм и отвага, восстание!

К одинокой телеге с мертвым письмоносцем подошел Чубенко. Здесь же рядом мирные воловьи морды жевали жвачку. Зажженные свечи, привязанные к рогам, горели ясным пламенем среди великого покоя ночного воздуха. Возле письмоносца, сгорбившись, сидела Василиха, не сводя глаз с покойника. Чубенко снял шапку и поцеловал Василихину руку.

Письмо в вечность ушло вместе с жизнью, точно свет давно угасшей одинокой звезды.

1932—1935

Абдулла Каххар

(1907—1968)

ПРОЗРЕНИЕ СЛЕПЫХ

Не вы ли Умар-мулла?
Не вас ли ждет стрела кабанья?

Песня

Итак, Силача Ахмада ожидала казнь.

Низенький, коренастый палач, одним видом своим предвещавший смерть, рванул Силача Ахмада за плечо. Обессиленный трехдневными мучениями, Ахмад не удержался на ногах и повалился навзничь, на связанные за спиною руки. Боли он почти не чувствовал: уже трое суток руки были туго стянуты веревками, одеревенели. Поднявшись, Силач пошевелил ими и убедился, что нет ни вывиха, ни перелома. Это его утешило, даром что ему вскоре подставлять горло под лезвие клинка.

Посреди двора, на супе — глиняном возвышении, окаймленном цветами,— возлежал, облокотившись на пуховую подушку, безобразный, одноглазый курбаши — главарь басмачей. Один из его людей растирал ему ноги.

Возле курбаши сидели приближенные: улем[1] и лекарь — индийский табиб. Позади примостился бай — хозяин дома.

Курбаши опять заревел на Силача Ахмада:

— Эй, несчастный, на свете живешь только раз... Укажи нам своих сообщников.

---

[1] Улем — законовед, знаток шариата.

Улем закивал в знак согласия с этим требованием. Трусливые собачонки обычно лают из-за хозяйской спины, бай тоже что-то выкрикивал из-за спины курбаши, поминутно поглядывая на затылок покровителя.

Табиб увещевал Ахмада не спеша, внушительно.

Силача Ахмада решено предать казни. Вина его велика. И он признает ее. Он лишил курбаши его правой руки — убил Исхака-эфенди[1].

Может быть, эфенди умер бы и сам от потери крови, но Силач добил его. Зарубил простым топором, каким рубят дрова.

Вот как это случилось. В бою под Алкаром Исхака-эфенди ранило пулей. Курбаши подхватил эфенди на свое седло и ускакал. Пока спасались бегством, эфенди потерял много крови. Ночью банда проезжала кишлак, где жил Силач Ахмад, и Исхак-эфенди взмолился, чтобы его оставили здесь у верных людей. Своих людей в кишлаке было наперечет, у них курбаши не рискнул оставить Исхака-эфенди. Раненого надо было спрятать в доме какого-нибудь бедняка, который не вызовет подозрений красноармейцев, по пятам преследующих басмачей.

Таким бедняком был Силач Ахмад. Он не отказался взять к себе Исхака-эфенди, но перед рассветом убил его — зарубил топором.

Вот в чем была вина Силача Ахмада.

Спустя тридцать семь дней после смерти Исхака-эфенди одноглазый курбаши ночью захватил Силача Ахмада в его доме и доставил сюда связанного.

До полудня следующего дня кишлак не знал о похищении Ахмада. А потом сосед Силача, бай Абид Саркар, выслушав взволнованный рассказ своего батрака, промолвил:

— Э-э... гм... Сегодня среда?.. Молчи, дурень. Дом Ахмада заберу я, а когда у тебя деньги появятся, продам тебе.

...И вот курбаши со своими приближенными ждут последнего слова приговоренного к смерти.

Силач глянул в лицо курбаши и заговорил.

— Мой бек,— медленно ронял он слова.— Я зарубил вашего эфенди за то же, за что вы сейчас хотите убить меня. Больше ничего я не могу добавить. Но мне хотелось бы перед смертью совершить одно доброе дело. Не ради вас, а чтобы угодить богу. У меня два глаза. Если я их лишусь, вы... прозреете. Я думаю, нет более доброго дела, чем это.

[1] Эфенди — господин.

Курбаши решил, что Силач издевается над ним. Он обрушился на Ахмада с яростной бранью. Но как ни велика была ярость курбаши, подвергнуть пленника большему наказанию, чем смерть, он не мог.

— Не гневайтесь, мой бек,— прервал Ахмад поток ругани, изрыгаемой курбаши, и, обращаясь к табибу, продолжал: — Может, вы поймете мои слова. Я хочу исцелить курбаши и вернуть свет его незрячему глазу. Если вы истинный, мудрый табиб, вы поймете меня. Но если вы не лекарь и обманом вошли в доверие бека, вы сочтете меня за сумасшедшего.

Табиб растерянно взглянул на курбаши, все еще продолжавшего браниться, что-то сказал ему на своем языке, и бек замолчал. Теперь внимание всех обратилось к новоявленному табибу.

— Хаким[1], пусть бек закроет здоровый глаз, а вы надавите на его веко своим пальцем,— сказал Силач.

Курбаши расхохотался, потом посидел в раздумье, решительно повернулся к табибу, закрыл здоровый глаз и велел лекарю приложить палец. Тот исполнил приказание.

— Что вы видите? — спросил Ахмад.

— Ничего,— ответил курбаши.

— Сильней надавите, хаким. Мой бек, не закрывайте глаза очень плотно, глядите вниз. Видите теперь внизу огненный шарик?

— Вижу.

Табиб тут же закрыл свой глаз и надавил на веко. Вслед за ним проделали это и улем и все другие, сидевшие на возвышении.

Раздались голоса:

— И я вижу...

— Я тоже...

— Правильно, вы видите огонек потому, что у вас второй глаз здоровый.

Табиб заволновался. Табиба интересовало не столько излечение курбаши, сколько сама тайна врачевания слепых. Если бы курбаши отказался от лечения, табиб готов был сам ослепнуть, лишь бы заставить Силача показать свое искусство. Он что-то сказал курбаши. Все притихли. Курбаши велел начинать лечение.

Тогда Силач потребовал яйцо, два финика, ползолотника тмина, пять незабудок и ложку меда. У хозяина дома все это нашлось. Когда принесли снадобья, табиб осмотрел их

[1] Хаким — ученый, доктор.

и задумался. Улем смотрел на Силача злобно и растерянно. Ахмад велел сложить принесенное в медную посуду, налить туда одну пиалу воды и вскипятить.

Ему повиновались.

— Дайте свечу,— приказал Ахмад.— Прикрепите ее на дувале против слепого глаза курбаши.

И это тоже было исполнено.

— Ты уже исцелял кого-нибудь от слепоты? — спросил наконец табиб.

— Нет,— ответил Силач, с разрешения курбаши опускаясь на корточки.— Исцелял мой учитель. Однажды только. После этого он ослеп и сам умер через одиннадцать дней. Имя учителя я назову вам после. Ему было восемьдесят три года.

Один из басмачей помешивал ложкой кипевшее варево. Силач издали пристально наблюдал за тем, как готовилось зелье. Потом велел загасить огонь и найти камень, которого не касалась вода. Приказания Силача исполнялись быстрее, чем повеления самого курбаши.

Один из людей курбаши принес в поле халата целую груду камней. Силач осмотрел камень за камнем и заявил, что этих камней вода уже касалась. То же самое он сказал и о второй ноше камней. Принесли новые. Силач выбрал камень весом в семь-восемь фунтов, велел хорошенько его вытереть и обтесать с одной стороны. Когда камень стал похожим на железный сошник, Ахмад сказал, что надо обмазать его приготовленным снадобьем.

Мазал табиб, а Силач указывал ему, как это делать. Но табибу никак не удавалось точно выполнить его указания. У курбаши лопнуло терпение, и он велел развязать пленнику руки. На Ахмада тотчас же со всех сторон уставились дула винтовок, а над головой его навис блестящий клинок палача. Силач сам обмазал камень и положил его возле себя для просушки.

— Теперь мне нужно полпиалы крови человека...— Помолчав, Ахмад поднял голову.— Думаю, что тот, кто согласился отдать зрение, не много теряет, если у него возьмут еще и полпиалы крови. Мой бек, прикажите отрубить у меня палец...

Улем, не выдержав, встал и ушел. Табиб взглянул на бека. Хозяин дома, склонившись к курбаши, толкал его в бок. Палач приготовил клинок. Силач положил свой мизинец на пенек и закрыл глаза. Палач со свистом опустил клинок,— по земле покатился обрубок мизинца. На лбу Ахмада блеснули капельки пота. Когда из раны натекло

полпиалы крови, табиб быстро присыпал обрубленное место порошком и остановил кровь. Спустя какое-то время Ахмад медленно открыл глаза и налил кровь в приготовленное варево. Затем велел зажечь перед беком пук соломы и свечу на дувале. Язычок свечи заколыхался от ветра. Повалил, закружился густой сизый дым. Когда Силач встал, на него опять навели винтовки, а над головой снова навис клинок палача.

— Мой бек,— сказал Силач, с разрешения курбаши приближаясь к супе,— я отдал палец, а теперь собираюсь отдать еще и зрение. Но у меня к вам просьба.

— Ты хочешь, чтобы я сохранил тебе жизнь?

— Нет, мой бек. Бедняк, потерявший зрение, не может желать этого. Напротив, я прошу, чтобы вы не раздумали и не оставили меня в живых. Я боюсь, когда вы прозреете, а я лишусь зрения, вы не станете убивать меня.

— Убью.

— Я боюсь вашей пощады, бек.

— Можешь не бояться.

— А все-таки я сомневаюсь. Я дрожу при мысли, что мое доброе дело перекроет мой дурной поступок. И тогда...

— Ладно. Что ты хочешь?

— Я хочу закрепить ваше решение убить меня, как только вы исцелитесь. Я хочу вашего гнева. Хочу, чтобы вы разгневались так, что, если бы вдобавок к возвращенному зрению я дал бы вам еще сто лет жизни, вы все равно убили бы меня. Я хочу разгневать вас словами.

— Словами? — криво усмехнулся курбаши.— Хорошо, говори.

Силач медленно повернулся спиной к курбаши и обратился к басмачам, стоявшим с поднятыми винтовками.

— Джигиты,— начал Силач,— не удивляйтесь, что я отдаю врагу своему зрение и палец. Подивитесь лучше на себя, вы отдаете врагу своих отцов и детей, братьев и сестер, разоряете свои же кишлаки. Вы стреляете в самих себя. Если вы считаете мой поступок безумием, тогда мы с вами сумасшедшие. Но я-то знаю, что делаю, а вы не знаете, чего ради поступаете так. Я открою вам глаза на правду, и пусть хоть соскоблят мое мясо с костей, а кости перемелют железными жерновами... Я сейчас умру. Но перед смертью мне хочется знать, ради кого вы с оружием в руках скитаетесь в горах? Ради кого обрекаете на мучения своих братьев? Ради кого вы стали басмачами? Неужели вы навсегда забыли свои плуги, вы — пахари?

Хозяин дома, прятавшийся за спиной курбаши, нетерпеливо заерзал. Улем воздел перед собою руки и что-то сказал курбаши. Тот заорал, но Силач заговорил громче, и каждое его слово было нацелено в сердца джигитам.

— Баи боятся, что, если не станет басмачей, они лишатся богатства... А чего боитесь вы?

Палач ударил Ахмада саблей плашмя и заставил его молчать. А курбаши, поднявшись с места, крест-накрест стегнул Силача плеткой и обрушил на него злобные ругательства.

— Мой бек, вы гневаетесь?.. Это же только слова,— склонился перед ним Ахмад.

— Не надо мне его лекарства, увести его! — рявкнул курбаши.

Но табиб снова настойчиво зашептал что-то на ухо беку, и курбаши начал успокаиваться.

— Приступай к делу! — крикнул он, недобро глядя на Ахмада.

Тогда Силач попросил курбаши наклониться над густо валившим дымом и дал в руки табибу обмазанный снадобьем камень.

— Держите камень острием к глазу бека, и когда я скажу, начинайте его покачивать.

Курбаши наклонился над дымом.

— О повелитель правоверных, как бы он не повредил вашему глазу,— забеспокоился хозяин дома.

— Какой вред можно причинить незрячему глазу? — возразил Силач.— Если опасаетесь за здоровый глаз, завяжите его.

То же посоветовал табиб. Курбаши снял тюбетейку и завязал глаз шелковым поясным платком.

Табиб держал камень острием к слепому глазу курбаши, но не мог понять, как надо его покачивать.

— Не так! — раздраженно говорил Силач.

Курбаши чуть не задохнулся от дыма и крикнул прерывающимся голосом:

— Хаким, передайте камень ему самому!

Вначале все напряженно следили за Силачом, ожидая, когда он станет слепнуть, но мало-помалу их внимание все больше обращалось к свече, горевшей на дувале. Она как будто не участвовала в лечении, однако Силач то и дело оглядывался на свечу и, видно, заботился,— как бы она не погасла.

— Вы, хаким, следите за свечой. Если она погаснет, скажите мне,— предупредил он наконец табиба.

Сам он наклонился к курбаши и в густом чаду принялся раскачивать камень перед глазом бека. От резких движений солома разгорелась, дым повалил вовсю. Едва виднелись в густом чаду головы курбаши и Силача.

От ветерка язычок свечи заколыхался, и люди смотрели напряженно, ожидая от нее чуда.

Вдруг Силач громко крикнул: «Свеча!» — и камень отточенным острием до половины вошел в голову курбаши. Десятник, справа от курбаши, тремя выстрелами револьвера уложил Силача. Но в ту же минуту ударом приклада десятнику раскроили череп. Поднялась стрельба. Бой продолжался до вечера. Потом вспыхнул большой пожар, над домом бая встали огромные столбы сизо-багрового дыма.

1934

Константин Лордкипанидзе

(1905—1986)

МОЙ ПЕРВЫЙ КОМСОМОЛЕЦ

Напишите несколько слов о себе, ну что вам стоит,— сказал мне редактор, когда я принес в издательство первые два тома моих сочинений.

— Попробую,— обещал я, не подозревая, как, оказывается, трудно писать о самом себе.

А трудно вот почему.

Во-первых, в нескольких словах ничего не скажешь, все время будет казаться, что самое важное, самое интересное в твоей жизни ты все же упустил, оставил за строкой.

А во-вторых, ни в одной области искусства художник так не похож на свое создание, как писатель на свою книгу. По моему глубокому убеждению, происходит это потому, что сила слова неисчерпаема и неизмерима, у слова намного больше граней и оттенков, чем, скажем, на палитре живописца или в музыкальной фразе. Конечно, каждый правдивый писатель, создавая биографию своего поколения, рисуя облик своего времени, тем самым рисует в какой-то мере и самого себя, пишет историю своей жизни. Но ни в какой специально написанной биографии писателя он не представлен перед читателем таким живым, настоящим, как в своих романах, повестях, стихах, хотя чаще всего он ходит по страницам этих книг незримо и неслышно, словно невидимка...

Мне сейчас шестьдесят четыре года, и, как вы сами понимаете, за это время мне не однажды пришлось писать автобиографию. Писать по разным поводам: когда поступал

на работу, когда призывали в армию, когда представляли к награде, когда выдвигали мою кандидатуру на выборах в местный Совет...

Пока человек жив, кому-то все время будут нужны его анкеты и автобиография.

И мне, как сыну своего века, не удалось избежать этой участи. Сколько раз я перечислял на бумаге даты своей жизни: год рождения — 1905, кончил кутаисскую классическую гимназию, первое стихотворение написал в 1925 году, оно было посвящено безвременно погибшему вожаку грузинского комсомола Борису Дзнеладзе, а в январе 1942 года добровольцем ушел в действующую армию и попал прямо в Керчь.

Испишу, бывало, такими датами полторы-две странички — вот и готова затребованная автобиография. Не знаю, всегда ли читали это мое сочинение, но твердо знаю — в канцелярские архивы оно попадало неизбежно. Словом, руку себе я набил в этом деле... Что же сейчас мешает моему перу разгуляться по бумаге? Ведь на этот раз свою автобиографию я пишу не для ведомственных надобностей, а для читателей моих книг, с которыми я обязан разговаривать не на языке анкеты, а так, как разговаривают между собой люди, у которых есть что сказать друг другу... Все, что писатель адресует читателям, будь то роман из жизни нашего крестьянства или страничка личных воспоминаний, должно открыть им что-то новое, помочь проникнуть в нелегкий мир художника. А такой работы в один присест, как думал мой быстрый редактор, не сделаешь...

И еще вот о чем я хочу сказать: начиная с зеленой юности, я живу, как солдат в окопе. А в окопе чаще всего приходится смотреть только вперед, и у меня пока не было времени оглянуться, подумать о прожитом, окинуть умудренным взглядом пройденные пути-дороги.

Да и то надо учесть, что жизнь в окопе имеет, как я сейчас понял, не только свои преимущества, но, к сожалению, и некоторые минусы. Солдат из окопа не все видит и не всегда знает, что происходит за пределами обозримого. Может, это в какой-то мере и помешало художникам моего поколения разобраться во всей сложности мира сего. Я не говорю это за всех, может, кто и думает, что разобрался, я говорю только за себя — еще солдат в окопе.

Говорят, писателем рождаются. Иногда мне кажется, что это правда. Иногда мне и то кажется: когда ты молод, ты один из богов, ибо ты участвуешь в сотворении мира, и видения той прекрасной поры никогда не увядают в твоем

сердце, и гибнут они только вместе с тобой. Это не значит, конечно, что в твоем первоначальном видении ничего не изменяется с течением времени — любознательность человека не имеет предела, душа человека, как безграничный океан, к ней устремляются и капля утренней росы, и малый безымянный ручеек, и великий Енисей... Но впечатления юности — как первая любовь, они не забываются, и не будет наказания страшнее, если судьба лишит тебя памяти о них, они всегда с тобой в твоем трудном походе, они не позволят тебе заснуть на коротком привале, они не позволят тебе предаться самодовольному покою в часы успеха, они вольют в твое сердце новые силы в минуты слабости и отчаяния, они зорко следят за твоим оружием, чтобы оно не покрылось ржавчиной, они спасут тебя от зазнайства и не позволят тебе помыслить, что ты уже на том берегу где венчают лавровыми венками.

Строгий и беспристрастный судья — завтрашний день — сам решит, кому быть на том берегу, кому остаться на этом. А пока ты должен терпеливо трудиться на этом берегу великой и нескончаемой реки, имя которой Время.

Когда я вспоминаю о молодых своих годах, то раньше всех возникает в памяти мой первый комсомолец Бичоиа Пурцхванидзе, человек с чистым сердцем рыцаря, встречи и беседы с которым еще в далеких двадцатых годах дали направление всей моей жизни. И, конечно, свой автобиографический рассказ я не могу не начать с воспоминаний о нем.

Мы, кутаисцы, не любим март. И не без основания: никакой месяц не приводит в наш город столько серых, скучных дождей и ни в какое время года не бывает на немощеных наших улицах столько жидкой грязи и таких непросыхающих луж. Обычно ветер в Кутаиси, как и в других порядочных городах, дует день или неделю с какой-то одной, определенной стороны, но в марте он чуть ли не каждый час меняет направление и бедных прохожих мотает по улицам во все стороны. В такую погоду над Горой — это давнее название нашего заречного района — с утра до вечера низко стоят тяжелые тучи, и от них на землю падает такой сумрак, что только по часам можно определить, какое сейчас время дня: раннее утро или, допустим, полдень. А часы на нашей улице имел только один человек — кондуктор пассажирского поезда Бахва Дондуа. Это были большие чугунные часы, они у него лежали в левом нагрудном кармане форменной тужурки, и потому тот карман свисал

у Дондуа до самого живота, будто в нем лежал большой булыжник. Но кондуктор не каждый день бывал дома, и мы из-за этого проклятого марта с его черными тучами и поганым ветром нередко опаздывали в школу, не зная, какое нынче время на нашей Горе. Да и не только мы — старые, опытные петухи терялись в марте и кричали всегда невпопад. В марте на них положиться никак нельзя было. Случались дни, когда с утра до вечера стояла вот такая серая муть, и только по голодному желудку мы догадывались, что время все-таки течет... Вот в один из таких мартовских дней 1921 года кутаисские меньшевики бежали из города. Они пытались прихватить с собой все, что можно было вывезти. На провиантских складах города, на товарной станции Кутаиси накопилось много добра, свезенного со всей Восточной Грузии: сахар, рис, мука, рулоны сукна и шерсти, военное обмундирование и обувь... А в подвалах городского банка хранилась доставленная из столицы государственная казна — золото, серебро и драгоценные камни.

В первые дни марта меньшевистские гвардейцы еще не очень торопились вывезти все это имущество из Кутаиси, они пока надеялись, что наступающую Красную Армию удастся задержать на Сурамском перевале. Но вскоре стало известно, что большевистские отряды, наступающие с северо-запада, прорвались на Сухумском фронте, заняли станцию Квалони и вот-вот отрежут дорогу на Батуми. Вот тогда и забегали гвардейцы... Первым делом они стали сколачивать обозы. Все, что имело колеса — все арбы, дрожки, линейки и даже ручные тачки,— подлежало мобилизации. А мы на Горе пока ничего не знали и спокойно отправились с братом на кирпичный завод. Там мы доверху нагрузили арбу кирпичом и по крутому каменистому спуску, с трудом удерживая взмокших быков, выехали к Красному мосту.

Уже полгода я и мой брат Валико работали на кирпичном заводике Ермиле Цкепладзе. По утрам мы, как и прежде, ходили в гимназию, хотя в то смутное время никто особенно не заботился о нашей учебе — учителям было не до этого, а нам тем более. Иногда по целым неделям мы не слышали голоса учителей. Порой прямо с утра, а чаще после обеда и до самого вечера мы возили воду на ермилевский заводик или же развозили кирпичи заказчикам. Если же для арбы дела не было, мы таскали из печи уже готовый кирпич наверх по шатким скользким лестницам. За тысячу кирпичей Ермиле давал полмиллиона рублей, по тем временам деньги немалые. На них можно было купить поджарен-

ную на каком-то вонючем масле кукурузную лепешку, конечно, если найдешь, где она продается. Работа, как говорится, для акробатов и канатоходцев, но нам, мальчикам, выросшим на берегах Риони, ловкости и смелости было не занимать. И мы самозабвенно состязались друг с другом — вверх и вниз, и снова вверх с дюжиной прижатых к животу кирпичей. Мы не давали кирпичу остывать — будешь ожидать, пока он остынет, перехватят у тебя работу...

Работали мы без «козы» и без рукавиц, и потому кожа на ладонях и на животе вокруг пупка всегда была обожжена до красноты.

В последнее время Ермиле расплачивался с нами за работу не меньшевистскими бонами, а плитками подсолнечного жмыха. И вот за эту самую малосъедобную макуху наши ребята готовы были не только что в неостывшую печь полезть, а в кипящую смолу прыгнуть, лишь бы принести голодной семье кусок жмыха. Нам было тогда по пятнадцать — шестнадцать лет, а в этом возрасте такие тяготы нипочем, мы, как говорят у нас на Горе, «наступали на собственные кишки».

...У Красного моста нам преградил дорогу гвардеец в желтом, как яичный желток, бушлате. Без лишних слов он велел мне разгрузить арбу, а поскольку я замешкался, сам подошел к арбе, выпряг волов и, приподняв дышло, с грохотом вывалил кирпичи на мостовую. После этого он снова надел на быков ярмо и объявил нам, что арба мобилизована и мы должны следовать за ним.

В Кутаиси все от мала до велика знали: если уж тебе сказали «мобилизован» — молчи и повинуйся. Значит, не повезло.

И мы, не прекословя, повернули арбу.

Железнодорожный мост на реке Риони был поврежден, и потому все грузы из Кутаиси направлялись гужевым транспортом в Самтредиа, а оттуда то и дело отходили товарные поезда на Батуми, где у причалов уже стояли под парами корабли союзников.

На кутаисском вокзале творилось что-то невообразимое: бежавшие из Тбилиси «сильные мира сего» метались по привокзальной площади в поисках фаэтонов и бричек, наиболее предприимчивые тбилисцы пригоняли с Заречной биржи линейки и дилижансы. Погрузив на них свои семьи и чемоданы, они обещали извозчикам золотые горы, только бы не опоздать на батумские поезда.

Нашу арбу нагрузили мешками с сахаром и рисом и загнали во двор реального училища. Вскоре там скопи-

лось около сорока арб и телег. Примерно в полдень наш караван вышел на самтредскую дорогу в сопровождении трех конных гвардейцев. Вдруг повалил тяжелый мокрый снег. Мы с братом были легко одеты, мы ведь не собирались в дальнюю дорогу, и колючий мартовский ветер пробирал нас до костей.

Я шел за арбой, вытянувшись в струнку, стараясь, чтобы насквозь промокшая рубаха не отлипала от спины — отойдет она чуть-чуть, и по коже пробегает противный озноб, как в лихорадке.

Словом, это был настоящий мартовский день, когда снег не похож на снег, дождь на дождь, небо на небо и уже не веришь, что где-то есть солнце и мы увидим его когда-нибудь над этими озябшими, нахохленными, как мокрые воробьи, окраинными домишками, над еще голой придорожной алычой — ей давно пора расцвести, но март, злой март не дает белой красавице набраться сил... Ужасная погода, божье наказание, и только, но еще большим наказанием стал для нас один из конвойных. Они все были молодыми, но этот был и вовсе зеленым, да еще вдобавок с такими дурацкими выкрутасами, что мы с братом только переглядывались.

Годов ему было двадцать — двадцать два, собой невзрачный, худой и с таким длинным костлявым подбородком, что я навсегда запомнил его лицо — посмотришь на него сбоку, и кажется, будто видишь посаженный на плетень высушенный лошадиный череп.

На гвардейце этом тоже был желтый бушлат, перехваченный крест-накрест пулеметными лентами. Впереди него на луке седла лежал немецкий карабин. По всему видать, парень считал себя лихим воякой и всячески старался показать нам свою удаль. Но мы с братом не могли смотреть на него без смеха — какой из него удалец, когда на голове у него вместо гордой папахи старый, мятый-перемятый, давно полинявший картуз со сломанным козырьком. Желторотый сморчок на коне, и только. У него даже имени своего не было. Товарищи называли его почему-то Уриэлем Акостой.

Сначала он спокойно ехал впереди, да, видно, надоело тащиться шагом, а может, просто озяб, только вдруг он огрел коня нагайкой и принялся гарцевать вдоль всего обоза. То подымет на дыбы своего гнедого, то перемахнет через наполненную водой придорожную канаву, то скроется за стеной дождя и через минуту-другую опять тут как тут... Когда мы миновали Маглаки, дурачку этому вдруг показалось, что мы медленно едем, и он стал орать на нас. Мы, в свою очередь, стали кричать на быков и для виду даже

замахивались на них прутьями, но Уриэль Акоста сразу заметил обман и пригрозил:

— Вы мне тут саботаж не устраивайте! Со мной шутки коротки — приедем в Самтредиа, и я вас в кутузку загоню.

Он подскакал к передней упряжке и принялся стегать быков по головам.

Аробщик возмутился:

— Это, господин хороший, арба, а не фаэтон.

Уриэль Акоста оторопел: как, ему посмели возражать! Он почти наехал на аробщика, прижал его грудью лошади к арбе и, пакостно усмехаясь, сказал:

— Посмотри, дядюшка, на тот лесок... Видишь? Отведу я тебя туда, обратно живым не выйдешь... Прощай, жена, прощайте, дети! Понял, что я сказал?

К счастью, старший конвоир оказался более рассудительным, он подъехал к свирепому Уриэлю Акосте и тихо сказал ему, что по такой разбитой дороге быстрее не поедешь. Тот несколько утихомирился, но все же всю дорогу бросал на нас злые взгляды и упрекал то одного, то другого аробщика в отсутствии любви к страдающему отечеству. А тех, кто пытался возразить ему, он просто называл предателями.

В Самтредиа мы приехали глубокой ночью, но конец нашим мытарствам наступил не скоро. Мы еще долго мокли под дождем, пока подали товарные вагоны. Когда началась погрузка, вдруг оказалось, что из нашего обоза исчезла одна арба. Разбудили коменданта станции и уже в его присутствии раза три пересчитали все арбы и телеги, просмотрели все сопроводительные документы — одна арба как в воду канула.

— Не волнуйтесь, гражданин Бикентий, может, арба застряла где-нибудь в дороге, а мы в темноте не заметили,— попытался утешить расстроенного старшего конвоира один из аробщиков.

— Чья арба, не помните? — спросил тот.

— Фамилии не помню. Какой-то хромой парень из Маглаки... А быки у него никудышные, год не кормленные.

Бикентий только рукой махнул. В это время прибежал второй конвоир и доложил старшему, что пропал Уриэль Акоста.

— Как это пропал!— взвился Бикентий.

— Я обегал всю станцию, никто его не видел.

Мигом собрали всех погонщиков, они в один голос заявили, что после Маглаки Уриэль Акоста куда-то исчез, даже голоса его они больше не слышали. Старый конвоир

в отчаянии схватился за голову: из-под самого носа увел, негодяй, арбу!

Еще раз проверили сопроводительные документы, и оказалось, что на пропавшей арбе были мешки с рисом и сахаром.

— Вот тебе и патриот! То-то он подгонял нас,— заметил один из аробщиков.

— Эх, счастье надо иметь. Почему этому сукиному сыну моя арба не приглянулась,— тотчас же отозвался другой.

— А ты разве пошел бы на такое, Кокита? — усомнился первый.

В ответ Кокита только заржал, тихо и счастливо заржал, словно уже пригнал к себе во двор эту сладкую арбу.

Под утро, когда мы, измучившись, добрались наконец до постоялого двора духанщика Мосэ, эти двое не дали нам поспать ни часа.

Сначала они набили себе животы вареными бобами, потом подсели к очагу и до самого нашего отъезда обсуждали и подсчитывали, сколько сахара и риса отвалил Уриэль Акоста своему сообщнику, хромому парню из Маглаки.

— По-моему, Бежан, колченогий получит хороший куш. Не меньше, чем по мешку риса и сахара. Мир от этого не рухнет, а Уриэль Акоста не обеднеет.

— Ты думаешь, по мешку, Кокита? Вряд ли у него такое щедрое сердце. Нет, по мешку ни за что не даст.

— Не даст? А ты знаешь, что человеческий язык без костей...

— Думаешь, донесет?

— А что, по-твоему, должен сделать обиженный человек? Молчать? Чего зубы скалишь, Бежан? Что я смешного сказал?

— А разве не смешно... Одно правительство сбежало, другое еще не пришло... Кто Уриэлю Акосте судьей будет?

— Да, об этом я как-то не подумал. Выходит, пропал наш колченогий.

— Почему пропал? Пусть поубавит свой аппетит. По полмешка получит, и за то спасибо... Разве этого мало?

— Конечно, не мало. И потом, знаешь, сахар и рис... Ох, и подходят они друг другу. Ты когда-нибудь пробовал рисовую кашу на сахаре? То-то же! Ложку проглотишь.

— Слушай, хватит. Не своди меня с ума!

Они замолчали. Я обрадовался... Может, все-таки дадут поспать. Я в самом деле задремал, но, видимо, недолго.

— Ты спишь, Бежан? — послышался голос Кокиты.

— Да, надо немного поспать, а то уже светает...

— А я вот никак не засну. И знаешь, о чем я думаю? Пропадет этот маглакский дурень.

— С чего ты взял?

— Верное слово тебе говорю, Бежан. Ты только вспомни, какие глаза были у нашего Уриэля Акосты. Будь я проклят, если человек с такими глазами уступит хоть четверть мешка. На кресте поклянусь, если хочешь... Не бывает такого.

— Но хоть немного он ему подбросит? А тот и всякой малости будет рад. Что он — пахал, сеял, пот проливал? Даром дают, чего еще...

— А что он рисковал, это, по-твоему, ничего не стоит? Его же там на месте могли пристрелить, когда он арбу уводил. Да вот, на счастье, не поймали.

— Ты, пожалуй, прав. С пустыми руками Уриэль Акоста его, конечно, не отпустит. Хоть на медную копейку совесть у него осталась...

— Дай бог, чтобы кончилось у них по-твоему.

Они снова затихли на некоторое время. «Слава богу!» — с облегчением подумал я. И только закрыл глаза, как мучитель мой Кокита внезапно вскрикнул, словно его холодной водой окатили:

— Нет, нет, Бежан! Плохи дела у нашего хромого! Не надо было ему связываться с этим поганым гвардейцем.

— Глупости говоришь! Что значит — не нужно было связываться? Позавчера моя теща полдеревни обегала из-за кусочка сахару. Младшая дочка у меня заболела, сладкого чая не могли ей дать. С сахаром не шути, братец, он на дороге не валяется.

— Знаешь, что я тебе скажу, этот Уриэль Акоста совсем не ангел... Станет он в такую темную ночку сидеть под кустом с твоим бедным аробщиком и делить с ним сахар: один кусочек тебе — два мне... Два мне... один тебе. И не думай... Всадит в него пулю — вот и вся тебе дележка. Ночь ни языка, ни глаз не имеет. Кто узнает, как и зачем погиб человек.

— Ты думаешь, убьет? Не пожалеет несчастного?

— Такие бандиты свидетелей в живых не оставляют... чтобы потом всю жизнь дрожать?! Не такой он простак, этот Уриэль Акоста.

— Да, по всему видать, не простак. Что ж, значит самое время молиться за упокой невинной души.

— Сообразил наконец,— сказал Кокита и сердито плюнул на тлеющие в очаге угли.

«Ну и люди,— подумал я, засыпая,— пожалели для бедного человека мешок сахару... Вынудили гвардейца

убрать сообщника с дороги, не пощадили своего же брата аробщика...»

Я заснул, но все участники этого ночного происшествия тотчас же вошли в мой сон. Мне приснилось, что Уриэль Акоста и хромой аробщик никак не могут поделить добычу. Сначала они только ругались, но когда исчерпали весь запас бранных слов, Уриэль Акоста схватился за маузер и убил... кого, вы думаете, убил? Не хромого аробщика, нет, а оглушительно выстрелил в ни в чем не повинного Кокиту, безмятежно спавшего рядом со мной у потухшего очага.

Выстрел разбудил меня.

Кокита стоял у огня и выбивал ладонью окурок из длинного мундштука.

— Вставай, парень, пора ехать,— сказал живой и невредимый Кокита.

Вчера в Кутаиси мне сказали, что берут нашу арбу только на одну поездку. Но старший конвоир не выполнил своего обещания и, когда мы вернулись в Кутаиси, велел отвезти семью какого-то офицера в селение Варцихе.

На Гегутской улице мы заполнили арбу коврами, перинами, узлами, чемоданами, баулами, поверх всего этого барахла посадили двух детей, мальчика и девочку, и двух женщин, одну пожилую, другую помоложе. Обе они были в трауре. Чтобы укрыть наших пассажиров от непогоды, мы натянули на копылья арбы старый палас. Крыша получилась ничего себе, ехать можно, и мы погнали быков. Женщины всю дорогу негромко причитали, оплакивая какого-то Датико, и только за Сагорийским лесом пожилая женщина попросила меня остановить арбу и опустила на землю мальчика по малой нужде. Из уважения к горю этих женщин ни я, ни мой брат, несмотря на великую усталость, ни разу не присели на арбу, только иногда держались за копылья.

У аджаметского парома собралось не менее десяти повозок. Однако мы недолго стояли в очереди — пожилая женщина подозвала к себе паромщика и что-то ему сказала. Паромщик почтительно склонил голову, потом повернулся ко мне, угостил подзатыльником и сказал, чтобы я вывел свою арбу вперед. По всему этому я понял, что наши пассажирки знатные особы.

Вечером мы достигли Варцихе. Нас хорошо накормили, мы отоспались в тепле, а утром пожилая женщина подарила мне пропахшую нафталином гимназическую блузу, моему брату поношенные штаны, а в сумку положила два куска холодной мамалыги, немного сыру и разрешила вернуться домой.

Из какой бы дали ты ни возвращался домой, быки и кони это всегда безошибочно чувствуют, и даже самая плохая, разбитая, затопленная грязью дорога им в таких случаях нипочем. Наши старые быки побежали в сторону Кутаиси, как и в молодости, пожалуй, не бегали. Без особых происшествий через несколько часов мы подъехали к городу. У железнодорожного переезда я соскочил с арбы и повел упряжку за собой. Миновали шлагбаум. В это время из духана «Зайди на часок» вышел какой-то человек с ружьем и приказал остановить арбу. Остановились. Я с удивлением глядел на его длинную шинель, она почти касалась земли. И шапка на человеке была невиданной в наших краях: островерхая, с большой красной звездой... Он спросил, кто мы и откуда едем. Я не без гордости громко сказал, что мы отвозили в деревню семью погибшего на войне офицера.

— Что, что? Чью семью, говоришь, отвозили?

— Офицерскую,— подтвердил я.

Я не ожидал, что его так рассердит мой ответ.

— Ах ты, сопляк несчастный! — заорал он.— Кончили мы твоих офицеров и гвардейцев... Все, крышка им!

Я со страху совсем онемел и не осмелился даже сказать, что они никакие не мои, все эти гвардейцы и офицеры. Солдат повернулся к духану и кого-то позвал:

— Бичоиа! Давай-ка обыщи эту арбу!

Только сейчас я увидал костер под навесом духана и несколько человек, сидящих вокруг него. Один из них обернулся на голос, нехотя поднялся и, зажав винтовку под мышкой, подошел к нам. Он как-то очень внимательно оглядел меня, улыбнулся и сказал:

— Здравствуй, Коция! Что, не узнаешь?

Я глазам своим не поверил — передо мной стоял мой недавний школьный товарищ Бичоиа Пурцхванидзе.

— Бичоиа, Бичоиа! Брат мой Бичоиа! — вскрикнул я, безмерно обрадованный этой нежданной встречей.— Да тебя и мать родная не узнает в этом наряде,— добавил я восхищенно. И действительно, было чем восхититься: на нем была изумительная, отливающая праздничным глянцем кожаная куртка. Она скрипела, как новенькое седло, при каждом его движении. Руку поднимет — скрипит, голову поднимет — скрипит, вздохнет — тоже скрипит.

Эта черная поющая куртка так поразила мое воображение, что, пока сам Бичоиа не подошел ко мне и не расцеловал, я стоял как чурбан. Я и шагу не мог сделать ему навстречу и руку забыл ему протянуть, уж больно вели-

чественным и недоступным казался он мне в своем поистине сказочном наряде.

Немного придя в себя, я спросил Бичоиа, что он здесь делает и кто его товарищи.

— Мы бойцы Красной Армии,— сказал Бичоиа и познакомил меня со своими друзьями.

Оказывается, вот что произошло в нашем городе, пока мы ездили в Варцихе: от меньшевиков и следа не осталось. Кутаиси перешел в руки ревкома, и этим четырем красноармейцам была поручена охрана железнодорожного переезда.

...Бичоиа Пурцхванидзе был на два года старше меня. Из-за болезни он дважды оставался в третьем классе, в котором я его и догнал. В третьем классе мы сидели на одной парте и были закадычными друзьями. К тому же Бичоиа был моим соседом по Горе. После уроков мы с ним на пару промышляли по чужим садам или купались в Риони. У него не было отца, мать работала прачкой в кутаисском военном госпитале. В позапрошлом, 1919 году Бичоиа внезапно бросил учиться в гимназии и куда-то исчез. Говорили, что он уехал к дяде в Сухуми и там работает на лесопилке.

Я искренне обрадовался, увидев сейчас моего друга, но через какую-то минуту к этой радости примешалась горечь: чересчур жалким, прямо-таки ничтожной козявкой казался я самому себе рядом с великолепным Бичоиа. Что я по сравнению с ним в этих полусгнивших обносках с чужого плеча? Уставший и запуганный батрак богача Цкепладзе, я только и умел, что подобострастно заглядывать в хозяйские глаза и покорно бормотать: «Да, господин!», «Будет сделано, господин!» И какая польза мне, что в гимназии я учился лучше Бичоиа, писал стихи и знал, что на свете существуют чудо-книги, над которыми люди навзрыд плачут в ночной тиши и мечтают о нездешних мирах... Все мое мнимое превосходство над Бичоиа исчезло в один миг, когда я увидел винтовку у него в руках и услышал упоительный скрип его кожаной куртки. Выглядел он сейчас таким независимым и бесстрашным, будто ему море по колено... Я сразу поверил, Бичоиа сейчас с любым врагом справится, с какой бы стороны он ни нагрянул. И тут я некстати вспомнил, с каким несчастным видом он шел, бывало, по классу, когда учитель математики вызывал его к доске. Будто на плаху шел человек. Я уже говорил, что Бичоиа часто болел, нанять домашнего учителя мать ему, конечно, не могла, и потому мы дружно, почти всем классом помогали

ему. То у доски подскажем, то вместе до урока решаем задачи.

Но все это когда было! Сейчас тут, у этого железнодорожного переезда, стоял совсем другой Бичоиа — не прежний, замученный переэкзаменовками гимназистик, а человек, который уже сдал самый трудный экзамен в своей жизни.

Такого смелого, вольного Бичоиа я прежде не знал.

У него даже походка изменилась. Раньше нога за ногу цеплялась, через плетень, бывало, не перелезет, чтобы штаны свои не порвать, а сейчас — расступись, плетень, хозяин идет! Да, да, хозяин! И поэтому никого он сейчас не боится. Никого и ничего.

Эти последние месяцы я жил среди полузадушенных страхом людей. Только и слышишь: придут большевики и все переделают по-своему. Стоящих впереди поставят назад, а задних — вперед.

Отец мой был небольшим акцизным чиновником, очень дорожил своей службой и очень боялся, что новой власти он не понадобится... Богатый мой дядюшка Никифор Болквадзе дрожал за свое лечхумское имение. Меньшевики его не тронули, а большевики... Он назубок выучил ленинский Декрет о земле.

Боялся прихода новой власти и наш классный наставник. Откуда я это знаю? Мне по большому секрету сказала об этом его дочка, с которой мы иногда встречались на занятиях нашего литературного кружка.

— Голова болит, всю ночь не спала,— пожаловалась она мне.— Мы с отцом перебрали целую кучу старых писем и фотокарточек. Больше половины сожгли в камине. Над одной карточкой отец чуть-чуть не заплакал... Большая такая карточка, на ней папа и Коция Сулаквелидзе[1] рядом сидят.

Жили в страхе наши соседи Чликадзе. Они поверили слухам, что красноармейцы насилуют женщин, и двум своим красивым дочерям отрезали косы и одели девчонок, как мальчиков, в люстриновые брюки и чесучовые рубашки.

Боялся и мой хозяин, заводчик Ермиле: задушат его налогами.

Боялся Уриэль Акоста: вдруг красные перережут дорогу, удрать не успеет.

Боялись аробщики — эти меньшевиков боялись. Того и гляди, выместят на нас злобу отступающие гвардейцы, порежут наших быков, кому потом пожалуешься.

[1] Кутаисский генерал-губернатор.

Были, конечно, на Горе люди, которые радовались ожидаемым переменам, но я с ними не встречался, по нашей улице они не ходили.

И я тоже бог весть чего боялся, должно быть, заразился чужим страхом... И как мне было не завидовать Бичоиа, человеку, который ни перед кем не испытывал страха. Понадобится, остановит кого хочешь на улице и спросит, как меня спросили: «Кто ты? Откуда идешь?»

— Вот, скажем, идет по улице сам Лагидзе...[1] Ты его тоже остановишь? — спросил я.

— А как же, остановлю,— глазом не моргнув ответил Бичоиа.

Вот он какой! А я известно кто — батрак замордованный... Даже тому поганцу Уриэлю Акосте слова поперек не посмел сказать.

— Помнишь, как мы с тобой повеситься решили? — спросил Бичоиа, когда мы пристроились у костра и положили в горячую золу несколько картофелин.— Если не обидишься, я расскажу товарищам, как мы тогда с жизнью прощались... Пусть посмеются над дураками.

— Помню, Бичоиа, такое не забудешь! Рассказывай, я не возражаю... пусть повеселятся твои уставшие товарищи.

... Мы были тогда в четвертом классе[2]. К тому времени мы несколько остепенились и вредными озорниками нас уже не считали, но однажды случилось так, что меня и Бичоиа чуть не выгнали из гимназии. На школьном дворе были сложены заготовленные на зиму дрова. Пятеро рабочих с утра до вечера укладывали аккуратно распиленные бревна в высокие поленницы. Во время большой перемены мы всем классом помогали пильщикам. Классный наставник даже похвалил нас за эту работу, но назавтра все пошло насмарку.

У нас в тот день был пустой урок, заболел географ, и кто-то предложил сыграть в казаки-разбойники. «Разбойники» разворотили несколько поленниц и соорудили что-то вроде крепостных башен с бойницами. И началась война. Когда «казаки» пошли на штурм, все это шаткое сооружение с грохотом обвалилось. К счастью, мы отделались только испугом и легкими царапинами. Но тут появился надзиратель.

— Они обрушили все поленницы! — завопил он. Прибежали два наших сторожа и вместе с надзирателем принялись ловить и без того перепуганных мальчиков. В жизни

[1] Владелец лимонадного завода.
[2] Равен шестому классу современной школы.

это не первый случай, когда самое большое наказание выпадает на долю наименее виновных. Все наши ребята как-то выпутались из этого неприятного дела — одни успели удрать, у других появились сильные покровители,— а меня и Бичоиа, хотя мы крепость не строили и башни не рушили, сразу же зацапали свирепые, как бешеные волки, сторожа. Мы предстали перед надзирателем, и он учинил над нами такую расправу, словно мы потрясли основы мироздания... Выходило, что мы зачинщики этого беспорядка, что мы давно замечены в хулиганстве и что вообще недостойны ходить по этой земле.

— Чтоб вашей ноги не было больше в гимназии. Передайте родителям, пусть заберут ваши документы. А теперь — вон,— приказал надзиратель и не очень вежливо подтолкнул нас к дверям.

Никогда, ни до этого дня, ни после, за все годы моей нелегкой жизни я не чувствовал себя таким несчастным, отвергнутым, никогда такая гроза не проносилась над моей головой, хотя все знают, через какие бури прошли за последние полвека люди моего поколения.

Несправедливость надзирателя поразила меня в самое сердце. Завтра меня исключат из гимназии, что я буду делать? Домой вернуться нельзя, нету у меня сил посмотреть отцу в глаза. Что же остается — исчезнуть, скрыться. Но куда?

Мы с Бичоиа долго решали, куда нам податься. В Диди-Джихаиши, где живет брат моей матери Александр Вашакидзе? Или в Баши к одной из моих тетушек? Но Бичоиа тут же отклонил все мои предложения: исключенного из гимназии за хулиганство никто не пустит даже на порог, а с пустыми карманами в чужие места, где никого не знаешь, ехать нельзя. И потому мы приняли решение повеситься.

Прошлой осенью повесилась одна наша соседка. Оказалось, что она была у врача и тот нашел у нее какую-то неизлечимую болезнь. Женщина вернулась домой, взяла веревку, сделала петлю и...

Я готовил уроки, когда из летней кухни соседей послышались вопли моей матери. Я побежал туда.

Соседка висела на закопченной балке рядом со связками лука, чеснока, красного перца, сушеного инжира и оставленных на семена кукурузных початков. В дымящемся очаге покачивался на железной цепи уже покрытый золотистой коркой свиной окорок.

Может, потому, что я увидел самоубийцу в такой обыденной и вовсе не страшной обстановке, рядом с чесноком

и кукурузными початками, я не только не испугался, но даже и не поверил, что она на самом деле мертва.

Эта смерть не дошла до моего сознания, так как все выглядело очень просто и очень по-домашнему. Вот почему я с таким легким сердцем предложил Бичоиа:

— Повесимся.

Бичоиа молча кивнул головой.

Мы решили привести в исполнение свой приговор не откладывая в долгий ящик и тут же, во дворе гимназии, чтобы наши наставники своими глазами увидели, какую мы приняли мученическую смерть, чтобы они до конца своих дней раскаивались, что погубили таких хороших ребят.

Веревки не пришлось долго искать. Недаром говорят в народе, что она всегда оказывается под рукой, когда дьявол сгоняет с твоего плеча ангела-хранителя.

— Вот она! — сказал Бичоиа. Перед флигелем, в котором жил наш делопроизводитель Катэ Чичинадзе, была натянута бельевая веревка, привязанная одним концом к железному балкончику, другим — к вишневому дереву.

Веревка была старой, почерневшей от дождя, и неубранные прищепки сидели на ней, как отдыхающие стрекозы.

— Ты поглядывай за домом, если что — свистни,— сказал я Бичоиа.

Я снял ботинки и в одних носках полез на вишневое дерево. Отвязав веревку, я спрыгнул на землю.

— Может, дотянешься до балкончика,— попросил я Бичоиа. Он был на голову выше меня.

— Попробую,— сказал Бичоиа. Попробовал и не дотянулся. Тогда я подставил ему спину. Он долго возился с этим концом веревки. Узел оказался слишком тугим.

— Потише, Бичоиа, хребет мне переломишь,— взмолился я и прижался плечом к стене, чтобы не подогнулись колени. Развязывая проклятый неподатливый узел, он буквально плясал на моей спине, будто саман утаптывал. Я боялся, что он мне ни одного целого позвонка не оставит.

Вдруг Бичоиа вскрикнул:

— Ой, мама! — и слетел с моей спины. В тот же миг крепкий пинок свалил меня на землю.

— Ах вы, собачьи дети! И не стыдно вам гнилую веревку воровать... Хоть бы она чего стоила!

По голосу я сразу узнал нашего делопроизводителя. Видать, Бичоиа здорово досталось от его палки — прикусив губу, он молча потирал поясницу. Однако Бичоиа не убежал, и я тоже не собирался убегать. Зачем бежать? Мы уже все

равно распрощались с жизнью... Все наши счеты-расчеты с этим миром покончены.

— Женщины, где вы? Посмотрите на этих воришек,— крикнул Чичинадзе и постучал палкой по перилам балкончика.

— Что вы говорите, дядя Котэ! Клянусь матерью, мы не собираемся продавать вашу веревку,— с неожиданной храбростью сказал Бичоиа,— она нужна нам на время. Завтра мы ее...

Наверное он хотел сказать «вернем», но тут у него сорвался голос. Понял, значит, что завтра эту бельевую веревку мы уже не сможем вернуть. Не будет у нас завтра.

Бичоиа расстроился, шмыгнул носом и всхлипнул. У меня все перевернулось внутри, когда я увидел, что он готов заплакать. Еще этого не хватало! Тут нас ворами объявили, а он хнычет...

В это время на балкон выскочили женщины и давай подливать масла в огонь. Они так завопили, словно на них напал сам Залим-хан.

Не знаю, что со мной в это мгновение произошло: я рухнул на землю и затрясся, как припадочный.

— Не воры мы, не воры! — закричал я.

Чичинадзе только руками развел.

— А кто же вы такие? Слепой я, что ли? Разве я не видел своими глазами, как вы веревку отвязывали... Может, скажете, что я это сделал?

— Мы должны повеситься,— пробормотал Бичоиа.— И ваша веревка никуда не денется, в гроб ее с собой не возьмем.

— Чего, чего? — Чичинадзе даже попятился от Бичоиа, потом нагнулся и поднял меня на ноги.

— Да, это правда, мы должны повеситься,— всхлипывая, подтвердил я слова Бичоиа.

Чичинадзе рассмеялся.

— Вы посмотрите на этих мартышек... Хотят мне голову задурить.

Засмеяться-то он засмеялся, но в то же время пристально посмотрел на меня.

— Провести меня хотите, мальчики? Да?

Не получив от меня ответа, он растерянно заморгал глазами и повернулся к Бичоиа.

— Что с вами, мальчики? Какая вас муха укусила?

Я сообразил, что делопроизводитель еще ничего не знает. Так, может, хоть он поверит в нашу невиновность. Торопясь, заглатывая слова, я рассказал ему о нашей беде,

горько пожаловался на страшную несправедливость надзирателя.

Более полувека прошло с того осеннего дня. Более полувека, а в памяти моей до сих пор живет безмерно добрый сердечный человек Котэ Чичинадзе. Я не уверен, что кто-нибудь из наших родных и близких мог бы так понять и приласкать двух отчаявшихся мальчишек, как понял и приласкал нас в тот день старый делопроизводитель кутаисской классической гимназии Котэ Чичинадзе.

Когда я изложил ему всю нашу печальную повесть, дядя Котэ стоял некоторое время молча и смотрел поверх наших поникших голов куда-то за Риони.

— А знаете что, ребята,— сказал он и положил мне на плечо руку.— Давайте зайдем ко мне и пообедаем. Не знаю, как вы, а я умираю с голоду... Пообедаем, а потом сядем и спокойно решим, как вам дальше быть... Сытый человек, братцы мои, намного умнее голодного.

— Мы уже все решили,— сказал Бичоиа.

— Смотри, какой скорый,— усмехнулся Чичинадзе.— Так сразу и сложил оружие. В каком классе учишься?

— В четвертом.

— Что же это такое, парень? Ученик четвертого класса, а истории не знаешь! Стыд и позор! Наверное, у тебя сплошные двойки по этому предмету.

— У него по истории только пятерки, дядя Котэ,— поспешил я на помощь своему товарищу.

— Что-то не верится,— сказал Чичинадзе.

— А вы сперва спросите меня... Посмеяться всегда успеете,— обиженно сказал Бичоиа.

— А что тебя спрашивать,— махнул рукой Чичинадзе.— И так все видно, братец мой. Если бы ты знал историю на пятерку, то не морил бы меня сейчас голодом. В чем тебя обвинили? Подумаешь, поленницу разворошил... Тоже мне преступление. А Георгия Саакадзе, братец мой, знаешь, в чем обвинили? Ни больше ни меньше, как в измене родине. И что же он, по-твоему, сделал? Побежал воровать бельевую веревку, чтобы повеситься? Нет, милый мой, он не побоялся никаких угроз, не отступил перед клеветниками, он сквозь огонь и воду прошел, чтобы доказать свою правду. И доказал. Видите, что нам говорит история? А вы что делаете, мартышки неразумные? Человек сгоряча обидел вас, ну, попугал малость... Так что же! Надо руки на себя наложить! Ну и герои!

— Он сказал, чтобы нашей ноги не было в гимназии,— смущенно напомнил Бичоиа.

— Ну и сказал... Что же из этого... На свете немало людей, которые обожают злые слова. Такого хлебом не корми, но дай попугать кого-нибудь. Эх, да что ваши поленницы? Разбросали и опять сложат. А вот когда богом сложенный мир разрушат, его уже обратно никак не сложишь. Ну, ну, выше голову, мартышки! Никто вас не выгонит. Пошли, братцы, пошли. Перекусим, а то уже в глазах темнеет.

Ласково подталкивая, он довел нас до дверей своего флигеля. Когда мы поднялись по лестнице, на Бичоиа опять что-то нашло — он всхлипнул и хотел повернуть назад.

— Ксеня! — позвал Чичинадзе.— Принимай гостей.

Навстречу нам выбежала женщина, которая только что вопила на балконе как резаная. Ничуть не удивляясь нашему появлению в доме, она взяла у нас шапки и сумки и повела мыть руки. Затем нас посадили за стол и поставили перед нами тарелки с горячим лобио. Взрослые обедали молча, но зато маленькая рыжая дочурка хозяина безостановочно тараторила, стучала ногами под столом и все время норовила бросить в мою тарелку целый стручок красного перца.

Когда женщины убрали со стола, Чичинадзе попросил показать наши тетради по грузинскому письму. Я достал из сумки тетрадь и подал ему. Полистав ее, Чичинадзе громко воскликнул:

— Посмотри, Ксеня, какой у него изящный почерк! В старые времена ему бы доверили переписку «Витязя в тигровой шкуре». Красота!

Я, признаться, смутился — что за красоту он нашел в моих каракулях? Но если дяде Котэ они понравились, бог с ним. Я человек воспитанный и потому молча принял незаслуженную похвалу.

— А теперь посмотрим и в твою тетрадь,— повернулся он к Бичоиа.

Бичоиа тоже удостоился похвалы старого канцеляриста. Правда, не такой, как я, но все же...

Чичинадзе обнял нас обоих за плечи и сказал:

— Богом прошу, помогите мне, ребята. Четыре протокола педсовета надо срочно переписать, а я один никак не успею, если даже до утра просижу. Ну как, мальчики, поможете?

Как тут не помочь?! Другой на его месте сторожа позвал бы, а он поверил в нашу правду и даже обедом накормил. Такому человеку спину не покажешь, мы ведь не свиньи какие-нибудь. А свой приговор мы еще успеем при-

вести в исполнение, до утра времени много, подумал я и украдкой посмотрел на Бичоиа. Видно, после хорошего обеда он тоже не очень торопился накинуть себе петлю на шею.

— Поможем, дядя Котэ,— быстро согласился за нас обоих Бичоиа. Мы отпустили поясные ремни, расстегнули воротники и поудобнее уселись за столом — работать так работать.

Чичинадзе положил перед нами пухлую папку с бумагами и объяснил, что надо делать.

Давно я не читал ничего такого увлекательного, как эти протоколы педагогического совета, в них кипела и бурлила вся наша школьная жизнь со всеми ее горестями и радостями, успехами и провалами, «преступлениями и наказаниями».

К сожалению, я не встретил в протоколе ни одной знакомой фамилии — они рассказывали только о седьмых классах. Лишь однажды в них упоминался мой классный наставник, он требовал, чтобы гимназисты не носили учебников на животе за поясом.... Затем следовал длиннющий список тех, кто тайком курил в уборной... Занятно было читать о том, как семиклассник Лежава сломал глобус в географическом кабинете. Сам Лежава здорово объяснил свой поступок: «Я его и в правую сторону крутил и в левую, а этот чертов Вашингтон куда-то пропал, и все... Вертел, вертел, а двойку заработал. Не выдержала моя душа такого издевательства, ну я и стукнул его кулаком по Северному полюсу...» Некая мадам Рижинашвили преподнесла учителю математики большую корзину с дорогими конфетами и винами, чурчхелами и пирогами. Помимо всего этого была и записочка: «Умоляю, сжальтесь над моим сыном и поставьте ему по алгебре тройку...» Учитель принял подарок и в тот же день переправил его раненым солдатам в кутаисский госпиталь, а сыночку мадам Рижинашвили все же влепил по алгебре двойку. Потом позвал этого ученика и спросил: «Известно ли вам, что ваша матушка преподнесла мне подарок?» — «А как же,— самодовольно ухмыльнулся сыночек мадам Рижинашвили.— Я ей сам подсказал, какие вина вы любите».

Тогда учитель поставил ему единицу по поведению...

А вот ученик седьмого класса Буигишвили изобрел довольно выгодный промысел: он брал в нашей библиотеке книги для чтения и обменивал их в кондитерской Чилингарова на горячие пончики с повидлом.

В другом протоколе была подробно описана драка, которую наши восьмиклассники затеяли в духане «Зайди на ча-

сок» из-за одной заносчивой девчонки по фамилии Агиашвили.

Высунув язык от усердия, я переписывал все эти близкие моему сердцу истории и думал: «Ах, если бы над моей головой не качалась петля, завтра весь класс помирал бы со смеху. Я бы выставил напоказ этого Рижинашвили и его мамочку... А драка с глобусом! Да тут живот надорвешь...»

Наступил вечер, вернулся из гимназии Чичинадзе и зажег в столовой керосиновую лампу.

— Премного благодарен, господа,— сказал он, просмотрев нашу работу.— Обрадовали вы меня. Ну и я вас сейчас обрадую.

Он почему-то осмотрелся по сторонам, потом на цыпочках подошел к книжным полкам, просунул руку между двумя большими томами энциклопедии и вытащил плоскую серебряную табакерку. Он ловко свернул цигарку и, прежде чем прикурить от лампы, смущенно улыбаясь, сказал нам:

— Прячут табак от меня то за книгами, то за комодом. Думают, что не найду. А эта проказница табакерка, стоит мне зайти в комнату, сама голос подает: «Ку-ку, я здесь!» — Он прикурил, жадно затянулся дымом и продолжал: — Я разговаривал с директором. Он тоже считает, что надзиратель слишком строго обошелся с вами. Исключать вас не собираются, а вот дрова придется сложить в поленницу. Порядок есть порядок.

— Сложим, дядя Котэ, еще красивее сложим,— заорал Бичоиа и, схватив свою сумку, бросился к дверям.

— Подожди, сынок,— остановил его Чичинадзе.— Ночь уже, какая сейчас работа. Завтра после уроков всем классом выходите.— Сказав это, дядя Котэ дружелюбно подмигнул нам и спросил: — Ну как, веревка моя больше не нужна?

Совсем обалдев от радости, мы даже не догадались поблагодарить нашего спасителя. У Бичоиа было такое счастливое лицо, будто он только что выиграл у меня мою самую грозную, залитую свинцом биту.

Я тоже, конечно, был вне себя от радости, и все же мне было чуточку досадно, что мы не успели повеситься и не заставили нашего надзирателя биться головой об стену в припадке раскаяния. Более страшной мести для этого бессердечного человека нельзя было придумать.

— Ну, с богом, идите по домам и запомните: всякий раз, когда вам будет плохо, заглядывайте в историю Грузии... А за помощь еще раз большое спасибо.

Чичинадзе сложил переписанные протоколы в новую папку и вышел из комнаты. На другой день до начала уроков Чичинадзе признался мне, что заставил нас переписывать протоколы пятилетней давности. А я, глупыш, думал, что обладаю удивительными тайнами старшеклассников. А этим усатым и уже, пожалуй, семейным дядям было решительно наплевать, что о них сегодня утром насплетничают два сопляка из четвертого класса.

— Ничего умнее я вчера не мог придумать,— посмеиваясь, сказал Чичинадзе.— Вы меня своей веревкой просто с ума свели... Вот и пригодились старые протоколы.

...Красноармейцы вдоволь посмеялись, слушая рассказ Бичоиа. Вскоре поспела картошка. Я развязал свою котомку.

— Чья это арба? — спросил меня Бичоиа.— Разве ты уже не учишься?

Я рассказал ему о своей невеселой жизни.

— Ну и кровосос твой Ермиле,— сказал Бичоиа.— Не надоело тебе у него батрачить?

— Мне жизнь надоела,— сказал я.

— Рановато... Второй раз я за компанию с тобой вешаться не буду. Не видишь разве, какие события в мире происходят?

— Вижу... Вчера один гвардеец положил себе в карман целую арбу с рисом и сахаром. Теперь он кум королю.

— Э-э,— неодобрительно покачал головой Бичоиа.— Твоя песенка мне не нравится. Если ты не очень торопишься к своему Ермиле, посиди со мной немного, потолкуем.

— Куда мне торопиться, я уже поужинал.

— Оставайся, прошу тебя. Арбу отправишь с Валико. Поедешь один? — спросил он моего брата.

Валико было захныкал и отказался без меня ехать, но Бичоиа быстро сломил его сопротивление — он зашел в духан и вынес оттуда плоский германский штык в чехле.

— Хочешь? — спросил он Валико. Моему братишке можно было не задавать такого вопроса, он только сверкнул глазами, повесил штык на пояс и взошел на нашу арбу с таким видом, с каким, наверное, восходили на свои триумфальные колесницы римские цезари.

Снова пошел снег. Крупные тяжелые хлопья быстро покрыли избенки, разбросанные по склону невысокой горы, кучи мусора и навоза в неогороженных дворах, грязные немощеные улицы и проулки.

Спасибо мартовскому снегу, он хоть на пару часов скроет от наших взоров всю нищету и убожество городской окраины.

Спустились сумерки. Кто-то подбросил в костер сухие доски (должно быть, отодрал от прилавка), и они так самоотверженно горели, словно приветствовали ярким веселым пламенем этот обильный снегопад — прощальное мартовское озорство. Время от времени костер выбрасывал быструю, как кузнечик, искру, и она, конечно, попадала не в кого-нибудь, а в меня, самого несчастного, одетого в застиранную, штопаную-перештопаную одежду. Мое тряпье, понятно, легче прожечь, чем, словно литые из железа, шинели товарищей Бичоиа.

С наветренной стороны навес закрыли брезентом, и сразу стало у костра еще уютнее и теплее. Красноармейцы притихли — у такого огня всегда хочется молча думать о чем-то своем. Изредка с улицы доносится трель свистка, тогда Бичоиа мгновенно вскакивает на ноги и исчезает во мраке. Возвращаясь, он стряхивает снег со своей скрипучей куртки, сушит мокрые руки над огнем и, садясь рядом со мной, продолжает давно начатый разговор:

— Ты что, в темном кувшине живешь? Мы сейчас идем раздувать пламя мировой революции. Пролетарии всего земшара должны раз и навсегда сбросить ненавистное бремя капитализма! А ты что в это время делаешь? Как используется твоя молодая сила? Брось ты своего эксплуататора Ермиле Цкепладзе, ну его ко всем чертям! Идем с нами, присоединяйся, дорогой мой Коция, к братской семье Третьего Интернационала. Завтра наш батальон пойдет на Батуми, чтобы выгнать оттуда турецких аскеров. А из Батуми — прямым путем в Индию. Там нас ждут не дождутся наши братья — рабочие и крестьяне. Посадим мы тебя на горячего кабардинского коня, дадим в руки клинок и давай руби, круши буржуазную контру. Ты только представь себе, сколько народов мы освободим, сколько царей сбросим с тронов!

Говоря это, Бичоиа смотрел на меня, но я вдруг понял, что он сейчас не видит ни меня, ни своих товарищей, ни этого костра, ни этой мартовской кутаисской метели — его глаза уже видят заморскую Индию, берега священного Ганга, высокое пламя мировой революции, сжигающее дотла дворцы банкиров и магараджей. Всю ночь говорил со мной Бичоиа, агитировал, убеждал, всю ночь горел костер под навесом у железнодорожного переезда, и от дубового прилавка в духане «Зайди на часок» остались, как говорится,

лишь рожки да ножки. Рассказы Бичоиа о Красной Армии, о мировой революции, о далекой Индии легко покорили мое сердце, полное грез и не написанных еще стихов. Я, не задумываясь, пошел за ним и уже больше назад не оглядывался. Не спросясь родителей, ничего не сказав своему хозяину Ермиле и даже не попрощавшись со школьными товарищами, я на другой день явился в бывшие драгунские казармы на Орпирской улице. Бичоиа велел мне написать заявление и представил командиру батальона. За какие-нибудь полчаса меня записали добровольцем в Красную Армию, а еще через полчаса меня завел к себе в вещевой склад завхоз и выдал выгоревшую гимнастерку, брюки галифе, стоптанные сапоги и старую потертую шинель с оторванным, висевшим на одной ниточке правым рукавом. При этом завхоз рассудительно сказал:

— Ты человек местный, отнеси шинель матушке, она в два счета пришьет этот рукав.

Пришить рукав к шинели я так и не успел — в полдень батальон (около двухсот штыков, две кухни, пять телег и столько же навьюченных мулов) подняли по тревоге. До станции Копитнари мы добрались в сумерки. Здесь долго ждали товарный поезд и только поздней ночью двинулись в сторону Батуми.

В вагоне было холодно, бойцы расстелили на полу прихваченное из казармы сено и легли спать. Я тоже растянулся на сене рядом с Бичоиа, кое-как накрылся своей рваной шинелью и через минуту-другую уже летел в дальние сказочные страны...

Но в те заморские страны меня этот поезд не довез... Путешествие наше длилось недолго, мы и выспаться не успели — через два перегона на станции Саджавахо нас высадили и сказали:

— Меньшевики взорвали мост на Риони. Восстановим его, тогда и поедем дальше, к морю.

Я приуныл, но что поделаешь, я теперь казенный человек, приказ командира мимо ушей не пропустишь, и, затянув потуже пояс, принялся за работу. С утра до вечера мы таскали песок и гравий наверх по крутому рионскому берегу. С утра до вечера без перекуров, с одним коротким перерывом на обед. Я толкал неустойчивую одноколесную тачку-грабарку по узкой каменистой тропинке, увязая в грязи, застревая в ямах и ухабах. Целую неделю мы промучились на этой тропе, пока не подвезли лес и не соорудили дощатую дорогу наверх. Теперь стало немного легче, хотя непослушная грабарка нередко съезжала с узкого на-

стила. Тогда я брался за колесо и, надрываясь, ставил на колею.

Когда мы наконец покончили с мостом, тут же нашли нам другую работу — укреплять правый берег бурной Риони. Начиналось половодье, и река грозила затопить единственную шоссейную дорогу к Черному морю. Мы плели из толстых веток граба огромные фашины, ставили их в излучине реки и засыпали булыжником.

— Скажи мне, Бичоиа, где обещанная Индия, где мой кабардинский конь? — не раз спрашивал я у моего друга, когда вечером после скудного ужина мы как подкошенные валились на соломенную подстилку.

— Какой ты нетерпеливый, Коция! Сначала надо восстановить мосты и починить дороги!.. Иначе как мы дойдем до Индии,— успокаивал меня Бичоиа, и я верил его словам, не мог не верить. Я же видел, как он, наш первый комсомолец, целыми днями таскает тачки с булыжником, плетет фашины, не задумываясь, лезет в холодную рионскую воду, а вечером в тускло освещенной каморке дежурного по вокзалу пишет пламенные статьи о мировой революции для нашей стенной газеты «Красная звезда».

В середине лета батальон перевели в Чаладидские леса на заготовку дров для батумского гарнизона. Вот там, в гнилых болотах Чаладиди, и нашел меня разносчик малярийного яда — комар анофелес. За несколько дней страшная лихорадка так вымотала меня, что я едва ног не протянул. Я метался в бреду и все спрашивал Бичоиа:

— Неужели ты обманул меня? Где мировая революция, Бичоиа? Где мой кабардинский конь?

А Бичоиа сидел у моего изголовья и, выжимая мокрое полотенце, которым только и спасал меня от малярийного жара, шептал над моим ухом:

— Потерпи немного, Коция. Вчера я ездил в Самтредиа, там я нашел одного провизора. Я отдал ему и сахар свой, и табак, а он обещал достать хинин. А хинин, братец ты мой, мертвых на ноги ставит. Ты слышишь, Коция, что я тебе говорю?

— Слышу, Бичоиа. Ты только не оставляй меня здесь, возьми с собой в Индию. Мы там покажем этим магараджам — всю землю у них отберем и раздадим беднякам. Я непременно напишу стихи об Индии. А тебе я подарю цветные карандаши, я помню, ты любил рисовать, и ты, Бичоиа, нарисуешь большую картину «Освобождение Индии от империализма».

Я часами уговаривал Бичоиа взять меня в заморский поход, а когда он выходил из палатки, я закрывал глаза, и мне казалось, что я уже в седле, но мой кабардинский конь скачет не по земле, а чуточку выше, над зеленой травой, чтобы враги не услышали цокота его подков.

Что только не померещится в малярийном жару... Привиделось мне, будто на индийских полях наши ребята с Горы собирают желтую гвоздику. Почему именно желтую гвоздику? Однажды, когда мама готовила сациви, в кухню вошел мой дядя, весьма образованный человек Никифор Болквадзе, и сказал:

— А тебе известно, сестра, зачем открыли Индию? Вот ради этих специй — ради твоей любимой желтой гвоздики и душистого перца.

Мне почему-то запомнились эти дядюшкины слова, и, оказывается, во время болезни я неустанно твердил Бичоиа, что обязательно привезу матери из Индии полпуда желтой гвоздики. Я знал, что лучшего подарка для нее не найду на всем белом свете...

Ах, мама, мама! Она все-таки нашла своего больного сына среди Чаладидских лесов. К этому времени меня по болезни — я едва держался на ногах — уволили из армии. Товарищи устроили мне, самому молодому своему однополчанину, пышные проводы: дали на дорогу две буханки хлеба и немного сахара, устлали телегу войлоком и накрыли меня старой буркой. Мама повезла меня в свою деревню, и самое целебное лекарство — материнские руки вскоре окончательно одолели мою болезнь.

Первое время я очень скучал по батальону, хотя за полтора года службы в нем ни в каких сражениях и великих походах не участвовал, только рубил лес, таскал грабарку и копал землю. Лишь раза два давали мне винтовку и ставили на посту у батальонной кассы.

Так кончилось мое путешествие в заморскую Индию, но не кончилась, а, пожалуй, тогда только и началась моя любовь к людям в красноармейских шинелях, которые несут на своих плечах самую тяжелую и дорогую ношу в мире. Те полтора года навсегда связали меня с Красной Армией, поэтому ровно через двадцать лет я сразу нашел свое место в ее рядах, словно всегда оставался в строю.

1969



(1908—1981)

ЗНАМЕНИТЫЙ ПАВЛЮК

У всех людей бывают какие-нибудь родственники, ну хотя бы дальние. А у Павлюка никого не было. Жил один он в каменном подвале на Можайке.

Я учился у него.

Учиться мне, откровенно говоря, не хотелось. Дело это — жестяночное — мне никогда не нравилось. Но надо человеку учиться чему-нибудь. И я учился.

Мне было восемь лет.

В подвале было темно и душно. Походил этот подвал на пещеру, вроде той, что открыли случайно на каменоломнях у Белого ключа. Но в пещере не было ни окон, ни дверей, ни чистых половиков, сплетенных из разноцветных тряпок. А здесь, в подвале, все это было. И на стенах, всегда потных, висели большие картины Страшного суда.

Запомнилась мне особенно одна, на которой томился грешник, совершенно голый, худой и взлохмаченный, с глазами черными и печальными. Он сидел на широкой сковородке, укрепленной на серых камнях, и малиновые черти с веревочными хвостами сосредоточенно раскладывали под ним огонь.

Удивляло меня постоянно хладнокровие грешника. Заметно было, что худо ему. Огонь раскалял сковороду,

поднимался даже выше сковороды, хватал грешника за ноги, за спину, за коричневую, вяленую кожу, добирался до головы. А он сидел, этот грешник, как ни в чем не бывало — прямой, неподвижный и как будто сконфуженный немножко: вот смотрите, мол, добрые люди, как раздели меня донага и жарят заживо, а я ничего поделать не могу...

Удивлял и печалил меня этот грешник невыразимо. Видно было, что сидит он непривязанный. Ни веревок, ни цепей не было вокруг него. Но все-таки убежать он, должно быть, и не пытался. Не пытался даже спрыгнуть со сковороды. И это больше всего удивляло меня. Однако удивления своего я никогда не высказывал.

Павлюк был мрачный, молчаливый.

Приходил я к нему обыкновенно утром, в половине седьмого. В это время он, умытый уже, сидел на кухне против самовара, пил чай, и щеки его, впалые, покрытые тончайшей сеткой красных жилок, медленно сгорали в синеватом румянце.

Мне было восемь лет, но я знал все на свете. Я знал, как сеют хлеб и как его зарабатывают, как родятся дети и что надо делать, чтобы они не родились.

Знал я также, почему сгорают щеки у Павлюка.

Впрочем, это знала вся улица наша.

У Павлюка была чахотка, и все уверены были, что он скоро умрет.

Доктор Федоров, Аркадий Сергеевич, сказал об этом в разговоре хозяину дома, где жил мой учитель. И хозяин, ласковый, круглый и пушистый старичок, любивший в летнее время ходить по двору в одних кальсонах, стал требовать квартирную плату с жестянщика за два месяца вперед, а однажды потребовал даже за три.

— Взойди ты, ради бога, в мое положение, Андрей Петрович,— говорил при этом хозяин.— Клозеты я обязан чистить? Обязан. Мусор мне полиция велит вывозить? Велит. А где же я денег наберусь на такое в пожилые, преклонные мои года?

Домохозяин говорил слезливо. Можно было подумать, что ему действительно до зарезу нужны деньги. Но никто так не думал. Все знали, почему он выколачивает деньги именно из Павлюка.

А Павлюк как будто и не догадывался.

Высокий, сухой, похожий на птицу без крыльев, он стоял перед хозяином, чуть согнувшись вперед, доверчиво вытянув небольшую голову на длинной, тонкой шее, и, посапывая, молчал.

Хозяин говорил раздраженно:

— У меня ведь, кажется, не какой-нибудь странноприютный дом. Желающих на твое помещение, слава богу, сколько угодно. Я хоть сейчас могу его сдать. Все время ходят разные лица, спрашивают...

И на этот раз хозяин говорил чистую правду.

Желающих въехать в подвал было действительно много. Главное, что помещался он у самого базара. Целый день народ шумел и толпился против окон его.

Площадь базарная считалась центром города.

А город наш, хотя и небольшой, но суетливый, деятельный, издавна славился базаром, на котором можно продать и купить что угодно, вплоть до птичьего молока.

Продавцы и покупатели приезжали на этот базар со всей губернии. И любой мастеровой со смекалкой мог здесь делать большие дела.

В подвал Павлюка с удовольствием въехал бы и портной и сапожник, и жестянщик, и даже лавочник.

Правда, раньше, года три назад, на подвал этот, говорят, было мало охотников. Весь он был завален бурым камнем, битым стеклом, гнилыми балками и дохлятиной. В зимнее время народ с базара запросто забегал в этот заброшенный подвал за нуждой, как будто так и надо.

Потом появился Павлюк. Хозяин с радостью сдал ему подвал по дешевке. И Павлюк два месяца только тем и занимался, что вытаскивал из подвала мусор и гнилье, камни и разную гадость.

Вскоре он привел откуда-то старичка плотника, и тот за недорогую плату настелил полы, прорубил два больших окна и навесил новую, тяжелую дверь с секретным запором, который изобрел Павлюк.

Года три жестянщик потратил на всякое обзаведение, вкладывал почти весь заработок в инструмент. Покупал по сходной цене тиски, молотки, зубила, дрели и другие разные вещи, до крайности необходимые мастеровому человеку. Приценивался, рядился, голодал, кряхтел, таская листы железные, и проволоку, и чугунные чушки в нору свою темную. Украшал эту нору, белил и красил огненной краской — охрой.

Устраивался на годы.

И вот теперь, когда устроился он по-настоящему, когда одной белой жести, очень ценной, наготовлено листов, наверно, двести да проволоки всяческой пудов, может быть, двадцать, ему надо было умирать непременно. Непременно надо было умирать.

Все думали, что умрет он через месяц, ну, в крайнем случае, через два. Уж больно высох он, выгорел. Передвигался осторожно, тяжело дыша. Не проживет он больше двух месяцев ни за что.

А хозяин требовал деньги вперед за три месяца и говорил огорченно:

— Я же не неволю тебя. Как хочешь. Не нравится? Можешь съехать. Хотя мне будет жалко. Мужик ты добродушный, не злой. Я таких, откровенно сказать, люблю.

Во дворе росла трава. По двору ходили куры. И хозяин, разговаривая, отгонял их ногой, будто не желая, чтобы они слушали его разговор с жестянщиком. Но вдруг большой красноголовый петух, взъерошив перья, кинулся к хозяину.

— Ах, какой герой! Ах, какой военный! — ударил его туфлей хозяин.— А что, ежели я завтрашний день скушаю тебя, дурака, за твою смелость, а? Что ты мне скажешь тогда?

Павлюк стоял, переминаясь с ноги на ногу, и долго молчал. Я смотрел на него из окна. И мне слышно было, как он сказал наконец:

— Ну ладно, отдам. Воля ваша.

— Вот и спасибо тебе, пожалел ты меня, старика! — опять слезливо и обрадованно сказал хозяин и быстро пошел к себе в квартиру, странно семеня короткими ножками и почему-то пугливо оглядываясь по сторонам, будто кто-то собирался и его ударить, как он ударил петуха.

А когда исчез он из виду, перед жестянщиком появился, точно вырос из земли, извозчик Хохлов.

— Это что ж такое? — спросил он Павлюка.— Опять с тебя деньги взыскивает? — И мотнул головой, обросшей курчавой овчиной, в сторону квартиры хозяина.— Вот совесть какая у людей. Отдай ему, значит, деньги за три месяца вперед, а человеку, может, через неделю помирать придется. Как тут рассуждать?

Павлюк молчал.

Извозчик, выразив ему свое сочувствие и отсоветовав платить деньги вперед, постоял еще минутку перед ним, раскуривая трубку. Потом сказал:

— Мне говорили, вроде ты самовар продаешь. Правда, что ли?

— С чего это взяли? — спросил Павлюк.

— Да, так, говорят. Знаешь, как болтают?

Павлюк ничего не ответил, пошел в подвал. Хохлов посмотрел ему вслед и молвил обиженно:

— Гордый ты, ей-богу. Гляжу я на тебя...

Но Павлюк ничего не ответил и на этот раз. Ушел в подвал.

Из подвала он выходил теперь все реже и реже.

А когда он долго не выходил на улицу и не слышно было шума жести, перетаскиваемой с верстака на верстак, душераздирающего скрипа ее и молоточного стука, люди почасту останавливались у подвала, прислушивались или просто наклонялись над низкими окнами и заглядывали в мутное стекло: уж не помер ли Павлюк?

Нельзя сказать, чтобы люди желали его смерти, нетерпеливо ждали ее прихода. Нет. Большинство людей нашей улицы любили Павлюка. Многие уважали его за кротость характера, за доброту и за мастерство, несравненное в своем роде. Многие сердечно жалели его, говорили:

— Ведь какой, посмотрите, мужик двужильный! Непонятно, в чем душа держится, а все работает, стремится. Жалко смотреть даже.

Но всякому человеку, собравшемуся жить бесконечно, было обидно уступить соседу законную часть имущества на неизбежном дележе после смерти одинокого жестянщика. И всякий хотел знать поэтому: когда же умрет Павлюк?

Это необходимо было знать, чтобы раньше всех поспеть к дележу.

Впрочем, может быть, дележ и не состоится. Жадная полиция растащит все сама, потому что ей полагается хоронить безродных и быть единственной наследницей их имущества. Очень просто может случиться, что все достанется полиции. А жаль...

Яшка Новосильцев, известный всей нашей улице как гармонист и алкоголик, прямо так и сказал Павлюку:

— Все равно ведь в могилу не потащишь тиски американские. А я бы тебя поминал. Вот даю слово. Продай...

Павлюк сказал ему:

— Слушай, Яша. Иди ты... знаешь куда?

Яшка ушел. Но через день наведался снова. И Павлюк снова обругал его.

Павлюк велел мне теперь запирать двери даже днем на секретный засов, чтобы лишних посетителей не было. Осточертели они бог знает как. Все один и тот же разговор: продай, уступи... И каждый надеется, что жестянщик скупиться не будет, уступит по дешевке любую вещь — на что ему теперь вещи?

Павлюк приказал мне:

— Никого не пускай.

Но разве можно не пускать? Другой идет как заказчик.

Например, парикмахер Хинчук принес машинку для стрижки волос, просил починить, а потом, как будто нечаянно, потрогал пальцами пальто на вешалке и попросил, точно в магазине:

— Дай примерю...

— Да вы что, сдурели, что ли, на самом-то деле? — спросил Павлюк. И схватил с верстака деревянный молоток, называемый киянкой.— Я ж не помер еще, слава тебе господи...

Парикмахер попятился к дверям. Но в дверях он все-таки остановился и еще раз пальцем показал на вешалку.

— Это ж зимнее пальто. Неужели ж ты и зимой будешь существовать?

Павлюк приказал мне:

— Открой ему дверь, ради создателя. Или я приму на свою душу тяжкий грех.

И Павлюк, я думаю, наверняка принял бы этот грех на свою душу, если б парикмахер не успел выпрыгнуть за дверь.

У Павлюка тряслись руки.

Я впервые видел его в таком состоянии.

Подойдя к верстаку, он долго не мог развинтить тиски, ворчал что-то, кряхтел. Потом развинтил тиски, немного успокоился и спросил:

— Видал идиота? А? — Вздохнул. Вытер пот со лба.— Машинку он принес мне починить. Да что я им, машинист, что ли? Я жестянщик, сучьи души...

И замолчал.

Я тоже помалкивал, потому что ясно было — ко мне этот разговор не имеет никакого отношения.

Павлюк часто разговаривал сам с собой. Со мной он говорил только о работе и всегда коротко — два-три слова. По имени он меня никогда не называл, а говорил просто «мальчик»:

— Мальчик, согрей паяльник.

Но смотрел при этом не на меня, а куда-то в сторону. Объясняя мне что-нибудь — например, как надо загибать уголки,— он тоже никогда не смотрел на меня и говорил таким голосом, точно в подвале, помимо нас двоих, присутствуют еще человек двадцать, которым тоже необходимо знать, как загибают уголки.

Рассердившись на то, что я, посланный за чайной колбасой, долго пробыл в лавочке, он выговор делал не мне, а кому-то третьему говорил:

— Ходить надо веселее.

И спрашивал:

— Слышишь?

Я молчал, потому что ясно было — не меня он спрашивает.

Меня, должно быть, он просто не замечал. Но мне это не казалось обидным. Напротив, эта невнимательность, пожалуй, даже возвышала учителя в моих глазах.

Мне всегда казалось, что он занят важными мыслями, что он носит в себе какой-то страшный секрет и думает постоянно об этом секрете.

В мыслях своих он, может быть, спорил с кем-то. И иногда говорил вслух:

— Ка-акая глупость!

Или:

— А ты как считаешь?

Можно было подумать, что он спрашивает кота, который по утрам всегда сидел на подоконнике и мучился бессонницей — то медленно закрывал глаза, то вдруг, вздрогнув по-человечески, открывал их и удивленно смотрел на Павлюка.

Павлюк, улыбнувшись невесело, спрашивал его:

— Не узнаешь?

И, ласково потрепав кота по морде, продолжал работать.

А кот снова закрывал глаза. Днем ему полагалось спать, потому что ночью он ловил мышей, которых в подвале было великое множество.

Один раз он поймал даже крысу. Она сильно искусала ему морду, но он все-таки задавил ее.

Павлюк наутро мазал ему морду вазелином и говорил, веселясь:

— Ай, Антон, ай, Антон! Молодец, красавец...

Похоже было, что гордится котом так же, как и своей работой.

Однажды я слышал, как старушка Захаровна просила Павлюка:

— Нельзя ли вашего кота к нам на побывку? На ночку хотя бы. Пусть бы наших мышей попугал. Ужас что делается!

Павлюк сказал:

— Нельзя. У него своей работы дома хватает.

И к коту он действительно относился как к работнику. Как человеку, он говорил коту:

— Скучаешь, Антоша? А? Женить бы тебя хорошо.

Антон сидел на подоконнике и, точно смущаясь, щурился.

А Павлюк улыбался грустно. Потом говорил:

— Иди промнись. Чего же сидишь, как сыч?

И открывал ему дверь.

Антон выходил на крыльцо, вытягивал свое длинное, резиновое тело и скреб лапками каменную ступеньку — точил когти. А когти у него были длинные. И весь он был, от морды до хвоста, большой и сильный, породистый сибирский кот.

— Благородный,— говорила про него Захаровна.— Ишь какую морду наел! Чисто околоточный надзиратель Мельников Василий Васильевич.

В последнее время она часто стала прикармливать его. И всегда выносила ему в жестяной банке из-под консервов деликатный продукт — молоко, разбавленное отварной водой, щи мясные или ошурки от сала.

Молоко Антон пил с особенным удовольствием, ласково ворчал, медленно шевеля хвостом, но на руки к старушке не шел.

А когда Захаровна однажды пыталась переломить его непокорный мужской характер и употребила силу, чтобы привлечь его барственную морду к своей груди, кот жестоко оцарапал ей руку и, спрыгивая на землю, ударил ее хвостом по носу.

— У, Июда! — гневливо сказала Захаровна.— Это как же ты о себе думаешь? А? Это куда же ты пойдешь, ежели хозяин твой помрет? Ко мне ведь и пойдешь, бессовестный. Я тебе буду тогда — желаешь, не желаешь — полная хозяйка...

Захаровна в гневе и злорадстве своем даже ростом становилась выше.

Но Павлюк, должно быть, и не собирался помирать.

Как всегда, по утрам он кроил на верстаке длинные листы белой жести или кровельного железа, и мы делали из них чайники, судки и ведра, самоварные трубы, умывальники, железные печки.

Железные печки он делал почему-то с особенной охотой, даже с удовольствием. Иногда пел при этом тихим, дребезжащим голосом, и щеки его пылали с пугающей яркостью.

А песня у него была одна и та же — про каторжника Лонцова.

Было это давно. Очень давно. Я объехал после того десятки городов, видел разных людей, слышал разные песни. Но и сейчас, если закрою глаза, я снова услышу песню, которую дребезжащим голосом пел Павлюк.

И мотив услышу и слова:

Гремит звонок насчет поверки.
Лонцов задумал убежать.
Не стал он ночи дожидаться,
Проворно начал печь ломать...
...Казак на серенькой лошадке
С докладом к князю поскакал.
— Я к вашей светлости с докладом —
Лонцов из замку убежал.

Павлюк, казалось, радовался побегу этого неустрашимого, неуловимого Лонцова и, вспоминая храброго человека в песне, песней этой будто угрожал кому-то и жил веселее.

Песня возбуждала его. А может быть, работа возбуждала. И из работы возникала песня, украшавшая жизнь.

Передвигался он от верстака к верстаку так же осторожно, как всегда, точно боясь расплескать в себе что-то сосчитанное до последней капли — дорогое, драгоценное.

Но когда он пел, движения его становились более быстрыми, как бы отчаянными. И в это время мне всегда казалось, что вот сейчас, сию минуту, он ударит еще раз молотком по железной кромке, вздрогнет, упадет и умрет моментально.

Пот выступал у него на лбу крупными, блестящими каплями. Все лицо становилось влажным и красным, будто он только что вышел из бани, из парного отделения. На шее, около кадыка, набухала большая синяя жила.

А он все пел и работал, выпрямляя железный лоскут, скручивая его и изгибая всячески до тех пор, покуда холодное железо, согретое только прикосновением горячих человеческих рук, не принимало наконец нужную форму — затейливый профиль ножки, трубы или печной дверцы.

Железные печки он делал лучше всех жестянщиков города. Лучше Кости Уклюжникова и, пожалуй, лучше даже Павла Дементьевича Линева.

Печки у него получались на редкость красивые, легкие и высокие, на фигурно изогнутых ножках.

У них были не только специальные поддувала, но и полки, небольшие, на которых можно было сушить мелкую рыбу, грибы и хлебные куски, чтоб они не залеживались.

В спинках печек пробивались отверстия для кастрюль и сковород. И к ним сделаны были крышки, круглые, с выдвижными ручками в виде бантиков.

В летнее время, когда невыгодно топить плиту или русскую печь, небогатые семьи готовили свой обед на железных печках, вынесенных во двор. И спрос на эти печки был всегда велик.

Павлюка заваливали заказами. Даже из деревень, из тайги приезжали к Павлюку.

И на дверцах каждой печки, в том месте, где положено быть дырочкам, он выбивал семь некрупных букв: «П а в л ю к ъ».

Я спросил однажды:

— Это зачем же буквы, Андрей Петрович?

— Это ж фирма, чудак! Павлюк — мое фамилие...

И так постоянно он выбивал эти буквы.

Жить ему осталось, может быть, очень немного. Говорили, что он не доживет и до зимы.

А начиналась осень, шли дожди. В подвале становилось уже совсем пасмурно.

Было трудно работать в этаких постоянных сумерках. И поэтому даже днем мы зажигали лампу.

Лампа вечно чадила. Сквозь зеленое закопченное ее стекло пробивался тусклый свет. Огонек мигал, и в мигании его, мне казалось, начинает наконец шевелиться до невозможности измученный грешник на картине «Страшный суд». Пламя лижет его, хватает за выпуклые ребра, за голову косматую, и лицо искажается в смертной муке. Худо ему, грешнику, на сковороде. И, наверно, так же худо, думал я, будет учителю моему, когда умрет он и его призовут на страшное судилище.

О себе же, о смерти своей, я тогда не думал. Я думал о Павлюке. «Как же так? — думал я.— Человек знает, что скоро помрет, перед глазами у него ужасные картины, а он не тужит и не вздыхает даже...»

И Павлюк действительно не часто вздыхал при мне.

Бывал он ровен в поведении своем и весной, и летом, и осенью. По-прежнему принимал заказы, работал. И во всем придерживался, как и раньше, строгих правил, ни разу не изменив им и их не изменив.

На стене у него висели большие, в деревянной раме, часы фирмы «Павел Буре», со звоном. Заводил он их по гудку со спичечной фабрики «Олень». И утром, когда спичечники шли мимо окон его на работу, он, уже разбуженный гудком и попивший чаю, начинал резать жесть.

Делал он это почти торжественно, неторопливо и шевелил при этом губами, будто читал молитву.

Голову его украшала затейливая прическа «бабочка». Волосы, седые и влажные, чуть топорщились и поблескивали. И временами казалось, что на голове у него не прическа, а шапочка из белой жести, плотно пригнанная к черепу.

Брезентовый пиджачок и штаны, тоже брезентовые, были всегда аккуратно проглажены и такие чистые, точно он каждое утро ждал, что кто-нибудь придет проверить, в каком виде он работает. Но никто, кроме заказчиков и соседей, раздражавших его, не приходил.

Впрочем, в последнее время и соседи стали заглядывать редко.

В подвале было пасмурно и тихо.

Павлюк, нарезав жесть, слегка плевал на пальцы и брал киянку. С этого момента работа у него шла быстрее. И я, подкрашивая готовые ведра, тоже невольно начинал торопиться.

В половине двенадцатого на спичечной фабрике ревел гудок.

Павлюк неохотно прекращал работу, смотрел на часы. Иногда становился на табуретку и подводил их, если они отставали, потом смотрел на себя в зеркало, висевшее тут же, около дверей, поправлял жиденькие, нитяные усы и говорил, беседуя с самим собой:

— Ну что ж... Имеем право пообедать.

На кухне стоял узенький столик, покрытый рыжей клеенкой. Павлюк каждый раз перед обедом поливал ее водой из чайника и протирал тряпкой. Потом ставил на нее проволочный кружок и вынимал из печки чугунок со щами.

Большую русскую печь он топил и летом, потому что ему и летом было холодно. Один раз он сказал, так же как всегда, ни к кому не обращаясь:

— У воробья и то, пожалуй, крови-то побольше, чем во мне. Потому и зябну.

Щи и кашу он варил с вечера. Постоявшие в печке всю ночь и полдня, они аппетитно пахли. Гречневая каша становилась малиновой и рассыпчатой.

После обеда я доставал из узелка, принесенного с собой, пучок моркови и съедал ее за один присест.

Бабушка моя говорила:

— Морковь кровь наливает, черемша заразу прогоняет, а чеснок от заразы бережет и к тому же идет для аппетита.

Мне чеснок для аппетита не требовался. Черемша мне не нравилась. А морковь я любил и верил, что она наливает кровь.

Глядя на Павлюка, я мог видеть, как плохо человеку, когда в нем мало крови. И я каждый день наблюдал, как кровь все усыхает и усыхает в этом человеке.

— Вот бы вам, Андрей Петрович, морковь есть. Она ведь сильно помогает,— осмелился сказать я однажды.

Павлюк посмотрел на меня почти весело и сказал, будто пожалев меня:

— Эх, мальчик! Никакая морковь меня уж теперь не спасет. Нет, не спасет...

И, склонившись над столом, помотал головой.

Больше мы на эту тему не разговаривали.

А он не только не ел морковь, но и щи и кашу ел в последнее время неохотно, словно по обязанности.

Иногда, правда, на него вдруг нападал аппетит. Он съедал все торопливо и жадно. Наевшись, собирал в ладонь со стола крошки и проглатывал их тоже, широко раскрыв рот и закинув голову.

Но чаще аппетита не было у него. Он сидел за столом, скучный и вялый, и видно было, что он ждет, когда я наемся, чтобы прибрать посуду.

После обеда меня всегда клонило ко сну. «И Павлюку,— думал я,— наверно, тоже хочется спать». На улице дождь, тоска. Хорошо уснуть в такую погоду, на полчасика хотя бы забыться.

Но Павлюк, пообедав, шел к верстакам — работать. И я шел за ним.

Железные печки он делал как раньше, с видимым удовольствием. Но петь при этом уже не мог. Внутри у него хрипело что-то и посвистывало. Петь, должно быть, он никогда уж не смог бы.

Даже с котом он разговаривал теперь не часто. А когда говорил, как обычно, с самим собой, понять не всегда было можно, о чем он говорит.

Иногда я все-таки улавливал отдельные слова. Но смысл этих слов был туманным.

Непонятно было, о чем думает этот человек, на что надеется.

А ведь, похоже, надеется на что-то...

В углу на тумбочке стоял граммофон с огромной изогнутой трубой. Павлюк купил его на барахолке по частям. Сам собирал эти части, изготовил трубу. И теперь граммофон пел в тоскливые осенние дни про любовь:

«Бе-е-ело-ой ака-ации гроздья душистые-е вновь а-арома-а-том, арома-а-том полны».

Пластинок было только две — «Белая акация» и «Шумел, горел пожар московский».

Однажды Павлюк поставил эту вторую пластинку, хотя она ему нравилась меньше, чем первая.

На дворе, как обычно во все эти дни, шел некрупный, нудный дождь.

Дождевая пыль вместе с грязью залепляла наши окна. На стене у нас горела лампа в фонаре «летучая мышь».

А Наполеон, виденный мной у бабушки на комоде, печально и певуче-дребезжащим, как у Павлюка, голосом спрашивал из граммофона:

За-че-ем я шел к тебе, Росси-и-йя,
Евро-о-опу-у всю держа в руках?

И мне в эту минуту было жалко французского императора как себя. В такую слякотную погоду погнал его черт неведомо куда и бог знает зачем...

Вдруг кто-то постучал в окно.

Павлюк остановил граммофон, убавил фитиль в лампе, подошел к окну. Со двора, прижавшись к мокрому стеклу, смотрела на него рыжеусая, багровая морда лавочника Варкова. И лавочник кричал:

— Продаешь граммофон-то? А?

Павлюк хотел не то плюнуть, не то сказать что-то, но ничего у него не получилось.

Он только качнул головой, как деревянный паяц на веревочке, и кашлянул в стекло.

Поглядев на него, я встревожился: до какой же, значит, степени ослабел он, обессилел и устал навсегда...

Подойдя потом к верстаку, он взял киянку, погладил ее зачем-то и сказал, должно быть, коту, сидевшему на верстаке:

— До чего дешевые люди бывают на свете! Обидно подумать даже...

И больше ничего не сказал. Стал собирать инструмент.

Инструмент после работы он всегда сам вытирал прокеросиненной тряпкой и развешивал на стене, в кожаных петельках, прибитых гвоздями. Потом приносил из сеней широкую корзину и складывал в нее железные обрезки. А я подметал пол.

Павлюк говорил:

— Чистота возвышает человека. Это имей в виду...

Но чаще он молчал. И молча делал все, что надо. Он даже кашлять старался негромко.

В подвале становилось все тише и тише.

И в тишине, будто царапая по сердцу, визжала жесть, когда ее резали, да гремел по жести деревянный молоток.

Павлюк передвигался все осторожнее, все боязливее. Щеки его теперь не пылали, они потемнели, стали землистыми, серыми. Глаза запали глубоко-глубоко. При свете лампы они горели в глубине, как дорогие камни.

А дождь все лил, лил.

У Павлюка, как в начале нашего знакомства, пошла кровь горлом. Он бережно сплевывал ее в стеклянную баночку и туго завинчивал жестяную крышку, чтобы не распространять заразу, как объяснил он мне.

Обедал я теперь один, а учитель мой только сидел за столом, делая вид, что обедает. Есть он, должно быть, уже не мог. Но все равно в положенный час, услышав обеденный гудок со спичечной фабрики, прекращал работу и вынимал из печки щи и кашу.

И вот однажды, когда он ставил на стол чугунок со щами, в дверь постучались, и вошли двое — Костя Уклюжников, известный в нашем городе жестянщик, и с ним еще неизвестный паренек.

Павлюк очень удивился этому визиту. Костя Уклюжников к нему раньше никогда не ходил. Встречались только на базаре, в скобяном ряду, где продают изделия и железный материал. И вдруг Костя пришел на квартиру, да еще с товарищем. А зачем?

— Просто так,— сказал Костя.— Шли мы мимо. Дай, думаю, зайдем к знакомому, наведаем его. Говорят, прихварываешь ты, Андрей Петрович?

— Какое там прихварываю! — улыбнулся Павлюк.— Отхворался уж...

— Поправляешься, что ли? — спросил Уклюжников.

— И не поправляюсь и не хвораю,— сказал Павлюк.— Одним словом, отхворался вчистую...

— Непонятный ты мне человек, Андрей Петрович,— признался Костя.— Очень скрытный у тебя характер. А я как раз подумал: может, помощь какая тебе нужна, может, в чем-нибудь я тебе пособить могу. Мы ведь все-таки знакомые давно и тем более — одного ремесла...

— Одного — это правильно, одного ремесла,— согласился Павлюк. И как будто обрадовался даже, уцепившись за эти слова.— Но помогать мне теперь уже ни к чему. Ни к чему мне помогать. Я скорей тебе помогу. Вон у меня

жесть остается, сколько жести хорошей. Если хочешь, возьми, уж раз пришел...

Костя так обиделся, что даже встал со стула.

— Да разве я к тебе за этим шел? Как тебе не совестно, старый ты человек! Я с добрым словом к тебе шел, а ты мне такое... Что я, барышник разве какой?

Павлюк растерялся. Он не знал, должно быть, что сказать, и долго молчал. А когда Костя и его товарищ пошли к двери, Павлюк загородил им дорогу.

— Ты пойми меня,— попросил он Костю.— Я тоже ведь к тебе с добрым сердцем. Ты мастеровой, хороший человек, я это знаю. И ты правильно сказал, мы люди одного ремесла. А у меня жесть остается. К чему мне она? Не гроб же мне ею обивать...

— Да при чем тут разговор о гробах! — будто возмутился Костя.— Тебя, дьявола, еще палкой не убьешь. Ты еще и мне глаза закроешь в случае чего, несмотря, что я моложе тебя...

И Костя засмеялся вдруг, как в театре, очень громко.

— Нет уж, Костя, нет,— сказал Павлюк.— Это как по закону — не взойти солнцу с западу, не бывать дважды молоду. Я сам чувствую, не тот уж я. Не такой. Благодарствую тебе на добром слове, что ты меня еще сильным считаешь. А жесть возьми. Не обижайся. Мне приятно будет, ежели ею мастер воспользуется. Мне приятно будет. Я тебе это твердо говорю. И еще чего хочешь возьми. Я сейчас тут как в магазине живу. Продажа, однако, без денег...

Но Костя Уклюжников ничего не взял, даже не притронулся ни к чему. Посидел еще часок, потолковал о всяких мелких делах и ушел, пообещав зайти на днях.

А вечером в тот же день пришел Павел Дементьевич Линев, тоже жестянщик.

Про Линева моя бабушка говорила шепотом, что он социал-демократ. Я тогда не знал, что это значит. Но видел, как все, что Павел Дементьевич ходит очень чисто, носит даже галстук бантиком под названием «собачья радость» и в воскресенье прогуливается по берегу в котелке и с тросточкой.

Я однажды встретил его на берегу, поздоровался вежливо и, когда он поднял котелок, чтобы поздороваться со мной, спросил, правду ли говорят, будто он социал-демократ.

Я, конечно, не ожидал, что он вдруг весь вспыхнет. Но он действительно вспыхнул и сказал мне немного погодя с печальной улыбкой:

— Очень жаль, что отец твой рано помер. Крайне жаль. Некому тебя пороть как следует. А то бы ты не задавал таких вопросов...

Я так и не узнал в точности, был ли Павел Дементьевич социал-демократом. Но в памяти моей он сохранился хорошим человеком, особенно после того, как вечером он пришел к Павлюку. Пришел с другого конца города, в проливной дождь.

Павлюк задержал меня в этот вечер на работе, чтобы пересчитать и переписать все заказы, уже сданные, и все, какие надо было сдать. И вот когда мы выяснили, что заказов невыполненных почти нет, а есть только не выданные заказчикам две печки, шесть ведер и кожух для кипятильника, и, когда я уже собрался уходить, пришел Павел Дементьевич Линев, весь мокрый от дождя, хотя и с зонтиком.

Поздоровавшись, он начал кашлять, сказал, что простудился от сырости, и сообщил, что на примете у него есть хороший доктор, который берет недорого, и очень было бы неплохо, если б этот врач посмотрел Павлюка.

— Поздно уж меня смотреть,— улыбнулся невесело Павлюк.— Поздно, Павел Дементьевич. И ни к чему. Нету смысла...

— Ну, не скажите, Андрей Петрович,— возразил Линев.— Сейчас есть очень хорошие лекарства. И если вы согласны, я вместе с вами могу сходить к врачу. Это тут недалеко, на Извозчичьей горе. Кукшин, доктор. По всем внутренним болезням...

— Поздно,— опять сказал Павлюк.

Но говорил он это так, что можно было подумать, будто он только упрямится, а на самом деле еще совсем не поздно.

После прихода Кости Уклюжникова и особенно после разговора с Павлом Дементьевичем Линевым Павлюк как будто посвежел, как будто приободрился.

— Хороший у нас народ,— почти весело сказал он, проводив Линева.— Хороший, совестливый, чувствительный. Среди хорошего народа живем...

Говорил он это, как всегда, самому себе, по-прежнему не замечая меня. Но я все-таки вмешался в этот его разговор с самим собой и сказал:

— Ну да. Очень хороший! Все только приглядываются, прицениваются: отдай, уступи, продай по дешевке...

— Эх ты, голубь! — вдруг засмеялся Павлюк и потрогал меня за плечо. В первый раз потрогал по-свойски.— Это ты

про кого говоришь? Про Варкова? Про Хинчука? Это, брат, еще не народ. Эти только живут около народа. Народ — это мастеровые, у кого ремесло в руках и кто необходимое дело делает. Вот это называется народ...

Помолчав, походив с довольным видом по подвалу, он, как здоровый, улыбнулся весело и сказал:

— Хорошего народу больше на свете, чем плохого. А если б было наоборот, ничего бы не было. Ни паровозов, ни пароходов. И даже каменных домов трехэтажных не построили бы...

Никогда еще Павлюк не был таким веселым, как в этот вечер. И утром еще на другой день он был веселый.

А к вечеру следующего дня вдруг опять увял, нахмурился, стал зябко втягивать голову в плечи.

После работы он, как обычно, собрал инструмент, перетер его прокеросиненной тряпкой, велел мне подмести пол и, когда я подмел, сказал:

— Завтра не приходи.

Я спросил:

— Почему?

— Потому,— сказал он угрюмо.— Я помру завтра.

Я не очень удивился, но немного растерялся все-таки. И сказал растерянно:

— Ну, покамест до свиданьица, Андрей Петрович.

Позднее я много раз вспоминал эту глупую фразу.

Мне казалось позднее, что я мог бы сказать на прощание какие-нибудь более значительные, более умные, душевные слова. Я любил и уважал моего учителя, несмотря на мрачность и молчаливость его.

Я, конечно, смог бы придумать на прощание что-нибудь хорошее.

Я позднее и в самом деле придумал неплохие, торжественные слова.

А тогда я, к сожалению, ничего больше не сказал. Неловко поклонился, не глядя на учителя, и пошел торопливо на лестницу, под дождь. Но Павлюк остановил меня:

— Выбирай какой хочешь инструмент. Бери на счастье. Будешь жестянщиком.

Я помотал головой, сконфузился, сказал:

— Спасибо.

И опять пошел на лестницу. Но Павлюк остановил меня опять:

— Выбирай чего хочешь из вещей. Граммофон бери.

Но тут вдруг непонятный страх обуял меня. Я ничего

не взял, даже «спасибо» не сказал в третий раз, как надо бы сказать, и ушел поспешно, не оглядываясь.

После я очень горевал, что не взял ничего. Надо было бы мне унести домой хоть кота Антона. Дома у нас мышей было много. Пусть бы он их половил. И на память бы у нас остался. Мы жалели бы его.

А то достался кот старушке Захаровне. Она, конечно, сейчас же прибрала его к рукам. Два раза, как я слышал потом, отстегала его солдатским ремнем за непокорность. Но он все равно жить у нее не стал, несмотря на молоко, убежал куда-то.

Все имущество Павлюка забрала, как полагается, полиция. Говорят, он завещал отдать его вещи в детский приют, где и сам воспитывался когда-то как «казенный мальчик». Но отдали их или нет — этого я не знаю.

Я не знаю больше ничего из истории учителя моего, замечательного жестянщика Андрея Петровича Павлюка.

На похороны его я не ходил. Да и похорон настоящих не было.

Просто и тихо, ранним утром, часов, может быть, в семь или в половине восьмого, тело его, говорят, положили на телегу, в желтый полицейский короб, и увезли прямо в мертвецкую, где лежали, наверно, десятки таких же безродных, никому не интересных мертвых людей.

В детстве я часто вспоминал Павлюка. Судьба и смерть его мне представлялись обидными. Я ни за что не умер бы так просто. Я сделал бы что-нибудь особенное, сказал бы хоть что-нибудь громкое, необыкновенное перед смертью. Какие-нибудь хватающие за душу слова.

Но так казалось мне в детстве, в раннем детстве, лет до десяти.

Потом началась гражданская война.

Нас, мальчишек, война эта быстро сделала взрослыми. Она открыла перед нами сразу такие житейские глубины, на познание которых в другое время пришлось бы истратить, может быть, не один десяток лет. Может быть, два десятка, может быть, три.

Я встречал еще много людей не хуже Павлюка. И я любил и уважал их не меньше. Я видел, как жили они. И видел, как умирали.

Умирали они удивительно просто, не домечтав и не доделав многих дел своих, не истратив всей заложенной в них энергии и, казалось, даже не успев пожалеть об этом.

Я помню огромные могилы у Зрелой горы. Их рыли в полдень, в дикий мороз, через час после боя.

Земля дымилась, извергая пахучее тепло из глубин своих. И в тепло это, в темную талую жижу, торопливо укладывали без гробов, друг на друга, сотни мертвых людей, еще час назад носивших оружие, веселившихся, грустивших, мечтавших.

А отряды, похоронившие мертвецов, шли все дальше и дальше. И движение их было бесконечно, как жизнь.

Павлюк угасал в моей памяти.

В ряду больших и признанных героев, увиденных мной, он, казалось, не мог найти себе места. Ведь он ни о чем не мечтал и ничего как будто не добивался. Он так бы и остался жестянщиком.

Величественные дела заслоняли его. И каждый день был полон новыми событиями.

Я жил очень быстро. И очень быстро сменялись мои увлечения.

Мне хотелось быть то знаменитым полководцем, то художником, тоже знаменитым, то писателем, равного которому еще не было на земле, то хирургом.

По-мальчишески мне хотелось выбрать дело самое большое, самое интересное. А лет мне было шестнадцать. И весь мир был доступен мне.

В необъятном мире я мог выбрать любое дело, необъятное.

Но вдруг случилось несчастье.

В Оловянной пади, что лежит в семидесяти километрах от нашего города, в бою с бандитами мне прострелили правый бок. Я упал в снег.

«Вот и вся твоя мелкая жизнь, суслик,— думал я о себе, лежа в снегу.— Вот и вся твоя жизнь».

Потом меня подняли и унесли в лесную сторожку.

Около меня суетился мой товарищ. Он перевязывал меня и говорил:

— Погоди минутку, я сейчас сбегаю за дровами.— И еще раз сказал, уходя: — Погоди.

Будто просил не умирать до его прихода.

Но мне было очень плохо. На сторожку надвигалась ночь.

Я лежал и думал о смерти.

Где-то слышал я, что бывает заражение крови, от которого неизбежно умирают. Мне казалось, что оно уже начинается у меня. «Я умираю»,— думал я. И мне было, попросту говоря, страшно.

Хотелось с кем-нибудь поговорить, сказать что-то важное. Да, мне хотелось сказать перед смертью что-нибудь необыкновенно важное. Но товарищ собирал хворост.

Наконец он собрал его, растопил печку.

За окнами была ночь, зима, начинался ветер, и деревья скрипели под ветром.

Хворост в печке сопел, повизгивал.

И вдруг вспыхнул большой огонь, осветив сторожку, осветив и самую печку, на дверце которой было выбито большое слово: «П а в л ю к ъ».

Москва, зима 1937 г.



(1903—1972)

ПОСЛЕДНЯЯ ДОМНА

1

В декабрьскую ночь 1919 года в поселке Старо-петровск умирал от тифа молодой инженер Русланов.

Еще вчера он рвался с постели, что-то выкрикивал, декламировал в бреду Пушкина. Теперь он уже не декламирует. Днем, не приходя в сознание, он затих. Температура, державшаяся в последние дни выше сорока, вдруг упала до тридцати шести. Побежали за доктором. Доктор сказал, что все кончено, организм сдался, прекратил борьбу, медицина не знает средств спасти в этом случае человека.

Вытянувшись, Русланов лежит без движения, лишь судорожно вздымается и опадает грудь под одеялом. Глаза открыты, в свете электричества блестят расширенные остекленевшие зрачки. На темном одеяле покоится странно желтая рука. Пальцы, ставшие тонкими за время болезни, не шевелятся.

Это смерть. Тело еще дышит, но уже не живет. Оскаленный полуоткрытый рот еще вбирает воздух, а в теле уже

разрушаются красные кровяные шарики. Доктор, прощаясь, объяснил, что из-за этого так страшно и желтеют умирающие от сыпняка. Остриженная голова вдавилась в подушку, никогда он не встанет уже — любимец Макарычева, двадцатичетырехлетний начальник доменного цеха.

Макарычев сидит у кровати. Худой и длинный, он согнулся, упершись локтями в колени, и смотрит не на Русланова, а на пол.

Придя с завода, он не разделся, на нем измазанное пальто из рыжего бобрика и черная фетровая шляпа с широкими полями. Шляпу он носит не с выемкой посредине, а приплюснув ее донышко кругом, как это принято у актеров и мастеровых. Он давно сидит так, уставившись в пол. С сапог натекла грязная лужица талого снега. Рядом с Макарычевым стоит у кровати Шевчук, ровесник Русланова, сменный инженер. Сумрачно его мужественное, молодое лицо.

Русланов, Шевчук, Луговик, Шишаков — инженерская коммуна Старопетровска. Все они окончили институты в шестнадцатом и семнадцатом годах, революция вынесла их наверх, когда с завода бежали бельгийцы. У них нет семей, они живут вчетвером в одной квартире, пайки идут в общий котел, им готовит ворчливая и добрая эстонка Текла. Вон она стоит в дверях, закрыв фартуком лицо, на синей ткани проступили темные пятна слез.

Двое из инженерской коммуны сейчас в ночной смене на заводе.

Макарычев — инженер другого поколения. Ему тридцать шесть лет, у него семья, он живет отдельно. Вместе с молодыми он провел здесь восемнадцатый и девятнадцатый годы, поддерживая огонь в единственной незастывшей печи.

Русланов, поэт и сатирик коммуны, на каждого сложил эпиграммы. О Макарычеве он написал так:

Мартены, домны, бессемеры
Подвластны мне. Я главковерх.
Но только печи все без меры[1],
Но только мрет за цехом цех.

---

[1] Печь без меры — техническое выражение, означает: неполная.

Бледное зарево чуть розовеет за окнами, слышны равномерные выхлопы газомотора — девяносто ударов в минуту. На много километров вокруг разносится этот неустанный стук.

Коммуна поселилась близ ворот завода. Инженеры спят спокойно, когда дом дрожит, и беспокойно просыпаются, если внезапно наступает тишина. Они давно перестали замечать, что в доме всегда тоненько дребезжат стекла.

Время от времени среди размеренного стука раздается удар неожиданной силы, словно из тяжелого орудия. Фронт близок к Старопетровску, но это не взрыв снаряда, а перебой газомотора. Такие удары носят название контрвзрывов, газ вспыхивает в цилиндрах, проходит в выхлопную трубу и там стреляет вхолостую, не имея работы.

Старопетровск, расположенный в Донецком бассейне, почти на границе области Донского казачьего войска, центра формирования контрреволюции, много раз бывал полем сражения. Несколько отрядов Красной гвардии, возникших в Старопетровске, отправились воевать на своих, оборудованных здесь же, на заводе, бронепоездах. Однако этим рабочим отрядам пришлось отойти. В поселке побывали белогвардейцы, немцы, петлюровцы и другие войска, боровшиеся против молодой Советской республики. На некоторое время возвращались свои и опять отступали. Завод много раз обстреливался, но газомотор не замолкал, раскаты контрвзрывов покрывали пулеметную и артиллерийскую пальбу.

Нынче, в последние дни декабря 1919 года, фронт вновь перекатывается через Старопетровск. Рабочий поселок, затаившись, ждет Красную Армию. На этот раз белые уходят без боя. Позавчера и вчера круглые сутки по шоссе тянулись обозы и воинские части, сейчас движение схлынуло, лишь изредка доносится торопливое цоканье копыт.

Макарычев сидит, глядя вниз, и слушает хрипы умирающего.

Тихо растворяется дверь, в комнату входит Максим Луговик, сменный инженер доменного цеха. Он худой, маленький, болезненный. На давно не бритом лице торчат отдельные кустики волос. У него добрые голубые глаза; его любят и зовут Максюшей. Пуговицы на пальто оторваны, оно стянуто вместо пояса обрывком электрического провода. Он на минуту прибежал от печи — узнать, жив ли еще Русланов и нет ли какой-нибудь надежды. Услышав стук двери, Макарычев беспокойно вскидывает голову. Он

отлучился с завода слишком надолго и время от времени испытывает глухую тревогу. Несколько раз он порывался встать и уйти, но оставался у постели. На шапке и на пальто Луговика он видит налет белой пыли; мелькнувшая в быстром движении головы готовность вскочить и действовать сменяется прежним угрюмо-сосредоточенным видом. Белая пыль означает, что из печи только что выпустили шлак, что шлак известковатый, рассыпающийся при остывании в тончайший белый порошок, что печь, следовательно, идет на хорошем горячем ходу. Не размышляя, Макарычев мгновенно понял все это.

— Вы зачем здесь? — хмуро спрашивает он.

Луговик простым и понятным жестом указывает на умирающего. Ступая на носки, он подходит к постели и, став рядом с Шевчуком, смотрит на изменившееся до неузнаваемости, залитое смертной желтизной лицо. Шевчук кладет ему руку на плечо, и они стоят обнявшись, не произнося ни слова.

— Бросили печь, черт вас не видал! — прерывая молчание, бурчит Макарычев.

Луговик тихо отвечает:

— Пусть бы, Иван Петрович, пропала печь, лишь бы Русланов...

Макарычев вскакивает. Его рыжее пальто мешковато и нелепо длинно; это работа шахтера, бывшего сельского портного,— все настоящие портные давно разбежались из Старопетровска.

— Я тебе...— яростно кричит он, сжав кулаки.

Луговик пятится. В первую минуту этот неожиданный приступ ярости ему непонятен. К Макарычеву бросается Шевчук и, схватив за руки, быстро повторяет:

— Иван Петрович, Иван Петрович...

На заводе все знают, что в гневе Макарычев может ударить, не владея собой. Лицо Луговика становится растерянным. Прижав руку к груди, он бормочет:

— Я... простите... Я не то...

И, вдруг поняв, что любые слова лишни, он, страдальчески сморщившись, выбегает из комнаты.

Макарычев подходит к окну. В небо поднимаются клубы красноватого дымка. Макарычев касается лбом холодного стекла и ощущает кожей едва уловимую вибрацию.

Проходят минуты, Макарычев возвращается к постели, снова садится и снова смотрит в пол.

В часы, проведенные у постели умирающего, Макарычев терзался сознанием своей вины перед ним.

Когда он рассердился на Луговика, ему показалось, что он поступил, как обычно, столкнувшись с недисциплинированностью подчиненного. Но по умоляющей, невразумительной скороговорке Шевчука, по растерянному и страдальческому выражению лица Луговика он понял, что кричит потому, что в словах: «Пусть бы пропала печь, лишь бы Русланов...» — ему почудилось обвинение.

Месяц назад Макарычев послал Русланова в Ростов и в Таганрог. Белое командование проводило в захваченных местностях поголовную мобилизацию ряда возрастов, отменив всяческие льготы. Призыву подлежали многие специалисты и квалифицированные рабочие — старопетровцы, в том числе вся инженерская коммуна. Во что бы то ни стало нужны были отсрочки, иначе инженеров забрали бы в белую армию. Макарычев предложил ехать Русланову, напористому, владеющему даром слова, способному убедить, добиться.

Вместе с тем у Макарычева имелось еще одно поручение. Он знал, что где-то на складах остановившегося Таганрогского завода можно разыскать зажигалки для газомоторов. В Старопетровске не осталось ни одного резервного зажигателя. Эти маленькие электроаппараты сгорали после трех-четырех месяцев работы, их поснимали со всех бездействующих моторов, чтобы поддержать на ходу единственный.

Макарычев объяснял задачу, не глядя на Русланова:

— Купите, обменяйте. Дадим уголь, даже хлеб. Без зажигателей не возвращайтесь.

Русланов молчал. Макарычев посмотрел и встретил пристальный, что-то говорящий взгляд. Крупные, обычно смеющиеся губы Русланова были сжаты, он словно показывал, что не хочет выговорить вслух того, о чем думает.

Совсем недавно Русланов перенес повторное воспаление легких, профессиональную болезнь доменщиков. После этого у него не ладилось с сердцем, и в разговорах он несколько раз высказывал вскользь опасение, что не выдержит, если заразится тифом. Макарычев все это знал. Взглянув на Русланова, он хмуро сказал:

— Надо ехать!

Русланов выехал в тот же вечер.

Три недели спустя Русланов привез зажигалки и мобилизационные отсрочки. Ночью, лежа в постели, в темноте, Русланов сказал Шевчуку:

— Я себя плохо чувствую. Знай, Шевчук, если я заболею, то умру.

На следующий день он лежал в жару. В дни его болезни сгорел последний зажигатель и был сменен одним из привезенных.

И вот стучит газомотор, посылая ток к рудничным насосам, на водонапорную башню, в цехи и в поселок; выхлопы сотрясают дома, а Макарычев слушает, понурясь, смертный хрип, которого не забудет никогда.

3

С улицы доносится стрекот приближающегося мотоциклета. У дома звук резко обрывается. Раздаются нетерпеливые удары в незапертую входную дверь. На стук бежит Текла, но в коридоре уже топают чьи-то сапоги, кто-то быстро идет, и, не ожидая, пока скажут «войдите», Макарычев оборачивается. Настежь распахнув обе створки дверей, в комнату вторгается высокий офицер в кубанке и черной казачьей черкеске. Его движения стремительны, лицо раскраснелось от ветра.

— Толли, он здесь! — кричит офицер в коридор.— Здорово, Иван Петрович!

Он разговаривает громко, полным голосом. Кубанку он наотмашь бросает на стол.

В дверях появляется Толли; он успел раздеться, на нем выутюженный серый костюм, белый воротничок, поблескивающие желтые ботинки. Он полноват и сдержан.

Шевчук следит за Макарычевым. Возникает ли на его лице знакомая неполная, неясная улыбка? Макарычев всегда улыбается неуверенно, словно сомневаясь, так ли надо это делать. Но сейчас тонкие губы сжаты, выдвинутые надбровные дуги, поросшие лохматым волосом, скрывают глаза и бросают густые тени на худое, как у индейца, лицо.

Молодой Шевчук с любопытством разглядывает Белоконя и Толли. Он слышал о них, этих инженерах-доменщиках, которые когда-то были друзьями Макарычева, а потом, в пору революции, метнулись на сторону белых...

Белоконь, Толли и Макарычев — когда-то эти имена стояли рядом. Это была школа Курако, ученики знаменитого доменщика, члены одного доменного братства. Старо-

петровская инженерская коммуна — младшее поколение куракинской школы. Вот портрет Курако на письменном столе, прядь волос ниспадает на лоб. Рядом серебристый кусок кокса. Курако прислал его сюда через фронты, как привет из далекого Кузбасса.

Когда-то, десять лет назад, Белоконь первым из трех явился к Курако. Сын генерала, кубанский казак по рождению, Белоконь в чине поручика, двадцати семи лет от роду бросил офицерскую карьеру и поступил в Петербургский политехнический институт. Окончив курс, он толкался в поисках места с завода на завод и случайно попал в Юзовку в тот день, когда Курако стал там начальником доменного цеха. Из Юзовки Белоконь ушел полтора года спустя, поклявшись, что через пять лет вернется с миллионом в кармане и выстроит мощную механизированную печь по чертежам Курако. На место Белоконя Курако взял Макарычева и Толли. Оба быстро выдвинулись. Курако говорил, что у него, как при обороне Севастополя, месяц считается за год. Перед революцией судьба, казалось, улыбнулась куракинской школе. В начале 1917 года Белоконь действительно строил свой завод на Изваринской площадке; Макарычев был начальником доменного цеха в Старопетровске и строил печь самую большую в Европе; Толли добрался до директорского поста и перестраивал Липецкий завод. Все трое оставались верны техническим идеям Курако. Сам Курако — Константиныч, как его называли друзья,— уехал с десятком молодых инженеров в Кузбасс проектировать и строить Кузнецкий металлургический завод. Последний раз они встретились на проводах Курако. Поднимая здравицы за каждого, Константиныч назвал на том пиру Белоконя казачьим напором, Толли — умницей, Макарычева — настоящим инженером.

После шума, вызванного приходом нежданных гостей, наступила минута молчания. В комнате снова явственно слышны предсмертные хрипы.

Все невольно поворачивают головы. Белоконь подходит к постели.

— Кто это? — спрашивает он.

За годы гражданской войны ему много раз довелось видеть агонию тифозных, он узнает ее с первого взгляда.

— Русланов,— хмуро отвечает Макарычев.

— Русланов? Что же вы его, черта, не уберегли?

В тесном мирке профессионалов все наперечет, каждый хоть понаслышке знает о другом. В Старопетровск доходили известия, что Белоконь командует бронепоездом у белых,

что Толли сидит на своем потухшем заводе. Белоконь и Толли никогда не встречались с большинством из выучеников Макарычева, но всех знали по фамилиям.

Макарычев молчит. Шевчук, слегка зардевшись, отвечает Белоконю:

— Вон, слышите, мотор. Сергей привез из Таганрога зажигатели, заразился по дороге и...

В словах Шевчука пробиваются нотки гордости за умирающего друга. Ему хочется как-то прославить Русланова, на языке вертятся пышные и банальные слова, они не выражают его чувства, он умолкает, не закончив.

Белоконь чиркает спичку и подносит, горящую, к неподвижным глазам умирающего. Глаза остаются по-прежнему раскрытыми, зрачок уже не реагирует на свет.

— Да, кончен человек. Глупо погиб парень...

— Глупо? — резко переспрашивает Шевчук.

Макарычев медленно поднимает голову.

— Это я его послал,— хмуро произносит он.

— Ну, ну, некогда распускать нюни. Из каждого когда-нибудь вырастает лопух. Вот что, Иван Петрович, на сборы осталось полчаса, мой поезд последний, за собой я рву мосты.

— Куда же?

— Доберемся до моря и махнем за границу. И пусть здесь все проваливается в тартарары. Метнем еще раз судьбу: орел или решка.

Шевчук ловит каждое слово. Он внутренне притих, ему смутно чудится, что сейчас протекают какие-то исторические минуты. Он знает, что Курако еще в 1905 году участвовал в вооруженном восстании рабочих Донбасса, командовал боевой дружиной Краматорского завода, затем побывал в ссылке, а после Февральской революции был избран в Совет рабочих депутатов Юзовки. Шевчук знает, что куракинская школа включает не только инженеров, но и мастеров, горновых, механиков. Многие из них большевики. Белоконь и Толли на другой стороне. Курако, возможно, еще и не знает об этом...

Шевчук напряженно ожидает ответ Макарычева. Тот, глядя из-под бровей на Толли, скупо произносит:

— И ты, значит, смотался? Кинул свой завод?

Секунда молчания. Слышен только хрип и отдаленное туканье мотора.

— Разве за границей нет заводов? — произносит Толли.— Начальник цеха получает там сто тысяч франков в год. Приедем в Бельгию, явимся к «папаше».

«Папашей» прозван с давних времен в среде металлургов толстяк бельгиец Бие, директор Старопетровского завода. Он скрылся вскоре после Октября, захватив платиновую посуду из лаборатории.

— Недавно он здесь был,— с невеселой усмешкой вспоминает Макарычев.— Особенно не разговаривал, спросил только, куда делись его ковры. Покрутился один день и к вечеру уехал. Оставил вместо себя мистера Спельта, и тот через несколько дней смотался. Все, подлецы, разбегаются.

— Этак мы до утра проговорим,— обрывает Белоконь, будто не понимая смысла слов Макарычева, затем, не сморгнув, предлагает: — Отправляйся, Иван Петрович, за тяжелой артиллерией.

Тяжелая артиллерия — семья, это словцо Курако.

Насупившись, помрачнев, Макарычев поворачивается к постели Русланова.

Толли усмехается:

— Его не спасешь. Здесь ты сам скоро отправишься за ним.

Спокойный и медлительный Толли подходит к кровати, опирается локтями о спинку и вглядывается в смерть. Неторопливо, уверенно Толли говорит, что инженерство России обречено на гибель. В центральной России он долго наблюдал большевиков, знает их догму и практику. Все эти завкомы, коллегии, пайки, расчеты на благотворительность, которая названа энтузиазмом,— все это противоречит внутренним законам индустрии.

— Большевики упорны,— говорит он.— Они доведут Россию до того, что мужик сдерет проволоку с телеграфных столбов.

Толли говорит, не повышая голоса, без ноток ненависти как иронический и спокойный наблюдатель.

У Макарычева рвутся с языка гневные, укоряющие слова. Он высказался бы сейчас перед бывшими друзьями — они бы его слова запомнили...

Но вид умирающего сковывает его. Однако Белоконь по-своему истолковывает его молчание.

— Про Русланова забудь,— криво усмехаясь, произносит он.— Брось свою интеллигентную честность!

Внезапно потухает электричество. Одновременно прекращается дребезжание стекол. Тишина. Макарычев секунду стоит, прислушиваясь. Махнув рукой, что-то неразборчиво пробормотав, Макарычев стремглав бросается из комнаты.

Макарычев бежит по территории завода к силовому цеху. Слабое зарево над домной номер шесть освещает ему путь. В стороне над коксовыми печами пылают редкие огни.

Макарычев шагает через раскиданные балки, трубы, листы. Следы разрушения смешаны с остатками омертвевшей на ходу стройки. В шестнадцатом и семнадцатом годах Макарычев перестраивал доменный цех и возводил новую печь — самую большую в Европе. Вон она высится, готовая и мертвая, окованная броней. Свечи на колошнике уходят в небо, как мачты броненосца. Стройка окоченела в разгаре, словно в сказке, когда люди окаменели средь пира с раскрытыми ртами, с недонесенными до губ стаканами.

Газомотор умолк, и ни одного живого звука не слышно на заводе. Доменная не гудит, воздуходувка не подает дутья, в прокатном цехе замер единственный горячий стан.

Однако вокруг не тихо. Мертвый завод тоже шумит. Где-то незакрепленный конец троса, раскачиваемый ветром, со скрежетом трется о конструкцию; шевелятся и грохочут полуоторванные листы железа на крышах; болтаются лопнувшие обручи на доменных печах и стучат о кладку. Это сухой, зловещий шум скелета.

Макарычев быстро шагает в длинном рыжем пальто. То и дело откуда-то выскакивают крупные крысы. Сколько их развелось на заводе! Они пожирают сало с остановленных машин.

И все же, если подняться и пролететь над Донбассом, над Екатеринославщиной, над Криворожьем, где ночное небо когда-то цвело от полыхающих зарев, где пылали сотни печей,— повсюду увидишь мрак, сплошную темь без просвета, и лишь над Старопетровском слегка окрашено небо. Одна домна во всей стране дает чугун, старопетровская номер шесть, последняя печь Юга.

Вдоль линии цехов вспыхивают электрические фонари, но не ярким белым светом, а красноватым, дрожащим, едва рассеивающим темноту. В ближайшей лампочке ясно видны накаленные докрасна нити, дальние кажутся тлеющими угольками. Это включилась в сеть маломощная паровая машина — «паровушка», как зовут ее на заводе. Макарычев ее бережет как единственный резерв. Ее мощности хватает лишь на то, чтобы освещать завод и качать воду для охлаждения доменной печи. Расплавленный чугун проел

бы стенки, если б прекратилось непрерывное обливание кладки потоками воды.

Впереди в тусклом свете фонаря Макарычев различает на главной железнодорожной магистрали завода темную махину завалившегося паровоза. Этого не было, когда он уходил с завода. Макарычев подбегает туда. Быстрым взглядом окинув картину крушения, он неожиданно улыбается и даже похохатывает под нос. Ему без объяснений понятно, что здесь произошло. На товарных платформах, теряющихся вдали, погружены листы броневой стали. Эту сталь несколько дней грузили под наблюдением офицера для эвакуации в белый тыл. В последний момент, когда состав тронулся и развил ход, кто-то перевел стрелку под движущимися колесами паровоза. Машина свалилась набок, выворачивая шпалы. Макарычеву без слов сообщают об этом помятая, разрезанная колесами стрелка, исковерканные шпалы и положение паровоза.

Смелое дело! Макарычев смеется вслух хриплым, отрывистым смехом. И как ни спешит он в силовой цех, он еще на минуту задерживается здесь, на месте аварии, радуясь, что белым не пришлось угнать заводской паровоз. Повреждения не велики, паровоз поднимут краном.

Откуда-то из непроглядной тьмы перед Макарычевым появляется рабочий. Он без шапки, лицо измазано сажей, светлые, как солома, волосы тоже местами испачканы, Макарычев узнает стрелочника Гаркушу.

— Это я, Иван Петрович,— говорит Гаркуша, кивком указывая на паровоз. В его голосе гордость и смущение.

— Ты? Надо удирать.

— Утек. Сижу здесь, в мартеновской печи, подобно таракану. Близко ведь они искать не станут, а?

— Машинист-то жив?

— Соскочил. Он знал... Как вы, Иван Петрович, считаете, а?

В тоне стрелочника, совершившего подвиг, рисковавшего жизнью, еще и сейчас не избавившегося от опасности угодить под пулю, слышится маленькое человеческое желание — услышать похвалу от Макарычева. Макарычев понимает, ему самому хочется сказать что-то ласковое, но он не умеет этого.

— Чего вылез, черт тебя не видал? Хлопнут еще. Полезай обратно,— говорит он ворчливо.

Ворчание Макарычева приятно стрелочнику; в ругательствах он различает одобрение.

Гаркуша, как и огромное большинство рабочих, всей душой на стороне красных. От революции он ждет большого счастья себе, своим детям и всему рабочему народу.

Макарычев же часто заявляет, что мало разбирается в политике. Однако народное движение, события великой революции не могли не затронуть его сердца. В эту минуту они оба — суровый инженер в черной широкополой шляпе и светловолосый, несмело улыбающийся стрелочник — чувствуют себя соратниками.

Молча постояв перед Гаркушей несколько секунд, Макарычев поворачивается и поспешно уходит.

Стрелочник, улыбаясь, смотрит ему вслед, потом скрывается во тьме.

5

Ворота газосилового цеха раскрыты. Ночная смена толпится снаружи, покинув рабочие места. Декабрьская ночь холодна, проносятся порывы ветра, но люди не прячутся в укрытых местах, а, беспокойно переговариваясь, стоят и ходят около ворот. На обломке огромной шестерни сидит старший рабочий Букреев и, слабо охая, прижимает к лицу тряпку, покрытую пятнами крови. Он упал без сознания лицом на железные ступени, отравленный газом, когда кинулся в подвал вытаскивать угоревшего монтера.

Вдоль ворот нервно ходит главный энергетик завода инженер Кричевский. Он замечает подбегающего Макарычева, неуверенно направляется навстречу, поворачивает назад и исчезает внутри серого бетонного здания. Вслед врывается Макарычев. За ним устремляются рабочие; немногие входят в цех, остальные, сгрудившись, останавливаются в воротах.

В огромном, очень высоком зале не ощущается никакого запаха, но красные нити электрических лампочек видны как бы сквозь легкую голубоватую дымку. Это доменный газ, ядовитая окись углерода, «мертвый газ», как говорят рабочие. Он поступает по трубам из доменной печи и, взрываясь в цилиндрах, движет мотор, снабжающий электроэнергией завод, рудник и поселок. Все останавливается на заводе, когда замирает мотор.

Здесь обычно стоит грохот, люди кричат друг другу на ухо, когда машина в работе. Сейчас в силовой станции тихо, рабочие площадки пусты, уходит ввысь огромный неподвижный маховик диаметром в три человеческих роста.

Над уровнем пола маховик поднимается лишь наполовину, другая скрыта в бетонной выемке. Тут и там на черных поблескивающих поверхностях виднеются знаки смерти: черепа и скрещенные кости, намалеванные жидким мелом.

— Где утечка? — отрывисто спрашивает Макарычев.

— В подвале. Там остался монтер,— отвечает Кричевский.

— Ну и что?

— Я звонил в спасательную команду.

— Ну?

— Оттуда не отвечают.

— Ну?

Нарастающее бешенство слышится в этих коротких, отрывистых «ну».

— Я послал туда.

Макарычев знает, что во всем комбинате остались две пригодные газовые маски. Они отданы в спасательную команду заводских рудников. Туда, за четыре километра, энергетик послал людей.

Макарычев вскидывает голову, инженер непроизвольно пятится.

— Тряпку!

— Что?

— Тряпку, черт вас не видал! Скорей!

Кричевский быстро находит и подает замасленную обтирочную тряпку.

Макарычев нетерпеливо хватает, ощущает под пальцами масло и отбрасывает с досадой. У него вырывается ругательство, он сбрасывает пальто, пиджак и стягивает через голову синюю бумазейную рубашку. Он проделывает это быстро, одним махом, у него нет ни галстука, ни запонок. Полуголый, вновь нахлобучив шляпу, он подбегает к водопроводному крану, открывает воду и подставляет рубаху.

Намокшей, потяжелевшей тканью он обматывает лицо, закрывая нос и рот. Это до некоторой степени заменит ему маску. По худому сильному телу стекает вода. Он перелезает решетку и по железной лестнице спускается в отравленный газом подвал.

Толпа подается вперед, слышится чей-то сдавленный возглас, и в здании становится тихо.

Вдоль подвала тянутся чугунные трубы, они страшно горячи, их накаляет отработанный газ. Где-то там, среди лабиринта труб, лежит отравленный монтер. Когда мотор работает, трубы сотрясаются, звуки выхлопов доходят

в подвал заглушенно и ощущаются, как чье-то могучее дыхание. Сейчас подвал не дышит.

Проходят минуты. Обострившимся слухом люди улавливают неясное шевеление внизу. Звук приближается, становится явственнее, уже можно различить шаркающие шаги, словно нащупывающие путь. Все ждут, что вот-вот над колодцем появится Макарычев с бездыханным телом на плечах.

Но вдруг доносится глухой звук падения, и все смолкает в подвале.

Люди слушают, вытянув шеи и стараясь не шуметь даже дыханием. Напрасно, ни единый шорох не нарушает неживую тишину подвала. Букреев первым бросается к колодцу. Но, обгоняя его, туда же бегут другие, ловко перелезают через решетку и быстро скрываются, словно проваливаясь вниз.

Букрееву приходится отталкивать рабочих от колодца,— в подвал спустилось уже четверо, этого достаточно, другие будут только мешать.

Скоро наверх выдают два бесчувственных тела. Монтера сразу вытаскивают на мороз. Макарычеву надевают пальто на голое тело и тоже несут на вольный воздух. Там он скоро приходит в сознание, вдохнув нашатырного спирта, всегда хранящегося в аптечке газосилового цеха. Макарычеву случалось много раз угорать; его сильный организм, быть может, по привычке, сравнительно легко переносит отравление; другой не очнулся бы так быстро.

Первое его ощущение — сверлящая головная боль и слабость во всем теле. Веки кажутся тяжелыми. Он открывает глаза, видит фонарь, едва светящий красным светом. Он пытается встать, ему помогают. Он смотрит вокруг. Видит на снегу неподвижное тело монтера, которого пытаются спасти искусственным дыханием, поднимая и затем с силой прижимая к бокам его руки; видит кругом рабочих, безмолвно наблюдающих за этим, видит распахнутые ворота цеха, по-прежнему пустого, покинутого людьми. Макарычев в гневе сжимает кулаки; его возмущает, что до сих пор не начата работа по ликвидации аварии. К нему подходит Кричевский. Макарычев замечает его, внезапно краснеет, с искаженным лицом порывается вперед, замахнувшись кулаком.

— Дубина, а не инженер! — кричит Макарычев.— Посылай за дневной сменой. Работа за хлеб, за муку.

В минуты бешенства Макарычев всем говорит «ты».

Вновь ощутив слабость, он тяжело садится в снег.

Он сидит: к горлу подступает тошнота, все качается и кружится вокруг. Невдалеке продолжают «откачивать» монтера. По-прежнему поднимают и опускают руки, вытянув изо рта язык. На голову льют горячую воду, чтобы расширить сосуды и вызвать приток крови к дыхательному центру. Мало надежды вернуть этого человека к жизни.

Макарычев сидит, полузакрыв глаза. Головокружение проходит, он поднимается, преодолевая слабость в коленях, и идет к отравленному.

Монтер лежит на спине, на лице нет живых красок, густые тени застыли в провалах закрытых глаз, брови и небольшие усы кажутся угольно-черными на восковой коже.

Макарычев не сразу его узнает. Это Аржанов, младший брат доменного мастера из куракинской гвардии, которого...

Лицо Макарычева становится еще суровее. Недавно белогвардейцы ночью повесили старшего Аржанова на базарной площади Старопетровска.

В ту ночь Макарычева разбудил отчаянный стук во входную дверь. Наскоро одевшись, Макарычев открыл дверь.

На заснеженном крыльце стояла женщина в платке, подталкивая вперед себя мальчика восьми-девяти лет и девочку поменьше. Увидев Макарычева, она истерически вскрикнула и кинулась в ноги, захлебываясь плачем, о чем-то неразборчиво умоляя.

Макарычев поднял ее. Перед ним билась в рыданиях жена доменщика Аржанова, недавно арестованного, у которого он, Макарычев, когда-то крестил мальчишку. Какими-то путями она узнала, что мужа будут вешать в эту ночь, и, захватив детей, побежала к Макарычеву.

Надев пальто, он пошел вместе с женщиной и ребятами в штаб белого командования. Его принял полковник, от которого Макарычев скрывал запасы заводского хлеба, спрятанного так ловко, что белые власти, твердо зная, что на заводе где-то есть зерно и мука, никак не могли их разыскать. Несколько дней назад полковник попросил заимообразно вагон муки, но Макарычев не дал. Теперь он сам пришел с просьбой. Узнав, зачем явился инженер, полковник грубо его оборвал, предложив не вмешиваться не в свои дела. Ничего не понимая в искусстве взятки, Макарычев все же, запинаясь, начал говорить о вагоне хлеба. «Хоть сто вагонов, бандита не помилую»,— перебил полковник. «Я ручаюсь за него,— сказал Макарычев,— он

такой же бандит, как я». «Что же, и с вами не поцеремонимся!»— ответил полковник.

Понурясь, Макарычев вышел из штаба на базарную площадь и вдруг в свете луны увидел какие-то приготовления у ближайшего телеграфного столба. Там установили несколько лестниц, внизу стояли военные.

Макарычев пытался увести женщину — особенно жутким ему казалось присутствие детей, ни разу не заплакавших,— но женщина давно заметила суету у телеграфного столба, и никакие слова не могли уже оторвать оттуда ее взгляд.

Из штаба вышел полковник, посмотрел на них, но ничего не сказал.

Скоро из штаба вывели под конвоем рослого мужчину в кепке и в коротком ватном пиджаке. По сутулой спине, по могучей шее, по тяжеловатой походке Макарычев сразу узнал Аржанова. Обычно несколько флегматичный, он в опасные минуты у доменных печей действовал молниеносно,— это был один из любимых горновых Константиныча.

Жена вскрикнула и побежала к нему, увлекая за собой детей. Она кричала, хватая солдат за ноги, и распластывалась перед ними на снегу. Дети тоже заревели, порываясь к отцу. Их отогнали ударами сапог и прикладо́в.

Аржанова повесили на глазах у детей...

— Мерзавцы! — бормочет Макарычев себе под нос, стоя над телом монтера.

С губ угоревшего срывается слабый стон. Вокруг облегченно вздыхают, кто-то смеется. Жив! Монтер открывает глаза, к щекам возвращается краска.

Макарычев улыбается, ловит на себе чей-то взгляд и, мгновенно застыдившись, отводит глаза и бурчит:

— Ну вот, а вы нюни распустили... Где старший?

К Макарычеву подходит Букреев. Рассеченный лоб чернеет запекшейся кровью, половина лица вспухла, левый глаз затек. Букреев давно работает в Старопетровске и помнит, как монтеры устанавливали новенькие газомоторы. Перед пуском на выложенном кафелем полу был разостлан резиновый ковер. Никто не смел войти туда в грязных сапогах. Тогда и Букреев был щеголеватым рабочим, торчком закручивал усы, из карманчика синей тужурки всегда выглядывал блестящий, как осколок зеркала, кронциркуль.

Теперь цех завален поломанными частями, плиты на полу побиты. Расколотые оконные стекла заменены ржавыми листами железа. Три бездействующих мотора рас-

потрошены, из их раскрытых внутренностей некоторые детали вытащены и поставлены на четвертый взамен сломанных или изношенных. Стальная рубашка этого последнего мотора лопнула и сшита медными латками. Но на самых ответственных и хрупких частях все же нет ни малейшего пятнышка. Среди развала странен их чистый, благородный блеск. Букреев, словно отражая своей внешностью состояние цеха, одет в грязную, излохматившуюся телогрейку на вате, много раз залатанную. Как почти все здесь, он донашивает последнее. Лишь за усами он ухаживает по-прежнему: густые, уже тронутые сединой, они тщательно расчесаны и закручены вверх.

Букреев осторожно ощупывает ссадину на лбу и распухший нос. При нажиме больно. Букреев еле слышно кряхтит. Макарычев исподлобья взглядывает, краснеет и вдруг кричит:

— Ты что же проворонил? Остановил завод, раззява! Я тебя, бродягу, в землю вколочу!

Букреев отнимает руку от лица, выпрямляется. Макарычев продолжает ругаться. На Букреева это действует живительно. Губы, искривленные гримасой боли, сжимаются, выступает резко очерченный энергичный подбородок, и даже усы поднимаются круче. Букреев знает: когда Макарычев краснеет и сжимает кулаки, ему нельзя перечить, пока не «пропесочит».

Вспышка гнева скоро проходит, яростный крик сменяется сердитым бормотаньем, лишь тогда Букреев вставляет:

— Вы со свежей головы, Иван Петрович, заскочили, а тут за смену вдосталь наглотаешься. Вот и...

— Вот, вот... Будем чеканить утечку. Спускаться посменно на две минуты. Утром каждому по пять фунтов муки.

— Народ, Иван Петрович, теперь и без муки полезет. А с мукой еще лучше. Завтра праздник, бабы лепешек напекут.

— Какой там еще праздник?

— А как же? — Букреев понижает голос.— Наши придут.

Каждую власть, побывавшую на заводе, рабочие именуют установившейся за нею кличкой: деникинцы, гайдамаки, петлюровцы, махновцы. А красных называют «наши». Это выражение укоренилось в языке. Макарычев подмечал его даже у ребятишек.

Собрав вокруг себя рабочих, Букреев принимается растолковывать задачу.

Макарычев подходит и слушает, по-прежнему насупленный. Ему давно известна сообразительность и опытность Букреева, но все же старый газосиловик часто удивляет его. «Молодец!»— думает он и сейчас.

Букреев замечает, что один из рабочих не слушает, и накидывается на него с руганью. Его интонации и выражения напоминают макарычевские. Со стороны может показаться, что Букреев подражает грозной повадке Макарычева. Это не совсем так. Свою манеру, свои словечки Макарычев заимствовал на заводе от горновых газовщиков, сталеваров, от людей, работающих среди огня, газа и жидкого металла, где всякая оплошка угрожает смертью.

Много месяцев рабочие живут без регулярных получек. На заводе давно нет хозяев. Бельгийская дирекция бежала; предприятие, употребляя выражение юристов, является выморочным, то есть не принадлежащим никому. Макарычев, главный инженер завода, остался высшим начальником. Заводской продовольственный магазин, основанный еще в 1916 году, когда начались первые нехватки продуктов питания, время от времени выдает рабочим муку, картофель, крупы и жиры. Мелкосортный стан катает ходкий крестьянский товар — уголок, обручик, шинку, кругляк, тонкую полоску. Макарычев, оказавшийся как-то незаметно для себя председателем Старопетровской продовольственной управы, отправляет железо по селам в обмен на продовольствие. Туда же идет продукция коксохимического цеха: бензол для двигателей, нафталин для мытья овец и многое другое. Каждый продовольственный маршрут распределяется по уравнительной душевой раскладке немедленно, в одни сутки, чуть ли не прямо с колес, чтоб какая-либо из военных властей не успела реквизировать драгоценный груз. Но некоторый запас муки Макарычев хранит для оплаты самых срочных и опасных работ. В ларях продовольственного магазина почти пусто, но в тупике родного двора среди множества вагонов стоят три наглухо заклепанных пульмана с крупной надписью «цемент» и с наклейками новороссийского цементного завода. Кроме Макарычева, лишь машинист Руденко и еще два-три человека знают, что там хранится мука. Макарычев единолично, полновластно и жестко распоряжается этим фондом. Он твердо знает: пока он владеет мукой, руль будет слушаться его.

Спасенный монтер сидит на снегу, силы постепенно возвращаются; ему рассказывают, кто его спас. Монтер

встает. Его небольшие темные усы уже не кажутся нарисованными углем. Пошатываясь, он подходит к Макарычеву.

— Спасибо, Иван Петрович,— говорит он.— Вовек вам не забуду.

Макарычев знает, что это отчаянно смелый парень. В дни боев под Старопетровском он при непрекращающейся артиллерийской канонаде отремонтировал с двумя подручными пробитый снарядом наружный газопровод. Восхищенный Макарычев выписал им за это сапоги. Сейчас он бурчит:

— Шут тебя дернул туда лезть. Сколько раз говорилось — вдвоем спускаться. И веревкой, негодяй, не обвязался. Там и дела всего было на десять минут, а теперь из-за тебя до утра простоим.

Монтер знает свою промашку. Утечка газа начинается с маленького — с дырочки, ничтожной, как прокол иглы. Ее можно забить в несколько минут. Монтер спустился в одиночку, упал, а газ, нагретый до трехсот градусов, проел щель на стыке труб.

— Виноват, Иван Петрович. Я думал, как бы поскорей.

— Тут нужно не думать, а идти наверняка.

— Как посчастливит, Иван Петрович.

Макарычев краснеет:

— Я тебе, черту, посчастливлю!

Букреев и один из слесарей обвязывают себя веревками. Они первой парой идут вниз, захватив молотки, зубила, свинец и асбестовую набивку. Длинные веревки тянутся за ними, навстречу глядят оскаленные черепа.

Скоро из колодца доносятся глухие удары — надо герметически забить щель промеж труб.

Через две минуты первая пара, пошатываясь, выходит из ворот. В темноте, едва рассеиваемой красноватым светом фонаря, видно, как побелели их лица. Букреев навзничь ложится в снег, веревку снимают. В подвал отправляется смена.

В третьей паре идет Макарычев, чтоб проверить ход работы. Он возвращается посеревший, делает два неуверенных шага, садится и низко опускает голову, уткнувшись лбом в затоптанный снег. Через минуту он откидывается назад, подползает к обрубку железной трубы и устраивается полулежа.

Его мутит, качаются земля и небо, неясными силуэтами шатаются свечи новой печи, словно мачты.

В такие часы, когда останавливается газомотор, когда все стихает и темнеет вокруг, Макарычева преследует образ

тонущего броненосца с залитой потухшей топкой. Существует, вероятно, общая профессиональная психологическая черточка у инженера-доменщика и у капитана корабля в открытом море. Тот и другой постоянно, даже во сне, ощущают непрерывность движения механизмов.

Макарычев лежит на снегу. Ему чудится темная, безмолвная, неумолимая вода, подступающая к горлу. Вода затопляет сейчас заводские шахты, насосы стоят, каждый час вода прибывает на четверть аршина. Он, капитан, последним покинет свой броненосец.

Сколько времени лежит он так, с потускневшим сознанием?

Может быть, полчаса, может быть, час. Пара за парой спускаются в подвал слесари, возвращаются, тяжело передвигая ноги, и валятся рядом с Макарычевым. К зданию сходится дневная смена, поднятая со сна на помощь; становится шумнее: уверенно распоряжается Кричевский, он не плохой инженер и лишь растерялся в первую минуту.

Макарычев приподнимается. Вокруг простерты тела, словно на поле брани; некоторые, отдышавшись, сидят; кое-где краснеют огоньки цигарок.

Кричевский выкрикивает очередные фамилии. Кто-то возле Макарычева встает с кряхтением, похожим на стон. Макарычев догадывается, что вызывают уже по второму разу. Он провожает взглядом пару, вторично идущую в подвал, и вдруг ощущает, как любит он их — Букреева, Аржанова, Гаркушу, тех двух, которые скрылись в воротах, и тех, что, ослабев, лежат на снегу. Он нужен им, заводскому народу, ему хорошо среди них.

Со станции доносится паровозный гудок. Паровоз кричит долго и пронзительно, смолкает и снова гудит. Макарычев поворачивается в сторону гудка. Он знает: это бронепоезд Белоконя. Гудок словно кличет Макарычева, словно хочет напомнить слова Толли: «Разве за границей нет заводов?»

На минуту в воображении главного инженера встает работающий полным ходом завод. Идет выпуск чугуна, печи ревут, вокруг все озарено красным, среди пламени двигаются люди в войлочных шляпах,— ни в каком театре, ни на какой картине не увидишь подобной красоты...

Развивая скорость, мимо завода проходит невидимый в темноте поезд. В составе не светится ни одно окно, лишь крупные искры из трубы прорезают ночное небо. Поезд удаляется. Макарычев следит за искрами. Вот про-

шумел вдалеке железный мост, уже ничего не видно, не доносится стука колес.

Внезапно ночь разрывается вспышкой, на мгновение видно, как взлетают какие-то темные обломки, чуть позднее доходит грохочущая звуковая волна. Белоконь взорвал за собой мост.

— Мерзавцы,— бормочет Макарычев в пространство.

7

К Макарычеву подходит Кричевский. Молодой инженер виновато смотрит в сторону — сейчас ему тудно разговаривать с Макарычевым:

— Готово, Иван Петрович.

— Проверили?

— Проверил.

Макарычев направляется в здание и, взяв молоток, вновь спускается в колодец. Внизу уже дышится легче. Макарычев простукивает чеканку, прощупывает герметичность шва; свинцовая заусеница колет ему палец, он приглаживает ее легким ударом. Его никто не видит, он улыбается: мотор можно пускать. Под ноги попадается оставленное кем-то зубило, он подбирает и, поднявшись по железной лесенке, перегибается через решетку и сердито спрашивает:

— Кто бросил там зубило, черт вас не видал?

Букреев открывает шибер газопровода. Кричевский включает всасывающий аппарат, электрики и газовщики разбегаются по площадке, слышится характерный треск зажигателя, раздается хлопок первой вспышки. Медленно и трудно сдвинулся огромный маховик, и вдруг как-то сразу все затарахтело, запело вокруг. Стосвечовые лампы, дававшие тусклый красноватый накал, вспыхнули белым светом. В это мгновение в поселке зажглось электричество, в шахтах застучали насосы, двинулись железные суставы воздуходувной машины. В узком просвете облицовочного кожуха видно движение поршня. Блестя смазкой, поршень летает взад и вперед, круглый и длинный, как орудийный снаряд. Это не только внешнее сходство. Действие поршня в газомоторе сходно с действием снаряда. Взрыв газа выталкивает поршень со страшной силой вперед, и он летит в цилиндр, как снаряд в пушечном стволе. Встречный взрыв, вызванный искрой зажигателя, отбрасывает его обратно. Там ударяет новый взрыв. Стремительный бег этого

обточенного куска металла, превращаясь в электричество, двигает все заводские механизмы.

Отражения лампочек дрожат в ожившем металле, среди этих ярких бликов потускнели и словно отступили и скрещенные кости.

Макарычеву подают брошенный пиджак и скомканную мокрую рубаху. Он пытается сунуть ее в карман пальто, рубаха не влезает. Отовсюду смотрят на него. Покраснев, он стягивает пальто и остается полуголым под сильным светом лампы. На длинных руках видны темные линии вен; на спине, худой и мощной, много шрамов, царапин, ожогов; некрасиво торчат лопатки — это мужицкая черная кость: дед Макарычева был крепостным у графа Воронцова-Дашкова. Его лицо, сейчас ярко освещенное, заинтересовало и затруднило бы художника. Это лицо контрастов. Суровость и кротость, крайняя вспыльчивость и крайняя застенчивость, бесшабашная решительность и неуверенность в себе — все это живет вместе, все это можно прочесть в сжатых губах, в мягких, бесформенных очертаниях подбородка и уха, в крутом вырезе ноздрей тонкого, некрупного носа, в ясных глазах, прячущихся под нависшими бровями.

Сейчас он мучительно страдает от застенчивости. Так с ним случается всегда, едва ситуация переходит из деловой в бытовую.

Одевшись, он уходит, глядя вниз и не сказав ни слова. Его останавливает Букреев, подает список рабочих, которым обещана мука, и сует карандаш. Макарычев просматривает и ставит на бумажке закорючку; он не любит писать резолюций, закорючка обозначает букву «М» — первую букву фамилии, только этот знак он обычно и ставит на бумагах.

Слегка сутулясь, он идет по заводу. Небо посерело, светает, шестой номер гудит, клубы дыма над печью уже не розовые, а темные. Он вспоминает о Русланове и прибавляет шаг.

В голубом тумане рассвета проступили очертания завода. Среди множества труб только над двумя-тремя вьется дымок, остальные потрескались, осыпались сверху и торчат, словно обгрызанные. Груды кирпича валяются под ними.

Таков закон индустрии: оставленный завод разрушается скорее, нежели действующий. Макарычев идет мимо пыхтящей домны. Рабочие горна убирают литейный двор; на железных листах пламенеет кокс, подсушивая к выпуску канавку. В большинстве здесь старая куракинская гвардия, побывавшая с Константинычем в Мариуполе, в Краматор-

ской, в Юзовке. Они замечают удаляющуюся сутулую фигуру в черной шляпе, в нелепо длинном рыжем пальто и долго уважительно посматривают вслед главному инженеру — последние доменщики последней печи.

8

В коридоре дома инженерской коммуны навстречу Макарычеву выходит Шевчук. Его мужественное молодое лицо осунулось за ночь, на щеках обозначились темные провалы.

— Умер,— тихо сообщает он.

Макарычев стоит понурясь. Ему хочется прижать голову к мертвой груди Русланова и побыть с ним одному. Он стесняется Шевчука, застенчивость сковывает его; он не знает, как надо держать себя с покойниками.

Не поднимая глаз, Макарычев поворачивается и уходит. По безлюдным улицам он медленно тащится домой. Шевелятся губы, он что-то беззвучно бормочет. Навстречу из-за угла выносится отряд кавалеристов с красными лентами на папахах.

Передний всадник внезапно осаживает коня перед Макарычевым, спрыгивает на ходу и радостно кричит:

— Иван Петрович, здорово!

Макарычев видит широкое лицо с чисто выбритым квадратным подбородком, слегка прищуренные умные глаза, могучую, атлетическую шею.

— Щербак, шут тебя не видал!

Щербака знает весь Старопетровск. В забастовку 1914 года он, молодой слесарь, взошел на глазах у тысячной толпы по ступеням главной конторы и вручил лист с требованиями директору завода, толстому, краснокожему Бие, окруженному полицией. После забастовки Щербак был рассчитан из механической мастерской, но Курако, лично подбиравший штат доменного цеха, согласно особому контракту с дирекцией, взял его к себе, сказав: «Ты мне нравишься, парень».

Щербак одет в ладно пригнанную серую шинель, высокие сапоги туго обтягивают ногу. Даже на фронте он сохранил привычную щеголеватость высококвалифицированного слесаря.

Он командует полком и выехал вперед во главе конной разведки, чтобы первому влететь в родной Старопетровск.

— Беляки, Иван Петрович, вытряхнулись?

— А черт их знает.

Щербак улыбается, ему приятна среди знакомых мест макарычевская знакомая манера буркать под нос.

— А у тебя как, Иван Петрович? Все здоровы, живы?

— Русланов сегодня помер...

— Эхма! Жаль хлопца. Лихой был доменщик. А завод как?

— Стоим полным ходом.

— А это что?

Щербак указывает в сторону завода, где размеренно тукает мотор и колышется в небе тяжелый доменный дым.

— Дуем одну печку.

— А шахты?

— Барахтаемся кое-как.

Быстро отерев губы рукавом шинели, Щербак неожиданно обнимает и крепко целует Макарычева.

Макарычеву неловко; он чувствует, как сзади давит твердая ручка плетки, прижатая Щербаком. Ворочая плечами, он с трудом высвобождается.

— Спасибо, Иван Петрович.

— За что?

— Что сохранили завод.

— Что там сохранил? Одну домну... Последнюю.

Щербак вскакивает в седло, трогает коня и, обернувшись, кричит:

— Разделаемся с беляками и воротимся печи раздувать. Ожидай, Иван Петрович, вскорости!

Отряд удаляется на рысях, комья снега летят из-под копыт.

Щербака нагоняет усатый всадник, юзовский шахтер, комиссар полка.

— С кем это ты?

— О, это, брат... это...

Не найдя слов, Щербак высоко заносит руку. Лошадь, испугавшись, дергает и вырывается вперед.

Всадники скрываются в воротах завода. Немного спустя на колошнике недостроенной новой печи, в самой высокой точке завода, взвивается красный флаг.

В морозном воздухе гулко разносятся выхлопы мотора — девяносто ударов в минуту. Дымит шестой номер — единственная домна на Юге, первая печь советского Донбасса.

1937

Сергей Антонов

(р. 1915)

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Летом двадцатого года Еремеев, не долечившись, выписался из фронтового госпиталя и приехал в свою деревню. Грамотных мужиков было мало, и его сразу выбрали председателем сельсовета. Дома он застал полную разруху. Отец и мать не дождались его — померли. Пока он воевал с Врангелем, защищал родину, кто-то повынимал из окон его избы стекла, сорвал наличники. Изба совсем обветшала, качалась от толчка.

Жить с каждым днем становилось труднее, и осенью Еремеев отправился в волость просить помощи. В волости ни гвоздей, ни тесу ему не дали, а вместо этого велели срочно собираться и ехать на совещание председателей исполкомов Московской губернии.

— Никуда я не поеду, пока хозяйство не определю, понятно? — сказал он волостному начальству, сверкая злыми глазами.

Но, услышав, что на совещании ожидается выступление Ленина, резко переменил решение и стал собираться.

«Чем мне попусту биться как рыба об лед,— думал он,— выскажу товарищу Ленину, как мы тут за каждым гвоздем гоняемся. Пусть раненым фронтовикам настоящие льготы дают».

И, уверенный, что Ленин поймет его и поможет, Еремеев отправился в Москву.

На Казанском вокзале у него украли мешок с харчами. Он бегал искать вора, отстал от попутчиков и один шел по незнакомым московским улицам.

Было серое осеннее утро. Еремеев шагал по Мясницкой и, останавливая встречных — тех, кто попроще,— спрашивал, как пройти к Моссовету. Людей в этот ранний час попадалось мало. Они недоверчиво оглядывали худое, немытое с ночи лицо человека, похожего на дезертира, неумело затянутые суровой ниткой пулевые дыры в полах его кавалерийской шинели и отвечали торопливо и путано, лишь бы отвязаться.

«Октябрь месяц,— думал Еремеев, шагая по мокрым булыжникам,— через десять ден третья годовщина Советской власти, а врагам все конца нет, язви их в душу».

Часам к девяти утра, голодный и усталый, он добрался до Моссовета, но и там не нашел земляков. Все ушли в Большой театр. Чтобы не плутать понапрасну, Еремеев пошел вслед за группой председателя Волоколамского уезда, таких же опоздавших, как и он, которых повел парень-москвич в черном пиджаке, опоясанном, чтобы было теплее, военным ремнем.

С Еремеевым увязался высоченный застенчивый крестьянин, похожий, несмотря на белокурую бородку, лицом на женщину.

— В нашем уезде,— робко заговорил крестьянин,— на каждого едока возложено продразверстки по восемнадцать пудов картошки, а мы едва по пять пудов на едока соберем... Наши велели товарищу Ленину сообщить. Как думаешь?

— Не надо. В волости сами должны разобраться,— ответил Еремеев.— Вам все не так... Вы хоть хозяйство сберегли, а я вот с фронта пришел на голое место. Изба рассыпалась, починить не могу — материалу не дают.

— Это действительно, где теперь материал взять,— посочувствовал крестьянин.

— Вот и не знаю, чинить ее или продавать, какая есть.

— Это действительно, одни чинят, другие продают...

— А если продавать, то как, на хлеб или на деньги...

— Кто его знает, как оно лучше, на хлеб или на деньги...

— Ну, продам избу, а дальше что? — рассуждал Еремеев, уже не интересуясь, слушает ли его собеседник,— в город уезжать или на месте жениться.

— Это верно. Одни в город подаются, другие в чужой дом идут хозяевами...

Еремееву стало скучно, и он приблизился, чтобы послушать, о чем говорят впереди.

Больше всех тараторил худенький старичок с хитрыми, остренькими глазами.

— Это все надо разъяснить товарищу Ленину,— говорил старичок, норовя заглянуть в лицо парню-москвичу.— Правительство, которое держит в своих руках бразды правления, должно знать, что, если уйдет под уклон крестьянское хозяйство, хотя бы и мелкобуржуазное, по понятиям коммунизма, никто не сможет поддержать Советскую власть. А погляди, что у нас делают: корову последнюю берут, лошадь — берут, сбрую — и ту берут! Плюс к тому за помол на мельнице и то четыре фунта берут. Хорошо, свиней у нас уже три года нет, а то бы и свиней побрали.

— Тебя бы в окопы загнать, глину брюхом перемешивать, тогда бы ты усвоил, куда лошадей берут,— оборвал его Еремеев.

«Не хватало еще, чтобы этот живоглот докучал Ленину своими пустыми обидами и мешал решить основной вопрос: о помощи демобилизованным красноармейцам»,— подумал он.

— Хлеб на Сухаревку возят,— сказал парень-москвич,— а четыре фунта в больницу или в детский дом им жалко.

— Если и возим, то вам же, рабочим! — закричал старичок.— А что крестьянство от власти видит? Дрова возить заставляют, а даже мази для колес не дают. Если вы к крестьянам не имеете сочувствия, имейте хоть к колесам...

— Власть вам дает что положено,— сказал парень,— а вы разбирайтесь, что можно просить, а чего нельзя. Думаете, у нас тут сладко? Сходите на наш завод и посмотрите: сырья на два года навалено, а людей нет. Вот о чем товарищу Ленину надо говорить.

— Это не главное,— заметил Еремеев.

— Как это не главное? Три дня завод стоял, механика не было, это тебе не главное?

— А у нас в деревне где они, люди? — спросил старичок.

— У вас есть. У вас, я знаю, и свадьбы играют, и ребятишки, как грибы, нарождаются.

— Это верно. У нас нарождаются, будь они неладны...— сказал белокурый крестьянин.

— Да ты обдумай, зачем они свадьбы играют! — воскликнул старичок.— Это правда, сходятся парочками, идут

венчаться в волостной Совет. А ты думаешь, они ради брака идут? Они не ради брака сходятся, а чтобы получить за это дело мануфактуру. Плюс к тому и на ребенка мануфактуру дают — вот они и нарождаются... Ладно, что я устарел, а то бы тоже от своей бабы побег жениться за мануфактуру-то... Гляди, в чем хожу...

— Тебе холодно? — не утерпев, проговорил Еремеев.— Ты в Крым к Врангелю подайся — тебе там теплей будет...

Старичок начал ругаться, но они вошли в здание театра, и толпа разнесла их в разные стороны.

На лестнице и в залах гудел народ. Еремеев стал было разыскивать своих, но объявили о начале совещания, и, двинувшись по кривым коридорам вслед за другими, он забрался в боковую ложу и, несмотря на ворчанье сидевших и стоявших людей, протиснулся вперед.

В зале было гулко, шумно и сумрачно.

Под потолком висела огромная люстра, на ней кое-где горели лампочки. Еремеев поглядел вокруг, увидел в соседней ложе хитрого старичка и отвернулся.

Внезапно шум усилился, от сцены к заднему ряду волной покатились аплодисменты, и в группе людей, подошедших к столу, Еремеев сразу узнал Ленина, хотя раньше не видел его никогда.

Пока председатель наводил тишину, пока читалась повестка дня, Еремеев не сводил с Ленина глаз.

Он видел, как Ленин отодвинул стул, сел у края стола и, вытянувшись, посмотрел в зал, словно кого-то разыскивал. Потом похлопал по одному карману пиджака, по другому, достал блокнот, раскрыл и пригладил картонную обложку, чтобы она не закрывалась.

Еремееву казалось, что великий, необыкновенный человек должен вести себя необыкновенно, и каждую секунду ждал от Ленина этого необыкновенного. Но Ленин стал вырывать из блокнота лист, и, так же как под руками какого-нибудь самого простого человека, лист стал отрываться неровно,— видно, плохо были пробиты дырки,— и Ленин начал отрывать листок с другой стороны, совсем так же, как сделал бы это Еремеев. Потом Ленин принялся писать, глядя на бумагу сбоку, будто проверяя, ровно ли ложатся строчки.

Эта обыкновенность Ленина в первую минуту почему-то разочаровала Еремеева, но когда Владимир Ильич пошел к трибуне легким и быстрым шагом, словно стесняясь, что заставляет сидящих в зале людей ожидать себя, Еремеев вместе со всеми громко захлопал в ладоши.

В полной тишине, почти неестественной для зала, наполненного тремя с половиной тысячами людей, начал Ленин свою речь.

Он говорил о наступлении белополяков, о тяжелом положении наших войск на Западном фронте, говорил как раз о том, что испытал на себе Еремеев. Он говорил о том, почему, несмотря на поражение наших войск, белополяки оказались вынужденными подписать с нами мирный договор. Он говорил о том, что союз против Советской России неминуемо осужден на неудачу, потому что это союз империалистический, союз хищников, а действительного интереса, прочного, соединяющего их, у них нет.

— Это правильно,— сказал кто-то, напирая сзади на Еремеева. Он оглянулся, узнал белокурого крестьянина и нетерпеливо кивнул. Ему казалось, что именно сейчас Ленин подводит свою речь к самому главному, к продразверстке, к льготам, ко всему тому, ради чего съехались в этот огромный зал тысячи людей, и ждал, не пропуская ни одного слова.

Затем Ленин сказал:

— Мы должны направить все наши силы к тому, чтобы восстановить промышленность, дать одежду, обувь и продукты крестьянину, начав тем самым правильный обмен деревенского хлеба на городские продукты. Мы должны начать оказывать помощь сельскому хозяйству. Вчера в Совнаркоме мы провели решение о том, чтобы поддержать пайком рабочих того завода, который изготовит первый плуг, который был бы лучше всего приспособлен к нашим русским условиям, чтобы поднять сельское хозяйство и поставить его на более высокий уровень...

«Ну вот, сейчас все и растолкует»,— подумал Еремеев. Но Ленин сказал об очередной задаче — во что бы то ни стало в кратчайший срок раздавить ставленника международного империализма Врангеля — и неожиданно для Еремеева закончил речь.

Постепенно нарастая, раздались аплодисменты.

— А как же с картошкой? — растерянно оглядываясь, проговорил крестьянин.— По восемнадцать пудов на едока наложили...

— Так он тебе и станет доклады складывать про твою картошку,— перебил Еремеев, стараясь оправдать и защитить самого дорогого для него человека.— Тут международный империализм, а ты с картошкой.

И, хлопая в ладоши, он с досадой чувствовал, что своим замечанием крестьянин сбил смутно рождавшийся во время

ленинской речи ответ на все жалобы и заботы, и ему попрежнему было неясно, продавать ли избу, подаваться ли в город или оставаться в деревне.

В зале шумели.

Председатель повторял, что речь Владимира Ильича носила информационный характер, что прения излишни, а в ответ на его слова из разных концов неслось: «Прения! Открыть прения!» Еремеев посмотрел на Ленина. Чуть заметно улыбаясь, Ленин быстро написал что-то на листке своего блокнота и передал записку председателю.

Прения начались.

Первым выступил парень, с которым Еремеев шел из Моссовета. Парень говорил о недостатке людей на заводах, о помощи фронту.

Председатель назвал фамилию следующего оратора — Аверьянова.

— Я, извиняюсь, пройти не могу,— раздалось в зале.— Требуют пропуск от коменданта!

И по голосу Еремеев узнал хитрого старика.

— Говори с места! — закричали в зале.

Еремеев увидел, что Ленин снова передал записку председателю, и вскоре старичок показался у трибуны. Говорил он тихо, но кое-что Еремееву удалось все-таки расслышать.

— Вот, советуют, помочь надо,— говорил старичок.— Почему не помочь, крестьянство поможет. Но только не так, как ему предписывают. Каждый должен помогать по доброй воле, а не по предписанию властей...— В зале еще больше зашумели, и Еремеев услышал только последние слова Аверьянова: — Крестьянство должно объединиться в союз, чтобы защищать свои интересы! Да здравствует союз свободного крестьянства!

— Откуда ты такой свалился? — закричал кто-то.

— А вот я скажу, откуда он явился,— начал следующий оратор, еще шагая по проходу в зале.— Я вам скажу.— Он поднялся к трибуне, и Еремеев увидел худощавого высокого человека в шинели, видно, также недавно вернувшегося с фронта.— Я был у них там, в Волоколамском уезде, у них там эсеров полно, это он ихние речи говорит... Позвольте мне, товарищ Ленин, сказать вам, что чувствую я, когда слышу такие вот эсеровские речи. Мне вспоминается тогда сказка про рысь. Увидела рысь козла и барана и думает, как бы их зарезать. Сразу она, товарищ Ленин, на двоих напасть боится. «Подожду, думает, когда они раздерутся, тогда я их...» Да что тут сказки говорить! Предыдущий оратор хочет натравить крестьян на рабочих и всех

трудящихся на Советскую власть! Не выйдет это!.. А для того, чтобы и рабочему было хорошо, и крестьянину, и солдату, надо со спекуляцией кончать. А то населению соли не дают, а у Сухаревой — сколько хотите.

— А ты их лови. Ты тоже Советская власть! — крикнул Еремеев, видя, что даже фронтовик говорит совсем не о том, о чем надо бы, и страдая от этого.

К трибуне подошел седой, растерянный старик и перекрестился.

— У меня, товарищи, образования нету, и выступать я много не могу. Тут выступают один, другой и борются бог знает за что... А надо просить, чтобы отменили разверстку или назначили нам, крестьянству, питание как следует. А товарищ Ленин больше про Лигу наций говорил, а от этого вопроса увернулся...

Прения затянулись. Говорили и о сене, и о колесах, и о продотрядах, и о падеже скота, и о соли, и о спекуляции, говорили о том, что ораторы не могут пройти к трибуне, потому что все проходы запружены делегатами. Лампочки люстры затуманились и светили мутноватыми радужными огнями. В президиум подали записку о том, что люди устали стоять, и несколько записок с предложением прекратить прения. Подходила очередь выступать Еремееву, но он уже не знал, что говорить и что считать самым важным. Он все острей чувствовал, что бесчисленные просьбы и жалобы, словно дремучий лес, заслонили огромный вопрос, смутно замерцавший в его сознании во время ленинской речи. Ему вдруг стало стыдно за людей, пытавшихся помешать Ленину видеть этот самый важный, огромный вопрос. «Столько нагородили, что теперь тут не только Ленин, тут сам господь бог не разберется»,— подумал он и посмотрел в президиум. Ленин все так же спокойно сидел у края стола и изредка записывал в блокнот короткие строки.

Еремеева толкнули в плечо. Он обернулся. Из соседней ложи к нему тянулся Аверьянов.

— Тебе чего? — сердито спросил Еремеев.

— Вот, солдат, мы тут резолюцию написали... Чтобы полегче с разверсткой... А то получается — голодный грабит голодного. Тут вот мы и подписались. И ты подпишись. И пошлем в президиум.

— Ладно, в перерыве погляжу, что за резолюция,— отмахнулся Еремеев.

По просьбе ряда делегатов прения закончились. Председатель предоставил Владимиру Ильичу заключительное слово.

«Неужели он разберется? — с надеждой подумал Еремеев, увидев, как быстро и уверенно Ленин подошел к трибуне.— Неужели разберется?»

— Товарищи! — начал Ленин.— Мне придется ограничиться коротким заключением, потому что по началу собрания было видно, что есть довольно сильное, очень сильное желание поругать центральную власть. Конечно, было бы полезно, и я счел своим долгом выслушать все то, что говорилось против власти и ее политики. И мне кажется, что закрывать прения не следовало бы.

— Правильно! — закричал Аверьянов из соседней ложи.

Ленин взглянул наверх и продолжал:

— Но когда я выслушал ваши замечания, мне пришлось удивляться, как мало вы дали определенных и точных предложений... Я надеюсь, что вы, обсудив все другие вопросы, изложив все вопросы без возмущения, вы все-таки не уподобитесь некоторым персонажам той сказки, о которых упоминал один оратор. Рыси, которая ожидает войны между козлом и бараном, для того, чтобы их пожрать, рыси вы удовольствия не доставите, в этом я уверен.

Раздались дружные аплодисменты.

— Вот это правильно! — радостно сказал крестьянин, напирая сзади на Еремеева.— Вот это верно!

— Слишком больно большинство крестьян чувствует и голод, и холод, и непосильное обложение,— говорил Ленин.— Вот за что более всего и прямо, и косвенно большинство говоривших ругали центральную власть. И чувствовалось, что товарищи даже не хотели дослушать до конца, если не усматривали ответа на этот больной вопрос. И один из говоривших ораторов, не помню какой, сказал, что я, по его мнению, «увернулся» от этого вопроса. Я думаю, что это неосновательно.

Ленин отошел от трибуны и ходил теперь вдоль сцены, резко взмахивая рукой.

— Мы понимаем, что у каждого из волнующихся здесь наболела душа, потому что нет корма для скота и скот гибнет, что обложение непомерно, и напрасно сказал товарищ, что для нас являются новыми эти крики протеста. Ведь мы же знаем и из телеграмм с мест, и из докладов с мест о падеже скота вследствие трудного положения с кормом, и сознание трудности положения у всех имеется.

Еремеев смотрел на Владимира Ильича, и ему казалось все более и более странным, что столько людей съехалось из многих сел и деревень в московский театр для того, чтобы у этого невысокого человека, который носит старенький

пиджачок и черный, в белую крапинку галстук, который, говорят, пьет чай без сахара, чтобы у этого человека требовать для всей области сено и колесную мазь.

«А вот он сейчас предложит,— улыбаясь, подумал Еремеев,— самим нам сообразить, что надо сделать, чтобы было сено и колесная мазь. Мы ведь тоже Советская власть, как и он».

И, словно подтверждая его мысли, Ленин говорил, что, когда положение казалось отчаянным, а не только трудным, когда положение было во сто раз труднее теперешнего, Советская власть выходила из него тем, что, не прикрашивая этого положения, она собирала такого же рода собрания рабочих и крестьян.

— Рабочих и крестьян,— повторил Ленин, выбросив вперед руку.— Вы сюда пришли для того, чтобы высказывать прямо и резко свое мнение, а когда вы все это сделаете,— подумайте спокойно, что вы хотите дать и сделать, чтобы поскорее покончить с Врангелем.

Еремеев слушал, и ему казалось, что из всех находящихся в зале только они двое, он и Ленин, понимают сейчас, что главным вопросом, от которого зависит и починка его избы, и урожай на его огороде, является вопрос о том, как очистить родину от врагов, как покончить с Врангелем.

Это была та правда, которую смутно чувствовал Еремеев, но боялся, так же как и многие выступавшие, думать о ней, потому что она была связана с новыми жертвами, новыми невзгодами и новыми лишениями.

И только Ленин, яснее всех увидевший эту неизбежную, но единственную, ведущую к победе правду, мужественно сказал ее в глаза тысячам людей.

Ленин сказал эту правду решительно и уверенно, потому что за тяготами и лишениями ясно видел и первый новый плуг, видел одежду, обувь и продукты, непрерывным потоком текущие в деревню, видел светлое, мирное будущее.

«Кабы мы все научились глядеть на наши заботы с такой же высоты, с какой глядит Ленин,— рассыпались бы враги в два счета»,— подумал Еремеев.

И когда в перерыве подошел Аверьянов и протянул для подписи листок бумажки, протянул так осторожно, будто боялся, что все буквы, написанные на бумажке, ссыпятся на пол, Еремеев строго взглянул на него и тихо проговорил:

— Ты что суешь, стерва? Эсеры писали, а ты подписи собираешь? Иди отсюда, а то я тебе выдам такую подпись, что дорогу домой позабудешь.

1954

Федор Абрамов

(1920—1983)

СКАЗАНИЕ О ВЕЛИКОМ КОММУНАРЕ

1

Августовский заморозок, или утренник, как говорят на Севере, на всем лету срезал лето.

Еще накануне гуляли в одних рубашках и платьях, еще вечером пили чай у раскрытого окна, а утром встали — мостки белые от инея.

Секретарь райкома, молодой, еще все принимавший близко к сердцу, переживал эту беду как личное горе.

— Жуть, жуть! Три года подряд неурожай. Мы уж на зерновые махнули рукой, да ведь и картошку-то не можем собрать. Картошку третий год завозим в район.

— И часто это у вас?

— Утренники-то? А года через два, через три. Что вы хотите, где живем-то? — Секретарь ткнул пальцем в сторону административной карты, висевшей на стене.— Под самым Полярным кругом. Ну, раньше все-таки меньше лютовал Север, лесов больше было, леса сдерживали. А теперь Ледовитый океан чуть чихнул, и не то что нас, Вологду в дрожь. В общем,— секретарь сокрушенно покачал светловолосой головой,— такими темпами будем косить леса, скоро вся Россия на сквозняке окажется, от моря до моря будут продувать ледяные ветры.

— Ну так не косите! — Я это бросил со злостью, с вызовом, потому что надоели эти местные плачи, надоел скулеж.

— Ах вот как, не косите!.. А план? А задание? Я сегодня пришел в райком — какой первый звонок из области? Об утреннике? О том, что на полях делается? Как бы не так! Сколько кубов дал за сутки. Да мы ради того, чтобы план выполнить, готовы последнее дерево в районе срубить. Можете вы это понять?

Минуты две мы сидели молча, избегая встречаться друг с другом глазами, затем секретарь, уже снова собранный, подтянутый, начал обзванивать совхозы.

— Самсонов, что у тебя? Докладывай. Нечего докладывать? Ну хоть картошки-то сколько-нибудь уцелело? Всю спалило, только на приусадебных участках кое у кого осталось... Ну-ну...

Секретарь вяло опустил трубку.

— Вот так. У Самсонова самое высокое место в районе, так что другим можно не звонить.

Но он снова взялся за телефон.

— Санникова мне. Санников у телефона?.. А чему ты радуешься, товарищ Санников? Тебя что — утренником не ударило? Чего-чего? Ни про какой утренник не слыхали? Да ты что... Нет, ты серьезно? Поздравляю, поздравляю...

С молодого лица секретаря, как волной, как весенним ливнем, смыло всю хмурь, и он первый раз за это утро рассмеялся:

— Герой этот Санников! Третий год подряд утренников нет. Во всех деревнях все морозом убило, а он только похохатывает. Я заколдован, говорит. Черта лысого он заколдован. Болото за деревней осушено — вот в чем дело. Рассказывали мне как-то, крестьянин один у них был, еще до революции, сорок лет болото осушал.

— Сорок? Сорок лет болото осушал?

— Сорок. Прямо какой-то Микула Селянинович! Я в прошлом году, когда мне рассказали, тоже не поверил. Фантастика какая-то, думаю, сказка. А теперь вижу: тут что-то есть.

2

Наверху опять было лето, такое же голубое и сияющее, как вчера и позавчера, а на земле была осень, поздняя, безрадостная осень. Все почернело, все сникло, набухло водой: картофельная трава, ячмень, овсы. И дороги развезло — легковуху качало, как пьяную. Так всегда бывает после большого утренника.

Но вот мы поднялись в гору, перевалили за холм, и что за чудо, куда девалась осень? Ячмень стоит колос к колосу, как гвардия на параде, картофельные гряды сочно зеленеют под солнцем, а за картофельными грядами и вообще летняя сказка — рожь волнами.

— В Шавогорье завсегда так,— сказал заметно повеселевший шофер.— Весь район сегодня в трауре, а они песни поют.

Песен, положим, на деревне не было, но председатель сельсовета, тот самый Санников, к которому часа два назад звонил секретарь райкома, встретил меня чуть ли не переплясом — веселого нрава был человек, хоть и не первой молодости.

— Так, так. Насчет нашей знаменитости, значит, пожаловали? Был, был у нас Сила Иванович.

— Сила Иванович? Так и звали?

— Так. По метрикам-то, правда, Силантий, а старые люди — Сила. Да и сам он себя Силой называл. Высоко голову держал. Раз, говорит, я Силой родился, дак мне, говорит, и дела надоть по моим силам. И вот придумал — с чертями сражаться. А? Ничего себе работенку подыскал? Люди пашут, сеют, воюют, а он одно знает — войну с болотом. В гражданскую, сказывают, тут, в Шавогорье, страсть что было. А он — знать ничего не хочу. В одну руку лопату, в другую — батог — старый уж был, прямо ветром шатало,— да на свое болото. Дак, понимаешь, что было? Бои стихали меж красными и белыми. Ждали, когда старик полем пройдет. Заметный был. Все, говорят, до самой смерти в кабате ходил. Рубаха такая длинная из белой домотканины, вроде как спецовка по-нынешнему.

При этих словах я невольно посмотрел в окно, за которым кипело зеленое поле.

— Нет, нет,— оскалил крепкие зубы Санников,— не там хаживал Сила Иванович. Там у нас юг, а Силины владения на севере.

Машины под рукой не оказалось — «райкомовка» сразу же укатила обратно, а совхозные — где они среди страдного дня? Мы отправились на телеге — сил не было ждать до вечера.

Дорога была плотная, хорошо накатанная, и мы быстро миновали поля, подъехали к озеру, в которое когда-то Сила Иванович спускал воду из болота, а от озера — уже пешком — двинулись к зарослям ольшаника.

Я волновался как мальчишка.

Я жадно вглядывался в надвигающуюся на нас зеленую

чащобу и все ждал: вот-вот расступится сейчас кустарник, и я увижу неоглядное болото, поле битвы человека, который всецело захватил мое воображение.

Санников — он шагал впереди — вдруг остановился:

— Ну вот пришли.

— Как пришли? — Я непонимающим взглядом обвел задичавшую, невыкошенную пожню, на которой мы стояли, посмотрел на зеленую стену ольшаника — до него оставалось метров пятьдесят, не меньше.

— Пришли, говорю. Отсюда Сила Иванович начинал свои дела.

— А болото?.. Где болото?

Санников широко улыбнулся:

— Да это и есть болота. И где ольшаник — болото, и за ольшаником — болото. Далеко, километра на два на север уходит. Я еще помню Силины окопы. Мы так канавы евонные в детстве звали, в войну тут все ребятами играли. Ну а теперь, ясно дело, все заросло. Без топора в эту чертоломину не скоро и попадешь.

Мне все же хотелось своими глазами увидеть дело рук легендарного человека (по крайней мере, для меня легендарного), и я, не говоря ни слова, полез в чащобу.

Долго я продирался через кустарники, долго бродил по лесу (тут и сосны, и ели росли), долго слышал сзади себя тяжелый сап (у Санникова оказалась одышка), но каких-либо отчетливых признаков канав не нашел. Только кое-где на красном и зеленом долгомошнике угадывалось что-то вроде продолговатых ложбинок.

— Да, может, все это россказни? — заговорил я, когда мы выбрались из ольшаника и присели на угорышек, под которым ржаво, густо заросший осокой, сочился ручеек.

— Что — россказни? Сила Иванович — россказни? — Санников вытер ладонью красное, запаренное лицо.— А как же это? Всех утренником бьет, а нас бог милует? Нет, тут болото было страсть.— Он махнул рукой в сторону ольшаника.— Как немножко сивер дунет, и по этому болоту ровно как по трубе хлынет стужа на деревню. Все сжигало, все убивало. Отец, бывало, все говорил: редкий год доходили хлеба. Сила, Сила Иванович беду отвел от Шавогорья. Он сорок лет канавы копал да воду из болота спускал.

— Один?

— Копал-то? Да, можно сказать, что один. Правда, попервости-то, сказывают, он давал клич мужикам. Обращался на тогдашнем общем собрании деревни. Как его это, общее собранье, тогда звали? Сход, что ли? Давайте, говорит,

навалимся всем миром, всем скопом на это чертово болото, не суждено хорошей жизни увидеть, дак пущай, говорит, хоть наши дети увидят. Ну а русский мир, сам знаешь, какой. Бульдозером не своротишь. Только один брат евонный и откликнулся, да и тот через год — через два загнулся.

— Умер?

— Болото съело.

Санников на минуту задумался.

— Не знаю, не знаю, что за человек был. Зарплаты не платили, канавокопателей и всякой техники не было. Все лопатой, все лопатой. Сорок лет. Железо вон неделю в воде полежит — и того ржа съест. А тут живой человек, из костей, из мяса, да не неделю, а сорок лет... Вот его, бывало, великим коммунаром и называли.

— Кто назвал?

— Комиссар один. Он когда умер-то? А в аккурат в то самое времечко, когда гражданская у нас кончилась. Я-то, конечно, ничего этого не помню, поскольку меня в то время еще в проекте не было, а отец рассказывал. Войск, говорит, красных нагнали — деревня не вздымает. Гроб, говорит, красный, знамена красные — по-новому хоронили. Митинг у церкви. И вот, говорит, комиссар. Мы, говорит, товарищи бойцы, с винтовкой в руках коммуну завоевывали, а он, говорит, с лопатой. Сорок лет. Дак как, говорит, такого человека назвать? Великий коммунар...

Санников устал, видно, от затянувшегося серьезного разговора и опять заухмылялся:

— Ну а насчет детальностей, как и что, надо старушонок потеребить. Есть еще которые помнят те времена.

3

За два дня я наслушался про Силу Ивановича всякого.

Человек-богатырь, какого еще земля шавогорская не рожала («Бывало, руки раскинет — ровно сажень»); колдун, который всю жизнь с лешаками водился («А иначе как бы он такое болото осушил?»); чокнутый, не в своем уме («Разве нормальный человек стал бы сорок лет в болоте рыться?»)...

— Он ведь и в церкву не ходил,— поведала одна набожная старушонка,— в воскресенье робил. Батюшко, бывало, все стращал: прокляну тебя, еретика. А ему и дела мало: я, говорит, лопатой крещусь каждый день с утра до вечера. Вот моя молитва богу.

Всего-всего, до последнего вздоха отдал себя болоту Сила Иванович — его на болоте мертвым и нашли.

Но, господи, до чего же жестоки, до чего же неблагодарны бывают те, ради которых сжигают себя!

Человек поднялся на такое дело, можно сказать, всем богам и всем чертям вызов бросил — да вся деревня твой вековечный должник, все — стар и мал — твои слуги, твои помощники. А ему земляки на болото напрямик не разрешали ходить. Умолял, на каждом сходе упрашивал: разрешите через поля и даже не через поля, а через полевые межи тропку протоптать — в два раза короче у меня будет дорога. Не разрешили. Так до самой смерти и шастал в обход.

— Плакал,— рассказывала одна старушонка и при этом сама плакала.— Я ведь, говорит, для вас стараюсь, не для себя... Я ведь, говорит, не возьму болота на тот свет... Я ведь, говорит, два часа на одну ходьбу трачу, а это время мог бы, говорит, болото рыть.

— Але опять обносился, обтрепался,— это уже другая старуха сказывала,— дак, веришь ли, весь в заплатах да в заплатках — разноцветных, как, скажи, ряженый по улице-то идет. Да босиком але в лаптях берестяных. Дак матери-то, бывало, нас, малых, пугают: вот пошали у меня, отдам Болотному — все болотным звали. Дак мы — ума-то нету — и палкой, и камнем в его. А он эдак берестом только голову прикрывает. Кажинный раз, и вперед, и назад, как грешник, по деревне-то идет.

Не любили, не любили его при жизни, это уж после его стали добрым-то словом вспоминать, когда он Север от деревни отогнал...

Перед тем как покинуть Шавогорье, я еще раз потоптался на том месте, где когда-то стоял холостяцкий домишко Силы Ивановича (ему и жениться некогда было, рассказывали старухи), а потом пошел поклониться его могиле.

Долго мы с Санниковым бродили по кладбищу, побывали у каждого столбика, у каждой пирамидки и не нашли, не нашли могилы Силы Ивановича. Не уцелела.

— Следопытов красных у нас нету,— начал было объяснять мне Санников, когда мы уже выходили с кладбища,— а то бы они живо отыскали... В газетах-то вон читаете: там того отыскали, там другого...

И замолк, отвел глаза в сторону.

1979

СОДЕРЖАНИЕ

В. Пискунов. Прямое чувство жизни 7

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В РОССИИ ЖИВОГО И ЧЕСТНОГО

Максим Горький. В. И. Ленин 25
Александр Серафимович. Среди ночи 62
Константин Паустовский. Рассказы об очаковцах 75
Дмитрий Фурманов. Талка 89
Павел Бляхин. Ночь на баррикаде 104
Александр Воронский. Перчатки 111
Андрей Упит. На мостике. *Перевод с латышского Л. Блюмфельд* 113
Эдуард Вильде. Человек закона. *Перевод с эстонского В. Бергмана* 118
Юрий Герман. Прогулки по двору 133
Александр Кононов. Праздник 147

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Николай Никитин. Октябрьская ночь 157
Борис Лавренев. Выстрел с Невы 168
Александр Яковлев. Восстание 187
Лидия Сейфуллина. Перегной 206
Александр Неверов. Марья-большевичка 279

Сакен Сейфуллин. Хамит встречает бандита. *Перевод с казахского И. Щеголихина* 285
Исаак Бабель. Смерть Долгушова 295
Всеволод Иванов. Долг 299
Александр Фадеев. Рождение Амгуньского полка 315
Борис Шергин. Матвеева радость 346
Кузьма Чорный. Ночлег в деревне Синеги. *Перевод с белорусского Е. Мозолькова* 359
Артем Веселый. О чем говорили пушки? 362
Юрий Яновский. Письмо в вечность. *Перевод с украинского И. Дорбы* 364
Абдулла Каххар. Прозрение слепых. *Перевод с узбекского Г. Хантемировой* 370
Константин Лордкипанидзе. Мой первый комсомолец . . . 377
Павел Нилин. Знаменитый Павлюк 403
Александр Бек. Последняя домна 423
Сергей Антонов. Главный вопрос 447
Федор Абрамов. Сказание о великом коммунаре 456

Р32 **Революцией призванные:** Повести. Рассказы. Очерки. В 2-х т. Т. I./Вступ. ст. и сост. В. Пискунова.— М.: Худож. лит., 1987.— 463 с.

Даухтомник посаящен 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции и представляет отрвженную в советском рассказе художествеиную летопись жизни страны.

В том первый вошли расскизм советских писателей о революционном движении а России, о Великой Октябрьской социалистической революции, граждаиской войне и стаиовлении Советского государства.

Р $\frac{4702010200-224}{028(01)-87}$ 1-87

ББК 84Р7

Революцией призванные

ПОВЕСТИ.
РАССКАЗЫ.
ОЧЕРКИ

Том первый

Составитель
Владимир Максимович Пискунов

Редактор Л. ПОЛОСИНА

Художественный редактор
С. ГЕРАСКЕВИЧ, С. БИРИЧЕВ

Технический редактор
В. НЕФЕДОВА

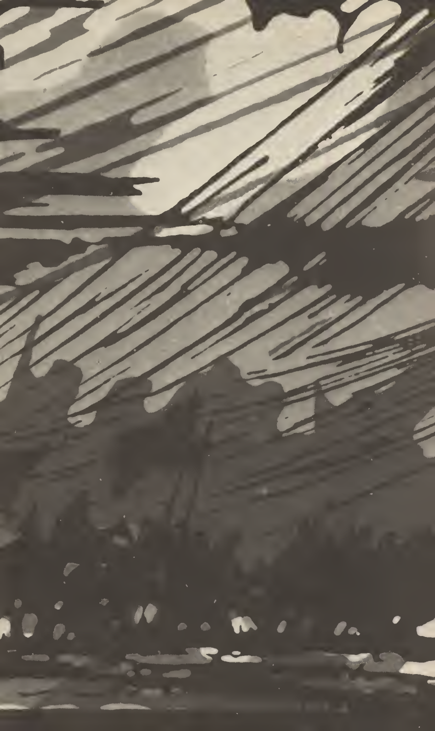
Корректоры
Г. КИСЕЛЕВА, И. ЛОМАНОВА

ИБ № 4743

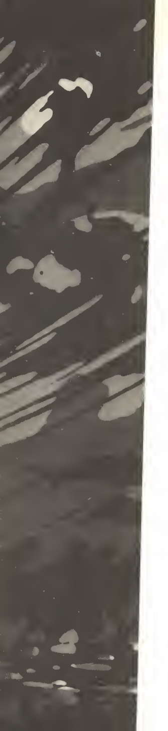
Сдаио в ивбор 17.09.86. Подписано к печвти 26.03.87. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага офсетиаа № 1. Гврнитура «Тип. Таймс». Печать офсетиая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 49,61. Уч.-изд. л. 23,71. Тираж 75 000 экз. Изд. № III-2267. Заквз № 949. Цена 2 р. 10 к.

Ордеиа Трудового Красиого Знамени издательстао «Художествеиная литература». ГСП, 107882, Москаа, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Можайский полиграфкомбинвт Союзполигрвфпрома при Государственном комитете СССР по делам издвтельств, полиграфии и книжиой торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.







2 р. 10 к.

